

4-1968

Стихи

Леонид Вышеславский

ЕГО ВЕСЕННЕЕ ТЕПЛО

Газета

В наши дни
над комбинатом «Правда»
в шумные вечерние часы
буквы слова «ПРАВДА»
в наше завтра
светятся с небесной полосы.
А была убежищем газеты,
зарожденной в буре и огне,
комнатка,
пронизанная светом,
в Питере, в рабочей стороне.
Стол. Обои старого фасона.
Гранки. Корректирные листки.
Деревянный ящик телефона.
Ленин
отвечает
на звонки.

Часы

Мы входим не в пышность дворцовых
покоев,
а в скромный и тихий Поронинский дом,
где все бесконечно простое такое,
и дышит обычным житейским теплом.

За дверью стеклянной, в пролете
балкона —
сияние зимней слепящей красы,
в столовой размеренно и неуклонно
идут, не смолкая, стенные часы.

Все так же летит за мгновеньем мгновенье,
полету минут неизвестен предел,
и новое время приносит свершенье
больших человеческих мыслей и дел.

Домик в тайге

Снега... Снега...
Разлившиеся снѣги...
Свежайшая, густая пелена

покрыла даль,
застывшую в разбеге,
ель у ворот
и домик в три окна.
Встают года прошедшие, живые,
и я смотрю так пристально на них,
как будто землю вижу я впервые,
как будто нет на свете мест иных.
Звенит снегирь,
и песня заревая
пронзает мглу, как первые лучи.
Не снег холодный землю заливает,
а теплый свет, пролившийся в ночи.
Чем больше этим светом величавым
эпохи озаряются черты,
тем в людях больше
мужества и славы,
отзывчивости,
дружбы,
прямоты.

Кремлевский кабинет

Мокрый снег. Теплынь. Деревья в белом.
Вновь зима томится на нуле.
Лед на речке тихо и несмело
шелестит в разлившемся тепле.

Лунный диск как бы очерчен мелом,
проступают звезды в полумгле,
и летит космическое тело,
созданное нами на земле...

И — как будто из глубин Вселенной:
кабинет кремлевский... ночь... буран...
стынет чай в стакане... И бессменно
отражая натиск вражьих стран,
наклонясь над картою военной,
Ленин греет пальцы о стакан...»

Весенняя ветвь

Дремучий снег сошел, растаял,
промыты окна синевою,
летят на север птичьи стаи
своей дорогой вековой.

Их голос, в небе потонувший,
едва нам слышится вдали,
и крепок запах отдохнувшей,
от сна воспрянувшей земли.

Зажглись цветы на дне ложбинок,
встряхнулись ветки, и на них
не звезды искрятся снежинок,
а звезды почек налитых.

Над всей страной преображенной —
народных дел порыв живой,
как свет листвы новорожденной
над прошлогоднею листвой.

Всегда живительно и ново
движение соков у берез,
как человеческое слово,
что миру Ленин произнес!

Марк Лисянский

*

Правый берег в огне.
За снарядом — снаряд...
Вы опять о войне! —
Слышу, мне говорят.
Заглушая слова,
Разрастается гром.
Спит спокойно Москва,
Где мы с вами живем.
Между тем по земле
Вьюга стелет огонь.
И в крови и в золе
И душа и ладонь.
Эта вьюга меня
Обожгла, замела.
От огня, от огня
Вся в ожогах земля.
Чье-то горе во мне,
Чья-то боль. Чей-то взгляд...
Вы опять о войне! —
Слышу, мне говорят.
С потемневшим лицом,
Чтобы сердце унять.
Над безусым юнцом
Наклоняется мать.
Сын причмокнет во сне,
Мать вздохнет в тишине...
Это не о войне —
О сегодняшнем дне!

*

Я выступал в концертных залах,
На площадях и в гаражах,

На стадионах и вокзалах,
На кораблях и в блиндажах.
Я выступал в садах и в доках,
В степях целинных и в цехах...
Я выносил на суд высокий
Свою историю в стихах.
Я от волнения задыхался.
Как задыхаюсь вот сейчас,
И каждый раз я волновался,
И выходило в самый раз.
И был я счастлив, в те моменты,
Среди друзей, где все равны,
Отнюдь не от аплодисментов —
От благодарной тишины.
Со лба стирая капли пота,
Я всей душою понимал.
Что это нужная работа,
И зал в атаку поднимал.

Алые маки

Цветут в Бухенвальде цветы —
Алые маки.
В музейном покое — щиты,
А рядом — бараки.
Цветут в Бухенвальде цветы —
Алые вспышки.
На маки глядят с высоты
Бессменные вышки.
На вышках эсэсовцев нет.
Дым не клубится...
Цветы пламенеют — и свет
Ложится на лица.
Не ходит по лагерю смерть,
Не лают собаки.
А все-таки жутко смотреть
На алые маки.

Наши матери

Хлеб-соль всегда на чистой скатерти,
В любом окне горят огни.
Нас ждать умеют наши матери —
И только матери одни!
А мы не едем — все успеется,
Полно хлопот в своем дому.
А мать нас ждет, а мать надеется.
Иначе жить ей ни к чему.
Дышу печалью молчаливою,
Всему, как видно, есть предел,
Хотел я сделать мать счастливою,
А вот не сделал... не успел.

И надо б ей пустяк, наверное.
Нет, ничего не надо ей!..
О, бескорыстие безмерное
Многострадальных матерей!
Жилось бы только мне без горестей.
Скорей росли б мои сыны,
Да без волнений и без хворостей.
Да вот чтоб не было войны.
На сердце — сны, на сердце — вмятины.
Не зарубцуются они.
Прощать умеют наши матери —
И только матери одни!

Грусть

Повернулся шар земной на градус.
Вечереет. Грустно мне. И пусть!
Между прочим, грусть сильнее, чем
радость,
Основательнее грусть.
Просто сумрак в окнах — и взгрустнется.
Просто день, как стершийся пятак,
Просто юность наша не вернется,
Просто тишина... И просто так!
И приходит час неторопливый,
Час надежный, просветленный час.
Ясный, и прозрачный, и счастливый,
Тот, который утверждает нас.
Делает уверенней и чище,
Делает смелее и сильнее.
Грусть, она задумчивей и тише
Радости, идущей вслед за ней.

Проза

Людмила Уварова

МЫТНАЯ УЛИЦА

ПОВЕСТЬ

1

Троллейбус остановился возле знакомого фонаря. Как и в прошлые годы, матовый плафон треснул, трещина походила на зигзаг молнии, казалось, стоит подуть ветру посильнее — тротуар покроется мелкими осколками и жемчужной стеклянной пылью.

Я сошла с троллейбуса, я кивнула фонарю, словно старому другу, и сказала тихо, так, чтобы только он один слышал:

— А ты все такой же, старик...

Потом завернула за угол и остановилась. Улица показалась мне вдруг чужой. Потому что моего дома не было. Совсем не было. Его снесли, и три соседних дома снесли тоже.

Легкий ветер нес над пустырем обманчивое тепло ранней осени.

Что будет потом на этом месте, подумала я. Бульвар с аккуратными деревьями, рябыми от солнца дорожками? Или высотное здание, все в огнях хорошо промытых окон? Или школа, в которой будут учиться только в одну смену?

Не все ли равно? Дома нет и не будет. Моего дома.

Но он никогда не переставал жить в моем воображении, этот серый двухэтажный особняк, с полукруглой аркой двора, в котором в самом дальнем углу росли мохнатые лопухи, а из дровяных сараев, стоявших в ряд, пахло одинаково — сдобным запахом березовой коры.

Я много ездила, видела новые города и страны, старела, совершала ошибки и старалась исправить их; я год от года менялась, а где-то далеко-далеко, на Мытной улице, в доме, который казался мне вечным, жила-была девочка, удивительно знакомая мне. Она не менялась, оставалась все такой же, доверчивой, смешливой, нерасчетливой, обидно нехитрой.

Я часто думала о ней. Не только о ней, но и о тех друзьях, что вместе с нею жили в том самом доме, в недостижимой теперь стране — Детство.

Я посмотрела на небо. Оно было чистым, нигде ни облачка, но уже готовым принять вечер. Скоро на нем появятся первые звезды...

2

— Нейтронные звезды остывают быстро, — сказал однажды Витька, — их свечение длится всего лишь тысячу лет.

— Всего-навсего? — удивился Ростик.

— Да, — сказал Витька, — всего-навсего, и ни одного дня больше.

Я спросила:

— А по виду они отличаются от обычных звезд?

— Да, говорят, что они много крупнее и ярче.

— А что такое нейтронные звезды? Конечно, этот вопрос задала опять-таки я. Ростик злорадно усмехнулся.

— Она не знает! А что она вообще знает?

— Не кипятись, — спокойно ответил Семен, — а ты сам знаешь?

— Я? Конечно, знаю. Это такие звезды, очень необыкновенные, в общем, особенные, которые...

Он закашлялся.

— Ладно, — сказал Витька, — по совести говоря, я тоже не очень-то понимаю, что такое нейтронные звезды, но я постараюсь объяснить в следующий раз. Прочитаю и расскажу...

Он не боялся признаться, что не знает чего-либо. Поэтому мы ему всегда верили. Он читал много книг с такими подчас мудреными названиями, что их трудно было выговорить.

А потом рассказывал нам, о чем написано в этих книгах.

— Ты все понимаешь? — спросил его как-то Семен.

— Само собой, — ответил Витька. Подумал и добавил: — Не всегда, но большей частью.

Такой он был, Витька. Не то, что Ростик. Тот мог как вот, запросто, придумать все что угодно и потом глядеть очень искренними глазами и говорить проникновенно:

— Честное слово! Клянусь — это чистая правда!

И ему все равно никто не верил, даже Семен, который сам никогда не лгал.

А Витька умел сочинять. Не лгать, а сочинить что-нибудь такое, что никому, кроме него, не могло бы прийти в голову.

Он, например, на ходу придумывал продолжения книг и кинофильмов. Мы упивались игрой Нины Алисовой, прекрасной бесприданницы, ни за что ни про что отдавшей свою молодую жизнь, мы оплакивали ее горестную судьбу, а Витька утешал нас:

— Это же не конец. Там есть продолжение...

И рассказывал о том, что Ларису спасли, нашлись хорошие врачи, и они сделали ей операцию, и она потом вышла замуж за Васю Вожеватова, и вместе с ним уехала в деревню, и стала учить там крестьянских детей.

— И они жили долго и счастливо, — говорил Витька. — И умерли в один день.

Он часто повторял: «Они жили долго и умерли в один день».

А однажды признался: ему довелось прочитать эти слова у Александра Грина, и они пришлись ему по душе.

— Я взял их себе, — сказал Витька.

Он был щедрый, он брал то, что ему нравилось, и потом делился с нами, и мы благодаря ему узнали и полюбили мистера Пикквика, трех мушкетеров вместе с их другом д'Артаньяном и смелого Альку из «Военной тайны» Гайдара.

И он серьезно уверял Ростика, который обливался слезами, читая рассказ «Муму»:

— Ты же ничего не знаешь! Потом все было очень хорошо. Муму выплыл, и его взял к себе лесник. И они вместе стали ходить на охоту, и Муму превратился в огромного пса с лохматой шерстью.

Разве Витька лгал? Нет, он просто хотел, чтобы нам было хорошо. Он был добрый, но старался прятать доброту под насмешкой.

Он утверждал:

— Ирония — это прежде всего самозащита. Он любил давать прозвища.

Каждого из нас он определил, как мне думается, точно. Семена, усидчивого тугодума, он прозвал каменным человеком. Ростика, сентиментального и хитрого, — слезоточивой капельницей. А меня он никак не прозвал. Признавался откровенно:

— Никак не могу придумать тебе прозвища... Зато он придумал игру, назвал ее «Абракадабра».

Если кто-то из нас подходил к другому и произносил «Абракадабра», тот, к кому обращались, должен был немедленно упасть на землю, где бы, когда бы это ни было.

Много позднее я поняла, в этой игре был заключен свой немаловажный смысл. Мы уже тогда учились во что бы то ни стало выполнять свое слово.

Это была наша самая любимая игра.

Помню, как-то в воскресенье я с отцом шла по улице, мы направлялись на день рождения бабушки.

Я не шла, а словно плыла по воздуху. Накрахмаленное маркизетовое платье, белое в голубых цветочках, шелковые банты в косах, пробор ниточкой, украдкой я даже любовалась собой, хотя и теперь как-то немного совестно в этом признаться.

Мне казалось тогда, все на меня глядят, такая я нарядная и вся блистающая.

И тут мне повстречался Витька, Он поздоровался с моим отцом, потом подошел ко мне, шепнул:

— Абракадабра.

Я оглядела себя, умоляюще взглянула на Витьку.

— Абракадабра, — беспощадно повторил он.

У меня даже слезы выступили на глазах, но уговор дороже всего. И как была, в белом платье, стоявшем колоколом, я плюхнулась на пыльный тротуар.

Отец закричал не помня себя:

— Катя, что с тобой?!

— Ничего, — пробормотала я, быстро вставая и отряхивая свое платье.

Витька ухмыльнулся, прошел дальше.

«Хорошо, что нет дождя», — подумала я, очищая от пыли свой разом поблекший наряд.

Я забыла сказать, что «Абракадабра» была еще и нашей тайной.

Никто не должен был знать о ней, ни одна душа. И хотя всю дорогу до бабушкиного дома отец не переставал пилить меня, допытываясь, чего это я вдруг ни с того ни с сего растянулась на тротуаре, на ровном месте, я так ему ни в чем не призналась.

Конечно, мне не хотелось оставаться в долгу перед Витькой.

Я улучила момент, когда он вместе со своим классным руководителем шел по коридору (мы все учились в одной школе).

Я подошла к нему, он мельком глянул на меня и продолжал разговор с учителем; как я поняла, это был не самый легкий разговор, о какой-то, по его мнению, незаслуженной отметке.

Но я приблизилась к нему, не без ехидства отчеканила:

— Абракадабра.

Витька отмахнулся от меня, но я не отставала.

— Абракадабра.

Витька метнул на меня яростный взгляд и... покорился. Как стоял, так и рухнул. Что тут было!

А еще мы любили другую, куда более захватывающую игру. Не помню, кто ее придумал, скорее всего Витька.

Мы рассказывали друг другу всякие истории, причем начинал обычно Витька, потом продолжал Ростик, потом — Семен, а заканчивала я.

Помню, Витька начинает говорить с выражением, приподняв свое маленькое лицо с большими очками:

— Гремел гром. Сверкали молнии. Дождь лил, как из ведра, преступник в замазанной кровью одежде торопливо убежал прочь, а на берегу остался лежать труп убитого им врага. Через час сюда примчались милиционеры с собакой и сотрудники Уголовного розыска. Они обыскали весь берег, обнюхали все следы; главный сыщик Советского Союза собрал немного земли в конверт и обнаружил возле убитого окурочок папиросы «Северная Пальмира»,..

— Главного сыщика звали Арнольд, — продолжал Ростик, питавший пристрастие к заграничным именам и фамилиям. — Это был самый знаменитый сыщик всего Уголовного розыска. Вместе со своей собакой-ищейкой Ягуаром он раскрывал самые страшные преступления. И вот он решил во что бы то ни стало раскрыть и это убийство. И, конечно, первым его помощником был Ягуар.

Больше всего Ростик говорил о собаке сыщика: Ростик обожал собак, всех без исключения, породистых и обыкновенных дворняжек.

— У Ягуара было много медалей — золотых, серебряных и бронзовых. Его знал весь мир. Его приглашали на все собачьи выставки. Он понимал все, что говорят люди, на каком бы языке они ни говорили. Целых пять часов Ягуар метался взад и вперед, а потом неожиданно взял след и побежал...

За Ростиком вступил Семен:

— Ягуар бежал очень долго, и сыщик не отставал от него ни на шаг. И вдруг на дороге они увидели карандаш, обыкновенный чернильный карандаш, красного цвета. Ягуар остановился и замер. А сыщик поднял карандаш, и они побежали дальше...

И вот моя очередь. И я не знаю, что говорить. Я была на редкость неизобретательной: если в школе давали задание написать сочинение на вольную тему, я долго мучилась и никак не могла придумать, о чем писать.

Я говорю:

— И тут Ягуар увидел то, что никто никогда еще не видел. И об этом расскажет Витька.

Все смотрят на Витьку. Все ждут, что он скажет. Отказываться нельзя. Надо придумывать дальше. И Витька мужественно хватает брошенную ему нить и начинает ее распутывать по-своему.

И снова через какое-то время моя очередь, Я напрягаю последние силы:

— Ягуар пробежал вместе с сыщиком еще целых пять километров, и вдруг они увидели большой ров в земле. Кругом были горы, очень много всяких гор, и этот ров, наверно, вырытый недавно, очень удивил их. Тогда Арнольд остановился и сказал Ягуару:

— Прыгай...

— Сам прыгай, — ответил Ягуар.

— Разве Ягуар мог говорить? — удивился Семен. « — Он все мог, — сказала я.

— Да, это была обыкновенная говорящая собака, — поддержал меня Ростик.

Эту длинную историю мы рассказывали, должно быть, целую неделю.

И вот я выслушала последнюю фразу Семена:

— Так, постепенно, по крупинкам, великий Арнольд собрал все сведения о преступнике и вместе с Ягуаром собрался на следующее утро схватить убийцу и отдать его в руки правосудия...

Я понимала, надо рассказывать как можно подробнее. О сыщике, поймавшем убийцу, и о том, как это все случилось.

Я вздохнула и произнесла:

— Но на следующее утро сыщик Арнольд вместе с Ягуаром были найдены мертвыми, и так никто никогда не мог больше ничего узнать.

Друзья мои здорово на меня разозлились. Все, как один. Ведь по условиям игры нельзя было ничего опровергнуть или переделать.

Им хотелось вести рассказ дальше, они-то умели придумывать, а мне, признаться, немного уже поднадоело.

Семен сказал:

— Мы сами виноваты. Не ей надо было заканчивать рассказ, а Витьке.

— Конечно, — отозвался Витька. — Она у нас до серьезных вещей не доросла.

Я не стала спорить.

— Куда мне до тебя, ведь ты старше меня на три с половиной года.

— На четыре, — поправил Витька, а Семен, любивший во всем точность, сказал:

— На три года, один месяц и одиннадцать дней.

3

Когда шел дождь, мы укрывались в сарае для дров, принадлежавшем Аське Щавелевой, шоферу автобуса, веселой, разбитной бабенке. У всех жильцов были такие же сараи, только запертые на замок, и лишь Аськин сарай зиму и лето стоял раскрытый и при всем желании там нельзя было обнаружить хотя бы одну завалящую щепку.

— А ну их, — беспечно говорила Аська, — охота была с дровами возиться!

У нее была маленькая комнатка на первом этаже, за стеной жила хозяйственная, домовитая семья Карандеевых. Карандеевы исправно топили свою голландку, Аська же открывала дверь, и ее комнатка быстро наполнялась теплом.

Аська блаженствовала, а глава семейства старик Карандеев, мелочный и сердитый, на все корки честил Аську за ее «нахальство и использование чужой печки в корыстных целях».

Аська и в ус не дула, продолжала держать свою дверь открытой.

У Аськи, по общему мнению, был бурный темперамент и решительно никакой выдержки.

Сама о себе она говорила:

— Характер у меня крепкий, только на одну сторону малость прихрамываю...

И застенчивая девичья улыбка озаряла ее крепкоскулое лицо с подведенными простенькими глазами.

Кавалеры у Аськи менялись чуть не каждый месяц. Еще совсем недавно она рыдала в голос, кляла подлого обманщика на чем свет стоит, глядишь, уже новый, как она

выражалась, знакомый друг, приходит к ней в гости, держа под мышкой пакет, в котором угадывалась бутылка и нехитрая закуска.

И снова горят-играют Аськины глаза, и губы накрашены в три слоя, и Аська громко поет свою любимую:

Когда б имел златые горы...

И всем кругом откровенно рассказывает:

— Вот этот, теперешний, не чета тому. Этот солидный, самостоятельный, любит меня до безумия, говорит, нет без тебя мне в жизни счастья, все счастье в тебе. А тот — буза одна и только...

Все Аськины кавалеры изъяснялись совершенно одинаково. Все, по ее словам, признавались ей в безумной любви, всем без нее не было в жизни счастья и радости. Эту ее особенность первым заметил Витька.

Как-то изнемогая от переполнявших ее чувств, она стала рассказывать Витьке и Росту о том, как некий «необыкновенно интересный мужчина» влюбился в нее в автобусе и стал просить встретиться, а она — ей что, охота была, и без того их у нее по самое горлышко — и вот она дуриком назначила ему свидание возле Большого театра, а сама не пошла, а он на следующий день снова влез к ней в автобус и до того был обижен, до того обижен, чуть не плачет, говорит: «Битый час я на морозе кабардинку плясал, а вы надсмеялись надо мной»... Вот как бывает, — закончила Аська, победно играя щелочками-глазами.

Она ушла, Витька сказал уверенно:

— И все врет. Она обо всех одно и то же рассказывает. Я про эту кабардинку уже сто раз слышал...

Может, она и привирала иногда, но мы, ребята, прощали ей, И еще мы жалели ее, когда видели, как она откровенничает с соседками, хотя наверняка знает: не успеет скрыться из виду, а они уже как следует переомоют ее косточки.

Она была, в общем-то, не вредная, иногда угощала нас семечками, а однажды, когда мы мячом угодили ей в окно, нисколько на нас не рассердилась.

Добродушная, незлопамятная, Аська охотно забывала все недобрые слова, когда-либо сказанные в ее адрес. И только одного человека она не выносила — старика Карандеева, и он ненавидел ее лютой ненавистью.

Старика боялась вся его семья: взрослые сыновья, невестки, внуки — все трепетали перед ним. Жильцы нашего дома невольно прекращали разговор, когда он, прямой, с насуспенными жесткими бровями, проходил мимо, глядя себе под ноги.

Одна Аська ни капельки его не боялась и любила спорить с ним до иступления.

— Все никак не угомонишься, — сурово гудел старик, — опять нового лизогуба привела!

— И привела, а вам-то что? — задорно кидала Аська, блестя подмазанными глазами. — И спать, если захочу, оставляю!

— Бесстыдница, посмешище всего дома!

Не выдержав, старик поворачивался к ней спиной.

— Чтобы ты ко всем чертям провалилась вместе с твоим автобусом!

— Небось, — отвечала Аська, — небось, не провалюсь. У меня мотор в машине стоящий, на шесть цилиндров, а вот у вас все контакты как на зло давно поотсохли!

И смеялась, презрительно щуя глаза, и смотрела на старика победителем, а он клял ее самыми черными словами.

Перед войной у Аськи появился новый «знакомый друг».

Он удивил собой даже наших привычных ко всему жильцов. Был он уже немолод, изрядно некрасив: широкое рябое лицо, приплюснутый нос, маленькие, глубоко запавшие глаза. Ростом он был чуть повыше Аськи, нескладный, с длинными руками.

— Типичная обезьяна, — коротко определила Дуся Карандеева, жена старшего сына старика.

Он приходил обычно в одно и то же время, осторожно счищал грязь с ботинок о скребок на крыльце, тихо входил в коридор и деликатно стучал косточками пальцев об Аськину дверь, хотя эта дверь и была постоянно открыта.

Аська звонко кричала:

— Заходите, чего там!

А он ходил-ходил да и насовсем остался у Аськи. И его уже стали называть Аськиным мужем.

Аська изменилась на глазах. Еще недавно беззаботная, нехозяйственная, она теперь мчалась по магазинам, накупала полную кошелку продуктов. Она выучилась у Дуси Карандеевой лепить пельмени, а соседка со второго этажа Нина Львовна терпеливо показывала ей, как надо печь хворост и делать пирожные «безе». Но Аська была ученица не из способных, пельмени у нее получались огромные, рыхлые, а воздушные «безе», как правило, пригорали. Аська не огорчалась ни капельки.

— А мой муж и так слопаёт, — говорила она. — Муж у меня хороший, никогда против меня и словечка не скажет, я ему хоть головешку черную подам, все одно стерпит, потому как уважает меня ужасно...

Слово «муж» непривычное и новое для нее, она обсасывала, словно карамельку:

— Сейчас муж придет... У мужа нынче получка... Муж у меня не хуже, чем у других, а, напротив того, еще получше...

Весь наш дом знал с ее слов о том, как они познакомились.

Он садился в автобус в четверть восьмого, как раз в ее смену.

— Я гляну в зеркальце, а он уже тут как тут, стоит в салоне, с меня глаз не сводит...

Он влюбился в нее пламенной, как она выражалась, любовью, и она его тоже безумно полюбила.

Еще мы узнали о том, что он слесарь-наладчик, работает на «Красном пролетарии», в прошлом году у него умерла жена, осталась девочка шести лет с половиной, сейчас девочка гостит у бабушки, в деревне.

Как-то он привел свою дочку к Аське. Они шли по улице — Аська, ее муж и между ними маленькая девочка, которую оба держали за руки.

Девочка старалась шагать в ногу с ними — бледное, городское дитя с заспанным личиком. Аська же вся светилась гордостью, даже походка у нее стала другая — важная, размеренная.

Аська оказалась превосходной матерью, девочку одевала, словно куколку, перешивала ей свои платья и сияла, когда девочка называла ее мамой.

Каждое утро до работы она отводила ее в детский сад и вечером приводила из сада домой.

А разговоры с соседями вела теперь лишь об одном — о детях, о воспитании, о том, какое это трудное дело — вырастить настоящего человека!..

4

Так вот, Аськин сарай был нашей обителью в непогожие дни. Мы сидели там на ящиках из-под помидоров, а дождь шумел во дворе, и было особенно уютно ощущать крышу над головой.

Однажды Витька раздобыл где-то старую, сломанную керосинку.

У Витьки были золотые руки, за что бы ни брался, все умел: исправить радиоприемник, сменить электропроводку, вставить стекло в раму, отциклевать пол, запаять кастрюлю, приделать дужку к ведру, даже подметки мог поставить, даже шить умел, как-то сшил моей кукле пальто из своей кепки, не пальто — картинка!

Витька провозился несколько дней, но своего добился: керосинка заработала. Он налил в нее керосин, и ровное мягкое тепло разлилось по всему сараю.

Они все — Витька, и Семен, и Ростик — дружили со мной, хотя я была младше их, еще и потому, что меня никто не мог назвать плаксой, неженкой. Я никогда ни на кого, ни на что не обижалась, не ябедничала. И потом я верила всему, что они говорят, и всегда принимала участие в каждой их затее.

Но однажды они обидели меня всерьез.

Они ушли на Москву-реку кататься на лодке, а меня не взяли.

Это был удар, которого я никак не могла ожидать. Мы давно уже сговорились пойти вместе, и вот они отправились втроем, без меня...

На следующий день, встретив меня возле школы, Витька подошел ко мне как ни в чем не бывало, но я не стала с ним говорить, я стремглав побежала от него и, сколько он ни звал меня, не отозвалась.

— Катеринский, — кричал Витька, — Катющенко, Катериненко, стой!

Витька называл меня по-всякому, все остальные ребята звали обыкновенно — Катей или Катькой, а он переименовывал мое имя, как хотел: Катеринский, Кать-Катемирский, Катющенко, Катеровская...

Даже удивительно было, как это он мог придумывать такие разнообразные варианты одного и того же имени...

Они подстерегли меня, когда я шла из школы домой. Подстерегли все трое, окружили, забросали словами: «Я маленькая, я не умею плавать. А вдруг бы лодка перевернулась, что тогда?»

Перебивая один другого, они описывали, как опасна залитая дождем река, гремит гром, сверкают молнии, а на бушующих волнах качается утлая лодчонка, готовая вот-вот пойти на дно...

И хотя на улице стояла ясная, солнечная погода, ни о каких молниях и громе даже и подумать нельзя было, я поверила им. Я хотела поверить и поверила, и мир был восстановлен.

Вечером мы отправились в наш сарай. Все трое всячески подлизывались ко мне, усадили меня на самый удобный ящик, насыпали в подол семечек и кедровых орешков, а потом Витька сказал:

— Давайте выкурим трубку мира, чтобы больше никогда не ссориться!

Он вынул из кармана трубку, очень древнюю, с изгрызенным, дочерна обкуренным мундштуком, перетянутым стальным колечком.

— Дедова трубка, — сказал Витька, — ей, наверно, сто, а то и двести лет!

Он зажег спичкой табак в трубке, сильно затянулся несколько раз и передал трубку Семену. Семен покурил и передал Ростику, а от Ростика трубка перешла ко мне.

Я взяла в рот мундштук, но тут же вынула его. До сих пор помнится мне едкий, горький вкус табака, от которого сразу защипало язык.

— Все, — сказал Витька и спрятал трубку в карман. Он был очень бледный. И Ростик почему-то дышал с трудом, словно взбирался на высокую гору. Один Семен оставался, как и всегда, спокойным.

Внезапно Ростик сорвался и выбежал из сарая.

— Что это с ним? — удивилась я.

— Ничего, слабак, — презрительно пробормотал Витька.

— Почему слабак?

Витька не ответил мне. Я увидела, как пот выступил на его лице, щеки покрылись мертвенной синевой, он зажал рот руками и тоже выбежал вон.

— Не слабак, а дело табак, — усмехнулся Семен. На следующий день Витька принес толстую кисточку, тюбик с зеленой краской и нарисовал на двери Аськиного сарая большую пузатую трубку, похожую на валенок. Очевидно, чтобы всем было ясно — это трубка и ничто другое, он написал внизу крупными буквами: «Трубка мира».

— Так теперь будет называться наш сарай.

— А почему у тебя трубка зеленая? — спросила я. Витька с виноватым видом оглядел свои пальцы, ставшие изумрудно-салатными, цвета молодой травы.

— Не было другой краски.

— Ладно, — сказала я. — Пусть она будет зеленая. Только курить больше не будем. Ладно?

— Там будет видно, — помедлив, ответил Витька. Он не курил больше никогда, даже став взрослым.

5

...Над пустырем появились первые звезды. Они только-только вылупились, еще неяркие, словно заспанные, потом засияли одна за другой и осветили валявшиеся повсюду на земле железные баки, дырявые кастрюли, сетки кроватей, и все эти приметы уже исчезнувшей жизни казались особенно жалкими, беззащитными в чистом свете городских звезд.

Позади меня послышались шаги. Я обернулась. Кто-то пришел?

Нет, эти люди были мне незнакомы: высокий худой старик, одетый в драповое пальто, и женщина очень маленького роста, издали кажущаяся девочкой.

Он бережно вел ее под руку. Она шла, твердо ударяя о землю то одной, то другой ногой, словно стараясь глубже врезать каждый свой шаг.

Я разглядела ее, она была тоже немолода: мешки под глазами, отекающие щеки, нездоровая, желтоватая бледность лица...

Они остановились неподалеку от меня.

— Отдохни, — сказал он.

— Я не устала.

— Отдохни, детка, — повторил он.

Я перехватила его взгляд, заботливый, беспокойный и нежный.

— Тебе не холодно? — спросил он.

— Нет.

— По-моему, ты замерзла...

— Да что ты, совершенно тепло!

Они говорили, не замечая меня, словно были совсем одни.

— Отдохнула? — спросил он.

— Да, вполне.

— Все-таки постоим еще немного.

— Нет, нет пойдем, я хочу ходить...

Он поправил шарфик, вылезший из-под ее воротника.

И они отправились дальше, и она по-прежнему твердо, очень четко ступала каждой ногой, словно проверяла ее прочность, а он старался примерить свои шаги к ее шагам.

Должно быть, это самое большое счастье, только оно дается далеко не всем: прожить вместе до старости и продолжать любить друг друга.

Как это говорил Витька? , — Они жили долго и умерли в один день...

Мне вспомнились наши соседи со второго этажа — Нина Львовна и Сергей Павлович.

Вот была дружная пара, вторую такую не скоро отыщешь. Всегда и везде вместе, один без другого ни шагу, им было уже далеко за шестьдесят, а он для нее был Сереженькой, она же для него Ниночкой. Только так, не иначе.

Очень забавно говорили они друг с другом:

— Ниночка, дружок, ты забыла, ведь это было тогда, когда у нас кончился гипертонический криз.

— Что ты, Сереженька, не спорь со мной, все случилось значительно раньше, когда у нас был радикулит.

Это было трогательно и чуточку смешно, и все-таки очень трогательно, хотя говорили они совершенно серьезно, ее гипертония и его радикулит были для них поистине семейными, общими болезнями.

Я часто думала: что-то будет, если один из них умрет?

Однажды я слышала, старик Карандеев с присущей ему грубой прямоотой спросил Сергея Павловича:

— Вы смерти боитесь?

Старик Карандеев любил кокетничать со смертью, часто говорил о том, что ждет ее, избавительницу, каждый день, хотя стоило ему чихнуть три раза подряд — и он уже лез в кровать, под одеяло.

— Нет, не боюсь, — сказал Сергей Павлович. — Смерть не самое страшное...

С легкой Витькиной руки их в доме прозвали «Старосветские квартиросъемщики», они знали об этом и нисколько не обижались.

Им не довелось умереть в один день. Уже после войны Нина Львовна однажды не проснулась утром. Это была легкая смерть, как выразился все тот же старик Карандеев, кончина праведника, но Сергею Павловичу было от того не легче.

Растерянный, беспомощный, он бродил целыми днями то по двору, то по окрестным улицам и, когда встречал знакомых, начинал одно и то же:

— Почему она раньше, а не я? Как это так получилось?

Мы все жалели его и вспоминали Витьку, который когда-то очень любил их, хотя частенько посмеивался над ними, передразнивал их.

Витька был смелый, мне кажется, он не боялся никого и ничего.

Помню, однажды, когда я еще училась в пятом классе, рано утром я проснулась от шума под моими окнами. Я быстро оделась, выбежала во двор.

Здоровенный мужчина, о таких говорят, косая сажень в плечах, мордастый, небритый, наотмашь бил Аську Щавелеву куда попало — по лицу, в грудь, по животу. Аська увертывалась от него, а он снова настигал ее и бил беспощадно, приговаривая:

— Вот тебе! Мало? На! Мне не жалко!

А в окнах стояли наши соседи, смотрели на них. Мне запомнилось лицо старика Карандеева, его безгубый рот растянулся в улыбке, брови дрожали от удовольствия.

И в этот момент во двор выскочил Витька. Он был в майке, в трусах, растрепанный, видно, прямо с постели, даже не успел одеться.

Он был на целую голову ниже этого мужчины, щуплый, узкоплечий, и вдруг он бросился на него и, размахнувшись, влепил ему кулаком в подбородок.

И тот, здоровый, огромный, не помнящий себя от ярости, ошеломленно уставился на Витьку.

А Витька наносил ему все новые удары, и, должно быть, всем остальным, смотревшим из окон, стало внезапно совестно. На крыльцо выскочил муж Дуся Карандеевой Валерий, высокий, жилистый парень.

— Это еще что такое? — заорал он. — Пошел отсюда к чертовой матери!

И вместе с Витькой набросился на мужчину. И тот убежал. Втянул голову в плечи, метнулся из двора на улицу и побежал так, словно за ним гнались. Но никто не гнался за ним.

Избитая, растерзанная, но неистребимая Аська с гордостью похвалялась потом:

— Вот до чего он меня любит! Если ревнует — так ревнует, не как-нибудь!

Когда я училась в седьмом классе, Витька и Семен, окончившие десятилетку, решили отправиться в поход на Кавказ. Они сообща уговорили мою маму, и она согласилась отпустить меня с ними.

Ростик же вместе с родителями предполагал поехать в Крым, как он говорил, пожить там «дикарями».

Каждый вечер мы собирались в «Трубке мира» и вели долгие разговоры.

Денег у нас было в обрез, все рассчитано тютелька в тютельку, но все-таки хватало, чтобы пройти по Военно-Грузинской дороге, а потом мы решили спуститься к морю, в Гагру, и каждый день купаться.

За несколько дней до нашего отъезда мою маму свезли в больницу: у нее оказался острый приступ аппендицита, и ей сделали операцию.

Прибежав из больницы домой, я сразу же вызвала ребят: доктор сказал, что у мамы тяжелое положение, есть подозрение на перитонит, а я была дома совсем одна, отец находился в командировке, старший брат недавно ушел в армию.

— Дела!.. — сказал Витька и посмотрел на Семена.

— Да, — протянул Семен. Витька задумался, наморщив лоб.

— Надо успеть, — сказал он.

— Куда успеть? Но Семен понял.

— Успеем.

— Чего успеем? — спросила я.

— Сдать билеты.

— Чего?! Вы-то при чем? Езжайте и все! Но Витька вдруг рассердился.

— Хватит расспросов! И вообще кто ты такая, чтобы приказывать?

— Я не приказываю, но вы же хотели ехать...

— Хотели, да передумали...

— Ты лучше помолчи, — добавил Семен, — молчание — золото!

Они остались. А Ростик уехал.

Стояло жаркое лето, и мы, все трое, каждый день ездили в больницу. Семен и Витька ждали меня в больничном саду, пока я сидела в палате у мамы.

А потом я шла к Семену обедать.

Его мама была радушной, кормила меня всякими вкусными вещами. И я иногда говорила, больше для вида:

— Сейчас бы вы в море купались... Витька смеялся.

— Чудак человек, чего жалеть? Еще успеем во всех морях, какие есть, выкупаться...

Когда мама поправилась, была уже середина августа, и ехать в поход было поздно.

Поздно еще и потому, что оба, и Семен и Витька, собирались устраиваться: Витька поступил на МОГЭС учеником монтера, а Семен начал учиться на курсах по подготовке в вуз.

Я любила мать Семена и не любила его отца.

О его матери Елене Прокофьевне все говорили: она умеет помогать молча. И в самом деле, почти все наши жильцы постоянно одалживали у нее деньги, и она никогда не помнила, кто сколько должен, и никому не напоминала о долге.

Семья Семена жила по сравнению с другими обеспеченно: отец работал на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» старшим мастером, Елена Прокофьевна шила на дому. Она обшивала многих наших модниц и порой даже не брала денег, если видела, что заплатить трудно.

— Ладно, отдадите в другой раз, когда будут деньги, — говорила она.

Семен относился к отцу ровно, может быть, даже равнодушно, но мать он любил необычайно; иные ребята подсмеивались над ним за то, что он ничего не делал, не спросив у мамы, за то, что он такой обычно невозмутимый не мог скрыть своего беспокойства, если она где-нибудь долго задерживалась.

Ростик сказал ему как-то:

— Ты типичный маменькин сынок.

Семен не успел ничего ответить, Витька резко одернул Ростика.

Витькина мать умерла в прошлом году, и он до сих пор болезненно переживал ее смерть.

— Ты счастливый, — сказал Витька Семену, сказал спокойно, без зависти. — У тебя мать живая. Это — счастье.

— Да, счастье, — согласился Семен.

Отец Семена Дмитрий Петрович был вроде бы неплохой человек, ласковый, улыбочивый, одинаково приветливый со всеми, но меня утомляли его бесконечные улыбки, он улыбался, а мне думалось, что все в нем лжет: и узкие, шоколадного цвета глаза и суетливые, не знавшие покоя руки.

Может быть, потому, что он работал на кондитерской фабрике, казалось, от него постоянно пахнет приторным запахом ванили и сахарной пудры.

У Дмитрия Петровича была манера говорить поговорками: Витька сказал про него однажды, что он изъясняется лозунгами, словно цитирует статью в газете.

Стоило мне прийти к ним, как Дмитрий Петрович тут же начинал:

— Катюша пришла! Гость в дом — радость в дом! И улыбался, а мне не хотелось отвечать на его улыбку.

В последнее время его стали иногда встречать с кассиршей из кино «Великан», что на Серпуховской площади.

Кассирша была тощая блондинка с тяжелой челюстью, брови ее были выщипаны по тогдашней моде, а яркий рот обрисован темно-красной помадой в виде сердечка.

Она носила очень короткие платья и граненые, кораллового цвета бусы. Летом она прикрывала лицо газовой косынкой, чтобы не загорать, когда она выдавала билеты, ногти на ее руках так и бросались в глаза — длинные, ярко-розовые и такие блестящие, что тоже казались гранеными, как и бусы.

Однажды мы с Семеном и Витькой сговорились поехать кататься на речном трамвае. Мы зашли за Семеном, но он отказался.

— Не могу, ребята, тут мне книгу очень интересную дали на два дня, а я еще и половины не прочитал!

— Что за книга? — спросил Витька.

— «Королева Марго».

— А может, все-таки пойдем? — спросил Витька. Семен отрицательно покачал головой.

— Он человек каменный, — сказал Витька. — А у каменного человека слово каменное. Раз сказал нет, значит, нет!

Елена Прокофьевна поглядела на сына.

— Да ну его, это он меня не хочет оставлять, думает, не понимаю?

— Я? — удивился Семен. — Почему это не хочу?

— Отца дома нет, он на собрании, совсем замучили человека: что ни день — собрание или совещание, дома побывать не дадут.

Она вздохнула.

— Жалко его, люди завидуют, сладкая, дескать, работа, захочешь — ешь шоколад или конфеты, сколько угодно, а он устает до того, что и представить себе трудно...

Она взглянула на часы.

— Вот смотрите, уже половина шестого, а у них, должно быть, собрание часов до десяти затянется, и сиди там не евши...

Семен широко распахнул перед нами дверь.

— Прошу, — сказал он вежливо. Мы вышли.

— Странное дело, — сказал Витька задумчиво, — по-моему, мы с ним вместе эту самую «Королеву Марго» читали года два назад...

Мы сели в трамвай возле Чугунного моста. Неяркий закат отражался в розовой воде Москвы-реки. Ветер бил в лицо.

— Вот так бы ехать и ехать, — сказала я Витьке, — и чтобы кругом вода и ветер. Хорошо, правда?

— Правда, — ответил Витька, подставляя лицо ветру.

Внезапно я почувствовала на себе чей-то взгляд. Казалось, меня толкнули и приказали: «Оглянись!»

Я обернулась. На самой задней скамейке, тесно прижавшись друг к другу, сидели Дмитрий Петрович и кассирша из кино «Великан».

Она улыбалась, что-то шептала ему на ухо, а он рассеянно слушал, не сводя с меня глаз. Я посмотрела на Витьку и сразу поняла: он тоже видел их...

Все было так, как раньше, как минуту назад: и ветер, бивший в лицо, и розовая гладь реки, от которой несло прохладой, и закат, догоравший где-то за Воробьевыми горами, и все было совсем по-другому...

— Давай вылезем и пересядем на другой трамвай, — сказал Витька.

— Хочу домой, — сказала я.

Мы вылезли на пристани «Парк культуры», остались ждать встречного трамвая.

Кто-то подошел к нам, стал рядом. Дмитрий Петрович.

— В парк гулять? — спросил он, улыбаясь.

— Нет, мы хотим домой поехать, — сдержанно ответил Витька.

Узкие, шоколадного цвета глаза Дмитрия Петровича ласково оглядели меня.

— Как ты вытянулась, Катюша! Я ведь тебя эконькой помню, — он показал рукой, — и каждый день вижу, не замечаю, а тут глянул, смотрю: выросла, похорошела, совсем другая стала. Молодое растет, старое старится, не так ли, ребятки?

Он выжидательно обвел взглядом меня и Витьку. Губы его напряженно улыбались. Каждое слово его, казалось, источало назойливый запах ванили.

Он подошел совсем близко.

— У меня к вам просьба, — сказал он тихо, — вы знаете что? Вы не говорите ничего там, дома...

— Мы не из болтливых, — оборвал его Витька.

Он засмеялся, словно Витька сказал что-то смешное.

— Я знаю, дружок. Я совершенно уверен... Подошел встречный трамвай. Я дернула Витьку за руку.

— Пошли садиться...

Мы побежали по дощатым мосткам к трамваю.

Мы сели на скамейку возле окна, трамвай заскользил по воде. Я посмотрела на пристань. Дмитрий Петрович стоял все там же, где мы оставили его, на губах застыла все та же искательная улыбка.

Я не выдержала, показала ему язык. Все равно издали ему не разглядеть, а мне на минутку стало легче. Он и в самом деле ничего не увидел. Он даже руку поднял, посылая нам привет.

— Никому ни слова, — сказал Витька, — и у себя дома тоже никому, поняла?

Я кивнула.

— Какой он липучий, настоящая помадка с цукатом...

— Тянучка, — сказал Витька, — но все равно, ты понимаешь...

Я смотрела на воду, но уже не видела ничего: ни лодок, сновавших по реке, ни теплого, постепенно темневшего неба, ни Воробьевых гор, которые медленно уплывали назад...

Это была моя первая встреча с ложью. С настоящей, взрослой ложью, облеченной, как оно ей и полагается, в будто бы пристойную форму.

Я пыталась уговорить себя. Ведь многие люди лгут, мне и самой приходилось иной раз соврать в школе: не сделаешь урок, а потом бормочешь учителю, стараясь не смотреть в глаза, что, дескать, плохо себя чувствовала, или мама была больна, или еще что-то говоришь, понимаешь, никто тебе не верит, и совестно, и противно, и готова хоть сейчас провалиться сквозь землю...

— Это с непривычки, — говорил Ростик, умевший, как никто, найти самые что ни на есть достойные причины для своей лени, — привыкнешь и тоже научишься врать без запинки, как по писаному.

А я не хотела учиться. Я переживала, когда приходилось соврать учителю, каждый раз давала себе слово больше не врать. Решиться когда-нибудь и сказать правду, вот так вот просто, откровенно: поленилась, была, скажем, на катке или в кино, и потому не сумела выучить...

Но сейчас было совсем другое. Сейчас мне лгал взрослый человек, лгал, глядя мне прямо в глаза!

И вдруг я испугалась: что, если Елена Прокофьевна увидит меня и все сразу поймет?

Витька сказал:

— Я знаю, о чем ты думаешь.

— Ну и знай.

— Не надо ершиться, Катеринский, я-то ни в чем не виноват...

Он взгляделся в меня, сказал строго:

— Перестань! Слышишь?

А я ничего не могла поделать. Слезы сами собой катились по моим щекам.

— Отстань! — сказала я, злясь на саму себя. — И не разглядывай меня, я тебе не картина...

Витька отвернулся. Больше мы не сказали ни слова за всю дорогу до нашего дома.

Я встретила с Семеном на следующий вечер.

— Хорошо покатались? — спросил он.

Я ответила по возможности небрежно, стараясь глядеть поверх его головы:

— Ничего, неплохо...

И мы заговорили о чем-то другом...

Спустя неделю вместе с Семеном и Витькой мы поехали в Сокольники поглядеть на соревнования велосипедистов.

Семен был мрачен. Все время о чем-то думал, иногда принимался насвистывать какой-то мотив и снова замолкал.

Мы долго гуляли по сокольническим просекам, смотрели соревнования, досыта наелись мороженого и выпили множество стаканов газированной воды.

Больше всех съела я: три эскимо и еще два кругляша с вафлями.

Витька с искренним удивлением поглядывал на меня.

— Смотри, Катерской, не объешься часом! Я обиделась.

— А тебе что, жалко? Витька сказал уважительно:

— Знаешь, Катькин, когда ты умрешь, я уверен, твой желудок отдадут в институт мозга, не иначе!

— Согласна, — ответила я, нисколько не притворяясь: в самом деле не все ли равно, куда отдадут мой желудок после смерти?

Мы веселились в тот день так, как уже давно не веселились, даже Семен немножко оживился, но самое веселое ожидало нас впереди — надо ехать домой, а ни у кого ни копейки.

— Как же так получилось? — недоумевал Витька. — У меня же было целых два рубля!

— И у меня рубль, — сказал Семен.

А мне оставалось только развести руками, я с самого начала была некредитоспособна.

— Не рассчитали, — сказал Витька. — Даже домой не на чем уехать. Вот к чему приводят излишние наслаждения жизнью: вино, женщины и азартные игры...

— Пошли пешком, — предложила я.

— А не устанешь? — спросил Семен.

— Ничего, — сказала я. — Погода хорошая, дойдем...

И мы отправились пешком из Сокольников на Мытную улицу.

Постепенно спустились сумерки. Матовая, ровная синева неба темнела, становясь густо-аквамариновой, сухой, как бы таившей в себе непролитую тяжесть дождя. Но дождя

не было уже целых две недели, листья на деревьях стали жесткими и пожелтели, поблекли раньше времени.

Когда мы приблизились к площади трех вокзалов, вдруг потянуло сердитым ветром близкой грозы, но гроза обманула, пронеслась стороной, должно быть, где-то далеко, может, в Измайлове или в Кунцеве шел дождь, а здесь по-прежнему было жарко и тихо.

Вдали послышался гудок паровоза. Он звучал продажно и почему-то тоскливо, словно паровозу не хотелось отправляться в путь.

— Когда я слышу гудки, меня всегда тянет уехать, — сказал Витька.

— Куда?

— Все равно куда. Просто хочется сесть в поезд и катить куда-нибудь, и чтобы колеса стучали, и за окном станции, станции, леса, опять станции...

Он замолчал, задумался.

— Мой отец уехал вчера в командировку, — сказал Семен.

— Далеко?

— Нет, недалеко. В Тулу.

— Надолго?

Это спросил Витька. Семен пожал плечами.

— Дня на три, на четыре...

— Тула — это близко, — сказал Витька. — Вот, например, в Хабаровск или во Владивосток уехать, дней десять проедешь, не меньше...

Семен произнес задумчиво:

— Он обычно ненадолго уезжает...

До сих пор не пойму, почему Семен заговорил о том, о чем ему наверняка трудно, почти невозможно было говорить. А может, молчать оказалось еще труднее? Или хотелось поделиться с нами? Или просто он понимал, что об этом все знают и мы тоже не можем не знать?..

Он сказал отрывисто, глядя себе под ноги:

— Она ведь ни о чем не догадывается...

Я хотела было спросить, о ком это он говорит, но Витькины пальцы вовремя сжали мою руку.

— Она его собирает в дорогу, рубашки кладет, носки, ничего не забыла, даже пирамидон, а вдруг у него голова заболит? Он смеется: я же не на Северный полюс еду, а она...

Он замолчал, потом заговорил снова:

— Почему она ему верит?

— Да пусть верит, — сказал Витька. — Это именно то, что нужно!

Семен в упор посмотрел на Витьку, словно увидел его впервые.

— А я все вижу, — тихо произнес Семен. — Он говорит, улыбается, глаза щурит, а я-то все знаю...

Лицо Семена покраснело, даже шишковатый лоб его покрылся неровными красными пятнами.

— Его посылают в командировку на день или на два, а он приурочит к концу недели, чтобы под выходной вернуться к той и весь выходной с нею, и это уже все знают, все, кроме матери...

Губы Семена дрожали, он откашлялся, провел рукой по лицу, как бы умываясь, заговорил уже более спокойно:

— Я молчу. Я все время молчу. Не хочу, чтобы она знала...

— Пойдем быстрее, — сказал Витька. — А то мы к ночи не дойдем...

Мы прошли еще несколько шагов. Семен сказал:

— Никак не пойму, почему одного кого-то любят, верят ему, а другого, может, он в тысячу раз луч- ше, и в грош не ставят?

— Брось философию разводить, — сказал Витька. — Запутаешься.

Мы прибавили шагу. На улицах уже зажглись фонари, от каменных стен несло сухим, устойчивым, прокаленным за день жаром.

Семен сказал:

— Все-таки это счастье, что она ничего не знает... Я не выдержала.

— А ты(уверен?

— Да.

— Счастье в незнании, — сказал Витька.

— Думаешь? — спросил Семен и сам же ответил: — Да, счастье в незнании.

Мы добрались до дома уже в двенадцатом часу. Я долго не могла заснуть в ту ночь.

6

...На том месте, где некогда стояли деревянные сараи, валялась груда досок. Я подошла ближе. Я увидела обшарпанную, обмытую дождями доску. И вдруг мне почудилось: я вижу почти стертый от времени зеленый след на доске. Да, так и есть. Может, это была часть нарисованной когда-то Витькой «Трубки мира»?

Странное чувство охватило меня. Это чувство мне довелось уже испытать прошлой осенью, когда я шла уральским жиденьким лесом и прямо перед собой увидела копну скошенного сена. И тогда показалось, кто-то позвал меня давно забытым, но хорошо знакомым голосом.

Я остановилась и сразу вспомнила: однажды Витька достал где-то сена и устлал им пол в нашем сарае.

Пряный, немного печальный запах медленно увядавшей травы жил в «Трубке мира» вплоть до самых морозов, и вот спустя годы в лесу я снова вдохнула его, и невольно увиделся мне тогда наш дом на Мытной, окна в батистовых занавесках, лопухи во дворе, пестрые зобастые голуби, сиротливо уютившиеся на крыше.

Я вновь ощутила себя маленькой, низкорослой, с острыми плечами; как бы со стороны я увидела всегда растрепанные волосы, пальцы в цыпках, неровный румянец обветренных щек...

Это была как бы встреча с детством, вплотную, лицом к лицу, казалось, вот оно, совсем рядом, стоит только протянуть руку.

Я протянула руку, взяла клочок сена, окунулась в него лицом, и сухие травинки, беспощадно сожженные солнцем, небожно укололи мои щеки.

Теперь я тоже стояла, молча глядела на стертый, еле заметный зеленый след.

Доска уцелела, даже краска не совсем еще смылась, а руки, державшей тюбик с краской, давно уже нет на свете.

7

...Он вызвал меня, свистнул, как и обычно, три раза, и я выбежала во двор. Были последние августовские дни, жаркие и светлые солнечные лучи заливали наш двор.

— Давай напоследок посидим в нашей «Трубке», — сказал Витька.

Я села в середине, Витька и Семен — по краям.

Два месяца тому назад я окончила десятый класс. У меня была длинная коса, которую я по-взрослому закалывала на затылке, двадцать первого июня, на выпускной вечер я надела первое в моей жизни крепдешинное платье и туфли-лодочки на каблучках.

— Где Ростик? — спросила я.

— Уехал в эвакуацию, — ответил Семен.

— Куда?

— Эвакуировался куда-то в Сибирь.

Тогда это слово только-только родилось, оно было еще непривычным, необкатанным.

— А почему он эвакуировался? Витька вдруг рассердился.

— Почему, почему, уехал и все тут!

Семен примирительно положил руку на его плечо.

— Не кипятись, все равно его бы не взяли, у него слабые легкие.

— У Витьки слабое зрение, — сказала я. — Его тоже не должны взять.

— Уже взяли, — сказал Витька.

— Сам напросился?

— Какое это имеет значение? А Ростик-то ни с кем не простился.

— Они очень спешили, — сказал Семен. — Отац прибежал с завода, два часа на сборы — и в вагоны...

— Хватит о нем.

Витька приблизил ко мне лицо, потерся носом о мой нос. Так он делал тогда, когда хотел показать мне свое расположение.

— Катериненко, пожмем друг другу руки...

— Вы оба уходите?

— Да.

— Когда?

— Завтра утром.

Я не была плаксой, я плакала очень редко, и они ценили меня за это еще в то время, когда я была совсем маленькой. Я и теперь не хотела плакать, а слезы катились сами собой, и я закрыла лицо руками, но Витька насильно разнял мои руки. Потом вынул носовой платок, вытер им мой нос и глаза.

— Теперь порядок, — сказал он.

Спустились тихие, летние сумерки, но ни в одном окне дома не было света. Откуда-то издалека донесся сперва глухой, потом все более нараставший рокот. Захлопали двери. Послышались громкие, взволнованные голоса.

— Сейчас объявят, — сказал Семен. И в ту же минуту мы услышали:

— Граждане, воздушная тревога...

Небо темнело на глазах, постепенно из синего становясь угольно-серым. Огромные, пронзительно-яркие руки прожекторов шарили по всему небу, скрещиваясь и вновь расходясь в разные стороны.

Первый грохот зенитного орудия разрезал вечерний воздух, по крыше нашего дома как бы забарабанил крупный частый град.

— Зажигалки! — бросил через плечо Витька и побежал из сарая, а мы вслед за ним.

На крыше стояли Витькин отец и Аська Щавелева. Они тушили зажигалки, засыпая их песком из бочки, стоящей возле трубы.

— Эй, помощнички, а ну сюда! — крикнула Аська. Глаза ее искрились. Зубы блестели на смуглом, скуластом лице. Она вытянула руки и погрозила кулаком кому-то скрытому в облаках.

— Фашисты проклятые, чтоб вы заживо сгорели, где вы есть!

— Тише, Ася, вы их все равно не испугаете, потому что они вас не слышат, — флегматично произнес Витькин отец Евгений Макарович, щупленький, с близорукими глазами, решительно не похожий на своего сына; его знали все окрестные улицы и переулки, он был ветеринарный врач, работал в какой-то поликлинике для животных и, кроме того, принимал на дому. К каждому своему пациенту — кто бы он ни был, — кошка, собака, птица, корова — Евгений Макарович относился с необыкновенной любовью.

Он очень любил животных, не мог пройти мимо брошенного котенка, больного щенка, замерзшей птицы; дома у него, в маленькой комнатке, в полуподвале, где он жил вместе с Витькой, можно было постоянно застать двух, а то и трех собак, кошку с котятками, голубя, у которого перебито крыло.

Всех их он в разное время подобрал на улице, заботливо выхаживал и потом устраивал, как он выражался, «в добрые руки».

Витька не обижал питомцев отца, но все-таки подлинным помощником Евгения Макаровича был Ростик. Ростик сам прибежал к Евгению Макаровичу и беспрекословно выполнял все то, что тот приказывал ему делать: перевязывал лапы, заливал раны йодом, учился накладывать гипс на переломы, даже иногда кормил с ложечки какого-нибудь котенка-сосунка, безжалостно выброшенного кем-то на улицу и подобранного Витькиным отцом.

Семен оглянулся на меня.

— Иди к Карандеевым, нечего тебе здесь делать...

Во время воздушной тревоги мы все обычно сидели в квартире Карандеевых или прятались в сарае, потому что бомбоубежища у нас не было.

— Почему это нечего? — обиделась я.

— Чего ты ее гонишь? — спросила Аська. — Сейчас все уже кончится...

— Конечно, — подхватила я, обрадованная Аськиной поддержкой.

Аська взглянула на небо, потом перевела взгляд на крышу. Глаза ее сузились.

— Ох, — сказала она с яростью, — мне бы хотя бы одного фашиста вот сюда, в руки, я бы показала ему небо в алмазах!

Вскоре мы услышали громкий, ясный голос диктора, повторявший одни и те же благодатные слова: «Отбой. Угроза воздушного нападения миновала. Отбой».

— Побегу. — Аська дробно застучала по крыше каблуками. — Дочка заждалась, небось, и сам должен сейчас прийти...

В небе по-прежнему бродили длинные, ослепительно блестящие лучи прожекторов, и при их свете я отчетливо увидела лишь лицо Витькиного отца, обращенное к сыну. Оно было спокойным, это усталое, немолодое лицо. Он снял очки, совсем как Витька подышал на них, потом надел снова. Он был удивительно схож сейчас со своим сыном, та же ироническая складка губ, такие же слегка удивленные глаза с притаившейся в глубине чуть заметной невеселой усмешкой.

— Витенька, — сказал он. — Я все никак не могу поверить, что сегодня последний день...

— Начинается, — насмешливо протянул Витька. — Мелодрама «Прощанье на крыше», действие первое... Иди лучше домой, там твой новый щенок скулит.

Губы его улыбались, но взгляд, брошенный на отца, был задумчивый, озабоченный, словно не отец, а он, Витька, был старшим.

— В два месяца скулить еще положено, — отозвался Евгений Макарович.

Я тихонько дернула Семена за руку.

— Пошли...

— До вечера, — сказал Витька.

Мы гуляли с ним по Мытной, по Шаболовке, завернули на Донскую и прошли ее всю вплоть до Донского монастыря, потом повернули обратно и снова ходили по улицам и переулкам.

Было темно, нигде, ни на улицах, ни в окнах, ни единого огонька. Молчаливые прохожие шли нам навстречу и проходили мимо, по мостовой проезжали машины с синими, затемненными фарами. В небе тяжело висели надутые туши аэростатов.

— Ты заходи к отцу, — сказал Витька. — Когда-нибудь выбери минутку, забеги к нему...

— Конечно, буду заходить...

— Ему без меня очень одиноко, — сказал Витька. — Мама умерла, и он как-то сразу одряхлел тогда, знаешь, вдруг, в один день стал стариком.

Мы снова замолчали.

— Что собираешься делать? — спросил Витька.

— На завод пойду, мы с Дусей Карандеевой будем вместе устраиваться...

— Куда?

— Еще не решили... Он спросил меня:

— Ты меня будешь ждать?
— А как ты думаешь? — спросила я.

Витька всегда казался мне братом, я относилась к нему так же, как к Семену и к Ростику. Нет, неправда, он был больше, чем брат. Он был самым главным человеком в моей жизни.

Я поняла это еще в прошлом году, когда услышала, как Семен и Ростик дразнят его какой-то Сонечкой.

А потом я увидела его с нею в кино «Великан». Я пошла туда на предпоследний сеанс, я любила ходить в кино совсем одна, и вот когда сеанс кончился, я увидела Витьку с незнакомой девушкой.

Она выглядела немного старше его, рослая, золотоволосая, одетая в клетчатое нарядное пальто, сшитое по последней моде в талию и с хлястиком на спине.

Они не видели меня, а я хорошо рассмотрела ее.

У нее были круглые глаза, не то серые, не то синие, большой сочный рот. Она была красивой и по-настоящему взрослой, не девушкой, женщиной, хорошо знающей себе цену.

Все в ней было загадочным: и круглые глаза, и малиновый рот, который она часто, по-кошачьему облизывала узким розовым языком, и белые, женственно-пухлые руки, то и дело поправлявшие волосы, свисавшие на ее лоб густой кудрявой челкой.

Я видела, как Витька глядел на нее без обычной насмешки, жалобно, даже, кажется, умоляюще. На меня он никогда еще не смотрел так.

Я шла за ними, низко опустив голову, чтобы Витька, ненароком обернувшись, не заметил меня. Но он не оборачивался. Ему было совсем не до меня, ни до кого. Он говорил ей какие-то слова, и она смеялась, смех у нее был тоже какой-то загадочный, таивший в себе что-то неведомое мне.

— Ах-ха-ха, — заливалась она, а я шла и думала со злостью:

«Расквакалась, как лягушка. Неужели ему не противно?» /

Я повернула к дому, и каждый камень мостовой, каждое дерево, казалось, были связаны для меня с ним, только с ним...

Тут мы шли вместе, тут он взял меня под руку, тут мы бежали наперегонки, а вот тут стояли, пережидая дождь.

Я дала самой себе клятву: честное-пречестное слово забыть о Витьке, начисто выкинуть его из головы, из сердца, из всей моей жизни.

Я стала избегать его. Он свистел под моим окном, подолгу ждал, пока я выйду, он приходил к моей школе, ведь он уже окончил школу и работал монтером на «Могэсе», и вот он терпеливо ждал, пока я выйду, а я выходила другим ходом и убегала от него, и он никак не мог повстречаться со мной.

Как-то к нам зашел приятель моего брата Гога.

Он был «старше меня, но, несмотря на это, я считала его несносно скучным, самовлюбленным, хотя он и пользовался репутацией абсолютного, законченного красавца.

Должно быть, он и в самом деле был хорош собой — высокий, тонкий в талии, словно танцор из грузинского ансамбля, с нежно-розовым, овальным лицом и карими продолговатыми глазами, но мне он казался похожим на мухомор — такой же яркий и противный. Противными казались его четко вырезанные губы бантиком, мохнатые ресницы, белые, ровные зубы, такие ровные, словно реклама зубной пасты «Хлородонт».

И еще мне казалось: он постоянно гляделся в какое-то никому не видимое зеркало и потому все время охорашивался перед ним, может, это присуще всем признанным красавцам; он то причесывался, сдувая волосы с гребенки, то оглаживал свои брови, то щурил глаза или скалил свои великолепные зубы.

Приходя к нам, Гога иногда предлагал мне пойти погулять с ним или, как он выражался, совершить рейс в кино. Я обычно отказывалась, я вообще старалась избегать его, но на этот раз согласилась, и мы отправились в Парк культуры.

Он шел, слегка покачивая плечами, как бы позируя перед одному ему видимым зеркалом, он улыбался и ловил взгляды встречных девушек, а я шла рядом и злилась. Больше всего на саму себя.

Наконец, он соизволил обратить свое внимание и на мой мрачный вид.

— Чего ты такая молчаливая, Катюша?

— Ничего, — ответила я.

Он улыбнулся, открыв мне все свои тридцать с небольшим отборных жемчужин.

— Пойдем в комнату смеха, хочешь?

— Нет.

— А прокатиться на чертовом колесе?

— Не хочу.

«Ничего не хочу, — говорила я мысленно. — И тебя не хочу видеть. И зачем я пошла с тобой?»

Он стал рассказывать мне о том, как его пригласили сниматься в массовке в каком-то фильме, и он хочет сниматься — это его самое заветное желание; говорят, из массовок режиссеры часто вылавливают типажи, нужные им. А у него, как говорят, неплохие внешние данные, это для артиста весьма важное качество, не правда ли?

Потом он говорил, что скучает, что ему все надоело и хотелось бы подружиться с настоящим человеком, серьезным и умным, пусть даже не очень красивым, но ведь не в красоте дело...

Его губы бантиком улыбались, он был безусловно и совершенно доволен своей красотой.

Я вспомнила: здесь мы ходили с Витькой, и долго смеялись, глядя в зеркала в комнате смеха, и катались на чертовом колесе, и я крикнула один только раз, когда повисла головой вниз..

Внезапно кто-то вклинился между нами.

— Простите, — торопливо сказал Витька. — Слушай, идем скорее, очень нужно...

— Что случилось? — испуганно спросила я. — Говори правду!

— Могу ли я чем-нибудь помочь? — сказал Гога, картинно приподняв брови.

Витька даже не взглянул в его сторону.

— Скорее, Каткин, слышишь?

И мы побежали с ним со всех ног. Витька остановился напротив кинотеатра.

— Все, — сказал он. — Отдохни!

— Как это отдохни? Он сказал деловито:

— Сеанс начинается через пятнадцать минут. И не спорь со мной, а то не успеем...

И я пошла за ним, все еще ничего не понимая...

В кино мы сидели молча, смотрели старую-престарую комедию «Закройщик из Торжка». Было очень смешно, весь зал покатывался от хохота, но мы не смеялись — ни я, ни Витька, даже не улыбнулись ни разу. Но когда картина кончилась и мы снова вышли на улицу, Витька вдруг захохотал.

— Ты чего? — удивилась я.

Он хохотал, как будто его без конца щекотали. Потом сказал, вытирая слезы, выступившие от смеха на глазах:

— А тот, длинный, он, наверно, до сих пор прийти в себя не может...

Я представила себе красавца Гогу, изумленно поднявшего свои атласные брови.

— Он лучше тебя. Витька сразу посерьезнел.

— Он красивый, — сказала я неискренне. — И совсем он не длинный, а высокий, как тополь.

Витька сказал задумчиво:

— Вы, бабы, все-таки странные существа, иногда я думаю: вы просто марсиане.

— Почему марсиане?

— Потому что я не всегда могу объяснить ваши поступки. Ну, например, скажи на милость, чего это ты с этим самым тополем в парк поперлась? Он тебе разве нравится?

— Еще бы, — сказала я. — А ты не знал?

— Дай честное слово!

— Не хочу.

Витька просиял, словно я ему что-то подарила.

— Не хочешь?

— Нет.

— Так я и знал.

— Чего ты знал?

— Знаешь, а ведь я весь парк обегал, все искал тебя, гляжу, ты идешь злая, как оса, наверно, скучаешь...

— Вот еще, чего это мне скучать? Он такой красивый!

Витька произнес те же самые слова, что и Гога:

— Не в красоте дело...

Он был чересчур уверен в себе, уверен в том, что я всегда буду с ним. И потому я сказала совсем не то, что хотела.

Я не хотела говорить о той девице, я еще раньше дала себе слово никогда не упоминать о ней.

И все-таки я не сдержалась. Я спросила ехидно:

— А та, твоя, тоже марсианка?

— Какая такая моя?

— Ну та, с которой ты тогда в кино был...

Он снял очки и крепко вытер глаза, словно хотел яснее меня увидеть.

— Вот что, давай уговоримся: ее не было.

— Почему не было? Я же сама вас видела в «Великане».

Он молчал. Я поняла, он сердится, но старается сдержать себя. Он сказал спокойно, терпеливо, будто объяснял какое-то очень легкое правило вконец тупой ученице:

— Ее не было. Забудь о ней...

— А ты забыл?

— Я забыл, — твердо ответил он.

До сих пор не знаю, кто была та девица и что произошло между ними.

Но я послушалась его. И больше не напоминала о ней, как бы не было ее вовсе.

Мы все реже встречались вчетвером, и Семен и Ростик словно нарочно оставляли нас вдвоем с Витькой.

Мы часто говорили о будущем. Мы наперед расписали нашу жизнь. И оба считали, что будем счастливы. Мы очень хотели быть счастливыми.

Витька говорил:

— Перво-наперво никогда не ссориться! Я соглашалась с ним.

— Никогда, что бы ни было!

— И во всем уступать друг другу...

— А кто раньше? — допытывалась я. — Кто раньше уступит: ты или я?

Он отвечал благородно:

— Пусть я...

Свадьбу мы решили сыграть первого июля, когда я уже сдам все экзамены и окончу школу.

Витька скопил пятьсот рублей, и триста рублей обещал дать его отец, и мои родители грозились подарить нам целую тысячу, как они говорили, на обзаведение. И мы собирались сразу же, после первого июля, махнуть куда-нибудь в тихое, очень тихое место, на Оку или на Волгу, и прожить там месяц вдвоем...

Иногда Витька брал карту, мы садились за стол и начинали выбирать что-либо самое глухое и безлюдное.

— Васильсурск, — говорил Витька. — Смотри, городок с ноготок, река, и лес, наверно, как водится, и ни одного знакомого человека во всей округности.

— А если в Алексин? — спрашивала я. — Тоже тихо, и Ока, и, говорят, леса кругом...

Мы выбирали, все никак не могли остановиться на чем-нибудь. А потом Витька решил:

— Возьмем билет куда угодно, куда будет, и вылезем на первой станции, на которой захочется вылезть.

Это было здорово придумано. Мне представлялось, как мы едем в вагоне, стоим у окна, ветер бьет в лицо, а мимо проносятся станции, перелески, дороги, и на телеграфных проводах сидят птицы, много птиц, и вот уже вечер, и темные деревья мелькают за окном, и звезды бегут за нашим вагоном, и вдруг мы решаем, выходим на какой-нибудь станции, и идем по дороге, и нас никто не знает, и мы тоже никого не знаем, мы просто идем куда глаза глядят, вдвоем, друг с другом...

...Витька смотрел на меня не спуская глаз.

— Ты меня будешь' ждать? — повторил он.

— Буду, — сказала я.

— И пиши мне каждый день.

— Хорошо.

— Дай мне с собой твою карточку.

Я очень редко снималась. Я не любила сниматься, так как очень плохо получалась. И потому у меня не было ни одной подходящей фотографии.

— Жалко, — сказал Витька. — Но ничего, ты снимись и пришли мне туда. Ладно?

Мы остановились возле нашего двора. Он взял мое лицо в свои ладони, потерся носом о мой нос.

— А теперь стой тихо, помолчи. Я хочу запомнить тебя...

Он долго, пристально смотрел на меня. И я смотрела на него, на его знакомое до последней черточки маленькое лицо с густыми бровями и толстым, немного вздернутым носом. Я тоже хотела запомнить все-все: большие очки, добрые губы, нижняя губа толще верхней, между зубами щербинка, почти незаметная...

Рано утром, солнце еще едва взошло, он свистнул мне, и я выбежала во двор.

Он стоял вместе с Семеном. За плечами у них были рюкзаки. Казалось, оба собрались в туристский поход.

Немного поодаль стоял Витькин отец. Возле него большая собака, недавно вылеченная им. Он казался веселым, слишком веселым для этого утра.

— Погода сегодня просто замечательная, — сказал он и улыбнулся.

— Да, — сказала я. — Очень тепло. Витька обернулся к нему:

— Папа, ты иди к военкомату, там подождешь...

— Мои тоже уже там, наверно, — сказал Семен.

— Хорошо, Витенька, — согласился отец. — Конечно, я пойду. Я подожду тебя, у меня времени хватит... *

Я проводила его взглядом, и Витька долго смотрел ему вслед. Я сказала Витьке:

— Я буду часто приходить к нему...

Мы дошли до Калужской площади, остановились на скверике в середине площади.

— Дальше не надо, — сказал Витька.

Утро было теплым и тихим. В небе светило отдохнувшее за ночь солнце, пахло свежей, омытой ночным дождем листвой.

Все было, как до войны, и только окна домов, все в белых полосках, наклеенных крест-накрест, только мешки с песком, подпиравшие витрины, да развешанные повсюду плакаты «Родина-мать зовет!», да безостановочно звучащие из громкоговорителя военные марши — все это говорило о войне, о самой настоящей, неподдельной, всамделишной...

Я вынула из кармана карточку и дала ее Витьке. Это была старая, но единственно приличная фотография, я снималась, когда мне было двенадцать лет. На оборотной стороне я написала:

«Жду тебя. Твой Катериненко-Катерская-Катющенко».

Витька долго смотрел на карточку. И Семен смотрел на нее.

— Как хочешь, а ты мало изменилась с тех пор, — сказал Семен.

— С чего ей меняться? — спросил Витька.

Я пожала руку сперва Витьке, потом Семену. Семен пошел вперед, не оглядываясь. Витька сказал:

— Будь здорова, Катя...

Он редко, очень редко называл меня вот так вот, по имени. И это простое, обычное мое имя, произнесенное им, вдруг как бы ударило меня в сердце. Словно только сейчас, в эту минуту, я по-настоящему осознала всю необратимую реальность прощания, я как бы очнулась от забытья и разом с головой окунулась в острое чувство разлуки с ним.

Он обнял меня.

— Ну, чего ты, малыш, все будет хорошо, вот увидишь, все будет очень хорошо, даже лучше, чем ты ожидаешь...

Он оставался верен себе. Как и когда-то, в детстве, он хотел убедить меня, чтобы я поверила: все будет отлично. Все как есть.

— И они были счастливы, и жили долго, и умерли в один день...

Витька прижал мою щеку к своей щеке. Щека его была горячей, шершавой, должно быть, побрился на скорую руку.

— Да, они были счастливы, разве не так?..

8

...День кончился, но вечер словно бы все еще медлил спуститься на землю. Я присела на доски, охватила руками колени. Что, если бы ожили все слова, сказанные здесь за все годы?

Когда-то я призналась Витьке, что мне кажется, ни одно слово не пропадает, оно остается где-то рядом с нами и вот когда-нибудь слова оттают и прольются дождем, то-то будет шума, треска, грохота!

Витька, к моему удивлению, не посмеялся надо мной. Он сказал:

— Знаешь, а я тоже об этом думал. Это, по-моему, еще не открытый закон, может, его еще откроют, что-то вроде сохранения, или перехода энергии, или еще там как-то...

И он стал сочинять. Он говорил о том, что в один прекрасный день слова могут внезапно обрушиться на головы людей, и тогда каждый увидит, как много злого, ненужного, лишнего наговорил он за свою жизнь, и каждый пообещает обращаться со словами так же осторожно, как с порохом или с сильнодействующим ядом, и не выпускать их без толку.

— И повсюду будут висеть плакаты, — добавил Витька, — «Осторожнее со словом!». Или что-то вроде: «Думай, прежде чем скажешь слово!» или «Словом можно убить наповал. Помни об этом!».

Я закрыла глаза. В эту минуту в ушах моих вдруг зазвучал голос, нет, не голос — пронзительный крик.

В тот день, когда я проводила Витьку и Семена, уже подходя к дому, я услышала истошный крик.

Кричала женщина, кричала с причитаниями, с воем, захлебываясь от слез.

Я вбежала во двор и увидела Аську. Она лежала на крыльце, билась головой о деревянные, изъеденные временем ступени и не переставая причитала:

— Ой, да на кого ж ты меня покинул, соколик мой лазоревый! Ой, да как же это я буду без тебя в пуховую постельку ложиться, шелковым одеялом покрываться! Да как же это ты задумал оставить меня, ясочка мой изумрудный!..

А вокруг стояли наши соседки, молча глядели на Аську.

Потом старик Карандеев выглянул на крыльцо, брезгливо бросил:

— Поднимите ее с пола... И снова ушел к себе.

Женщины бросились поднимать Аську, но она вцепилась руками в ступени, не оторвать, и кричала еще громче, еще иступленнее...

Тогда из комнаты Карандеевых вышла Дуся, держа за руку Алю. Она подошла к Аське, громко спросила:

— Ты что, хочешь, чтобы девка у тебя припадочной выросла?

И вдруг Аська мгновенно замолкла, словно у нее пропал голос. Живо вскочила на ноги, бросилась к Але, прижала ее к себе.

Аля посмотрела на Аськино распухшее от слез лицо и заплакала.

— Не буду, — быстро заговорила Аська. — Не буду, кровиночка моя, никогда больше не буду, только ты не плачь! Мама уже не плачет, видишь? И ты не плачь...

Она взяла Алю на руки и скрылась в своей комнате.

— Страдает, — тихо вымолвила Дуся, опасливо оглянувшись на свои окна. — Она с ним ни разу еще не расставалась...

Старик Карандеев опять вышел на крыльцо. Был он, как всегда, сердит, смотрел исподлобья, хмуря жесткие брови.

— «Страдает»! — передразнил он Дусю. — У нее их, кобелей этих, до черта перебивало. Гляди-ка, завтра уж нового приведет...

Нина Львовна передернула плечами.

— Как это вы можете так говорить? — возмущенно спросила она. — Завтра! Только что проводила мужа на фронт!

— Завтра, — непримиримо повторил старик. — От силы через два дня. А ты, — он двинул бровью Дусе, — иди домой, дома делов по горло...

— Сейчас, папа, — послушно сказала Дуся и юркнула в свою дверь.

Он пожевал губами, сказал как бы про себя:

— Пуховая постелька... Там, небось, отродясь целой простыни не было...

До сих пор, вспоминая первые месяцы войны, я всегда отчетливо вижу то ясное, незамутненное утро лета, свежие листья деревьев на сквере, в середине Калужской площади, Витькины очки, блестящие на солнце.

Я снова вижу его руки на моих плечах, небольшие, с тонкими, умелыми пальцами, и волосы, упавшие на лоб, почему-то они пахли новым, незнакомым мне запахом, похожим на запах вялых листьев, и щербинку между зубами я вижу, и еще я чувствую, почти физически ощутимо, как он потерся своим толстым носом о мой нос.

И Семена я вижу вместе с Витькой, они быстро удаляются от меня, вот они завернули за угол и пропали, и нет их, нет...

И снова слышатся мне марши, которые транслируют уличные громкоговорители, оглушительно победные, чересчур радостные марши; они настойчиво звучат над городом, над притихшими домами, но их перебивает истошный Аськин крик, и опять мне представляется Аськино распухшее лицо и Аля, стоящая рядом..

Это была на редкость спокойная девочка. Аська убегала на работу, а она сидела на крыльце, что-то тихо мастерила из щепок и тряпичных лоскутков. Кто бы ни прошел мимо, обязательно спрашивал у нее, что она делает.

— Я водитель, — отвечала Аля. — А это у меня автобус с пассажирами.

Она не любила кукол. Я подарила ей свою любимую куклу, роскошную красавицу с настоящими каштановыми волосами и загнутыми ресницами, подарок отца к моему шестилетию, я гордилась этой куклой и берегла ее, и она хорошо сохранилась, но Аля равнодушно глянула, сказала:

— Спасибо. — И никогда не брала ее в руки. Она играла только в автобус.

— Поехали, граждане, — говорила она, глотая слова, совсем как Аська. — Ну, чего вы претесь? Сказано — больше некуда, следующим поедете!

Щепки, обернутые лоскутками, были пассажирами, а сама Аля была и шофером и кондуктором в одном лице.

Весь наш дом шефствовал над ней. Это была самая маленькая наша жиличка. Каждый день какая-нибудь соседка разогревала Але обед, оставленный Аськой.

Поначалу соседки звали Алю обедать к себе, но Аська раз и навсегда решила:

— Пусть привыкает к дому, надо есть свой кусок в своих стенах.

Аля не была привередливой, в войну дети вообще не капризничали, съедали все, что дают, и Аля тоже ела все, что Аська ей оставляла: кашу, щи из зеленой капусты или картошку с постным маслом.

Аська прибегала домой усталая, запыхавшаяся. Завидев ее, Аля бросалась к ней:

— Мама пришла!

Аська не хотела показывать Але свою усталость, она отдавала ей последние остатки бодрости. И отвечала весело, даже излишне весело:

— Вот и пришла, вот и опять с тобой твоя мама! Аля тут же начинала обстоятельно докладывать:

— Сегодня утром давали на жиры лярд и постное масло. А Дуся Карандеева принесла с завода суфле, у них орс хороший, всегда то суфле, то белковый паштет подбросит, а Нина Львовна задумала стирать, поставила бак с бельем на плиту, забыла, вода выкипела, и все белье в клочья...

Аська слушала, кивала Але, а сама между тем принималась за уборку, потом чистила картошку, ставила суп, топила печь — ведь теперь она уже не держала свою дверь открытой. Теперь тепла от карандеевской печки уже не хватало для Али.

И в нашей «Трубке мира» лежали аккуратно сложенные поленницы дров: их распилил и уложил Аськин муж за два дня до того, как ушел на фронт, и сам же повесил на сарай большой, золотистого цвета замок.

Аська похудела, пооблиняла, давно уже перестала подкрашивать глаза и мазать губы, кудряшки на ее лбу отросли и обвисли, руки потемнели от золы и углей.

Все во дворе любили Алю, только старик Карандеев неизменно отворачивался даже от нее, он по-прежнему ненавидел Аську и все то, что было связано с ней. Вот старик Карандеев очень изменился, просто стал совершенно другим, как бы разом сохся.

Сыновья его были на фронте, одна невестка эвакуировалась с заводом, он остался с Дусей и с внуком Валеркой.

— До того тоскует по сынам, что даже весь истаял, — говорила Дуся, то ли жалея старика, то ли немного радуясь тому, что он истаял, и в то же время стыдясь своей радости.

Мы вместе с ней поступили работать на машиностроительный завод. Дуся впервые стала получать зарплату, вскоре ее выбрали проформгом цеха, и она вдруг ощутила себя самостоятельной, сильной и потому совершенно перестала бояться свекра.

Говорила она теперь с ним не так, как раньше, почти умоляюще, а снисходительно, даже свысока. Однажды я слышала, как она прикрикнула на него, когда он спросил, почему она не пошла в магазин отоварить карточки.

— А вы бы сами сходили, еще на своих ногах ходите, вот и пошли бы!

И он замолчал, сраженный ее голосом, холодным блеском глаз, непривычно-независимым тоном.

Когда бывала воздушная тревога, все, как и обычно, собирались в комнате Карандеевых.

Я заходила в Аськину комнату, брала Алю к себе на колени.

За окнами слышалось гудение самолетов, грохот зенитных орудий.

Аля сидела у меня на коленях очень тихо, словно маленькая мышка, и тоже слушала вместе со мной, и, когда голос диктора объявлял: «Отбой! Угроза воздушного нападения миновала», — Аля доверчиво смотрела на небо и крепко прижималась ко мне.

— А вдруг это понарошку? — спрашивала она меня. — Вдруг это неправда и ничего не миновало?

Иногда, не часто, я получала письма от Семена и Витьки.

Оба писали коротко: «Живы, здоровы, бьем врага».

Семен нвзывал меня Катей, а Витька только и делал, что менял мое имя так, как ему хотелось, — Катеришкер, Катюшанская, Катокай...

Но я помнила, я все время помнила тот последний день, когда он назвал меня просто по имени...

Я писала ему чаще, чем Семену. Очень трудно было писать Семену, потому что не хотелось сообщать о главном, о том, что его отец бросил мать и переехал к той самой кассирше.

По-прежнему отец Семена работал на «Красном Октябре», выполнял, как он выражался, заказы фронта, и потому, наверное, ему дали броню.

Он выглядел для военного времени просто отлично, носил гимнастерку, сапоги, а на боку — большую, скрипящую кожей полевую сумку.

В ту пору нередко встречались такие вот люди, отроду не нюхавшие пороха, но почему-то щеголявшие неподдельной военной выправкой и нарочито военного вида костюмом.

Все наши соседи жалели Семенову мать, хотя она никогда ни с кем не делилась, никому не жаловалась, а молча несла свое одиночество.

Теперь она уже не шила дома, она работала на швейной фабрике, выпускавшей белье для фронта.

Каждый раз, получив письмо от Семена, я бежала показать его ей.

И мы радовались вместе: он жив!

Однажды она сказала:

— А ведь ему там тяжелее, чем мне...

Я поняла, ей хотелось попросить меня не писать Семену об отце, но она не знает, как сказать об этом.

И я сказала:

— Я ему пишу все больше о себе, о своей работе...

Она поняла. Молча взглянула на меня благодарными глазами, заправила волосы под платок. Она сильно постарела, похудела, и рука у нее была худая, с толстыми жилами, с изуродованными работой пальцами.

Невольно мне вспомнилась холеная ладонь кассирши, ровно подстриженные, яркие полированные ногти.

— Будешь писать, от меня привет, — сказала она. — Все у нас хорошо, пиши, все ладно...

— Конечно, — ответила я.

Надо же было так случиться, что в этот же день, немного позднее, я встретила отца Семена. Он шеп по Калужской площади, держа в руках какой-то большой сверток, должно быть, продукты. Все кругом были худые, бледные, а он выделялся изо всех розовым лицом, благополучным, сытым видом, даже гимнастерка и сапоги словно бы подчеркивали его цветущий вид.

— Два дня дежурил на фабрике, — сказал он мне. Я ничего не ответила. Не хотелось говорить с ним.

Но он удержал меня. Он сказал, похлопывая себя по своей полевой сумке:

— Война, Катюша, штука жестокая. Требует жертв! — Хорошо выбритые щеки его сияли перламутровым румянцем. — Поверь, я тоже рвался на фронт, я все время подавал заявления, а мне сказали: цыц, сиди здесь, ты нужен фронту в Москве!

Я часто ловила себя на ненаходчивости, неумении вовремя ответить.

Витька говорил обо мне:

«У тебя рот на запоре, зато на лестнице ты уже герой!»

И это было правдой. Сколько раз я копила в себе надлежащие острые слова, могущие поразить в самое сердце, но говорить их было уже некому.

Отец Семена прошел мимо, должно быть, и думать обо мне не думал, а я все стояла, смотрела ему вслед, и сколько всего мне хотелось ему высказать, сколько всего, а его уже и след простыл...

9

...Окончательно стемнело, появились первые звезды. Подул легкий ветер и снова скрылся. Чьи-то шаги послышались вдалеке. Они приближались ко мне, они были уже совсем рядом.

Я вскочила, обернулась и увидела Семена.

Мы не встречались много лет, но я узнала его высокий, уже с пролысинами шишковатый лоб, ямочку на щеке, спокойные, улыбающиеся глаза.

Он обнял меня, потом слегка оттолкнул от себя.

— Вот и ты, — сказал он, улыбаясь и морща губы. — Пришла все-таки, явилась, Катериненко...

Зачем он назвал меня так? Ведь я дала себе слово: быть сдержанной, быть совершенно спокойной... Он сказал:

— Ну, прости, ну, я дурак, полный и окончательный! Что можно с этим поделать?

Это была не первая наша встреча с начала войны. В 43-м он приезжал ненадолго в Москву после госпиталя. Тогда он пришел ко мне, очень худой, даже словно бы ставший выше ростом, опираясь на палку.

Я бросилась к нему, я не знала, что сказать, будто языка лишилась от радости. И закричала восторженно, изо всех сил:

— Абракадабра!

— Маком, — сказал он. — Нога не сгибается! Потом мы долго сидели вдвоем.

Я знала из последних Витькиных писем, что Витьку послали на какое-то особой важности спецзадание и, может статься, он будет писать мне с перерывами, а если писем и вовсе не будет, чтобы я не волновалась.

Значит, он просто какое-то время не имеет права писать. Я сказала:

— Все-таки Я получаю от него письма, редко, правда...

— Стало быть, он жив...

— Он в партизанах? — спросила я. — Или где-нибудь там, в тылу врага?

Семен помедлил, прежде чем ответить.

— В партизанах.

— Так я и думала. Это не очень опасно?

— На войне все опасно. Но раз ты получаешь письма, значит, он жив.

— Отец его тоже недавно получил письмо...

Я заходила к Евгению Макаровичу каждую неделю. Иногда два раза в неделю. Чаше не получалось, я очень уставала на заводе. Случалось, мы работали по шестнадцать часов подряд, а выходной получали не часто.

Дуся Карандеева взяла меня в свою бригаду токарей-инструментальщиков. Бригада называлась фронтовой. Дуся была бригадиром. А я была, по-моему, самым неумелым токарем на всем заводе. Даже теперь, когда я вспоминаю, сколько я тогда запорола деталей, мне становится страшно, и я искренне дивлюсь: зачем меня держали в лучшей, передовой бригаде? Но Дуся утверждала:

— Мы должны тебя поднять до себя. Это наша первоочередная задача.

И они старались всей бригадой. Не переводя дыхания, учили меня, как надо затачивать резец, как проводить текущий ремонт станка и что надо делать, чтобы продлить службу оборудования.

Теоретически я все понимала как следует. Но, едва лишь вставала за станок, почему-то забывала о наиглавнейшем правиле — плавной остановке станка. Я рывком, сгоряча, поворачивала ручку. И Дуся каждый раз говорила:

— За тебя, как за вредность, нам всем полагалось бы литр молока в день...

Тогда на заводе я стала писать в заводскую многотиражку. Я писала очерки о трудовых подвигах моих товарищей, работавших для фронта, и однажды один очерк даже перепечатали в «Комсомольской правде»; я вырезала очерк и послала его в письме Витьке.

Я писала ему часто, почти каждый день. Я знала, Витьке все интересно про меня, и я описывала ему свой цех и всех членов бригады и еще писала, что Евгений Макарович в полном порядке, жив, здоров и по-прежнему в комнате у него полным-полно собак, птиц и кошек, которые чудом как уживаются друг с другом.

Я не писала ему всей правды: ведь на Евгения Макаровича обрушилась страшная болезнь — глаукома, и он уже не мог работать в своей поликлинике, а лечил животных на дому.

Он слеп день ото дня. Я привела его в глазную больницу, больничные врачи настаивали на операции.

— Может быть, поможет...

Но Евгений Макарович отказался наотрез.

— Не хочу. Как будет, так будет. Я сам врач, знаю, что такое в глаз с ножом лезть...

Я рассказала Семену всю правду. Семен помрачнел.

— А как он питается?

— В поликлинике ему пока что оставили карточку. Я отовариваю ее, только он сам почти ничего не ест, все отдает собакам...

— По-прежнему у него полно собак?

— Еще больше. Мне кажется, он их специально выискивает, а ты же понимаешь, с продуктами не густо...

— Да, не густо...

Должно быть, в этот момент Семен подумал и о своей матери, у которой тоже было далеко не густо.

Отец Семена по-прежнему работал на «Красном Октябре».

Там он получал концентраты, даже сахар, к тому же у него был литерный паек, но этим всем он пользовался вместе со своей новой женой.

Семен пробыл в Москве шесть дней. С отцом так и не захотел встретиться.

10

... — Сколько мы не виделись? — спросил Семен. — Пятнадцать лет, не правда ли?

— Пятнадцать лет и четыре месяца, ты же всегда любил точность.

Он кивнул.

Мы однажды встретились после войны. Тогда я уже последний год жила на Мытной, мы собирались переехать на новую квартиру, которую дали отцу.

Я уже давно знала все. Знала, что Витька погиб, мои письма возвращались нераспечатанными обратно, и потом, уже незадолго до своей смерти, Евгений Макарович получил «похоронку».

По правде говоря, я была довольна, что мы переезжаем. Наша новая квартира находилась на Земляном валу; мне было тяжело оставаться жить на Мытной, видеть двор, «Трубку мира», Витькины окна, в которых висят чужие занавески.

И когда я проходила по двору, мне вспоминались наши встречи, разговоры, -недолгие ссоры, и я опять, как некогда в детстве, думала: а что, если бы вдруг ожили и пролились дождем все сказанные нами слова?..

В тот раз Семен рассказал мне, как это все было. Витька погиб в начале 43-го в бою, в том самом, где Семена ранило в ногу.

Еще задолго до того они сговорились друг с другом: кто останется в живых, будет посылать письма погибшего домой, чтобы дома думали, что он жив. Ведь узнать о несчастье никогда не поздно.

И они написали несколько писем впрок: Семен — матери, Витька — отцу и мне.

Я слушала Семена, все никак не могла уяснить себе, о чем он говорит. И вдруг поняла разом, в один миг. Я воскликнула:

— Ты посылал его письма? Ты, а не он?!

Я закрыла лицо руками. Я не верила и не могла не верить. Как это все могло быть?

— Уже тогда, когда я в 43-м приезжал на побывку, Витьки не было. И я посылал тебе его письма, все время посылал. А потом отцу написали из полка...

Я сказала:

— Иди. Хочется побыть одной...

Он ушел. Я вынула Витькины письма, те, последние, я хотела перечитать их и вдруг испугалась.

Мне стало страшно от мысли, что будет со мной, когда я прочитаю хотя бы одно слово.

Почему мы, люди, так боимся за самих себя? Почему страшимся горя, страданий, боли, в самом деле, почему?

От врожденного эгоизма? От стремления отстранить от себя все то, что может уколоть, поранить? И потому стараемся не вспоминать о тех, кого нет, не перечитывать писем, не смотреть на их фотографии...

Щадя себя, мы стараемся поскорее забыть обо всем, обо всех. А забывать нельзя! Надо любить и помнить, всегда помнить, до самого конца.

В одном из последних писем Витька писал:

«Катющенко. давай условимся: что бы ни случилось, не забывать о нашем союзе четверых. Перво-наперво я предлагаю обязательно устраивать день традиционной встречи, помнишь, как у нас это делали в школе? Но этот день будет лишь для нас, для четверых. Например, первого января. Хорошо? Где бы мы ни были, какие дела бы ни ждали, но первого января мы должны собраться в «Трубке мира», даже если она будет заперта».

Это письмо Семен послал мне уже после гибели Витьки. Семен сказал мне: Витька погиб двадцатого сентября.

— Он хотел, чтобы у нас был день встречи Друзей.

— Знаю, мы говорили с ним...

— Пусть будет двадцатого сентября... Семен согласился.

— Пусть...

Но нам никак не удавалось встретиться — ни двадцатого сентября, ни в какой-либо другой день.

Я уехала собкором газеты в Челябинск, потом в Свердловск, потом я перешла работать в ТАСС, и меня послали в длительную командировку за границу. Когда я приехала в Москву, Семен тоже был в командировке: он работал начальником поезда, ему приходилось много ездить по всей стране.

И Ростика тоже не пришлось увидеть: тогда, в Сибири, он окончил ветеринарный факультет, женился на своей сокурснице и вместе с ней уехал на Дальний Восток, стал главным зоотехником крупного зверосовхоза.

И только этой осенью мы все трое списались и решили встретиться в шесть часов вечера двадцатого сентября в нашем старом дворе возле «Трубки мира».

... — Удивительно, — сказал Семен, — наш дом мне всегда казался незыблемым, думалось, никто никогда его не сломает, а вот пришел и увидел: нет его...

— Да, нет и не будет...

— Ростик сказал бы: а жизнь внесла свои коррективы.

— Вот именно. А как он? Придет?

— Нет, я получил от него письмо.

— Что-нибудь случилось?

— С ним ничего. Он здоров, но с его женой неприятность. Серебристая лиса, как он пишет, необыкновенная умница, отхватила ей палец.

Хотя во всем сказанном Семеном не было ровно ничего смешного, я улыбнулась. Мне было совестно, но я не могла сдержаться. И Семен тоже улыбнулся.

— Чего ты улыбаешься? — с возмущением спросила я.

— А ты чего?

— Ничего. Чисто нервное.

— Неправда. Ты подумала то же, что и я.

— Что же?

— Что Ростик, должно быть, сперва пожалел лису...

— Нет, я подумала, что он хитрит, ему не с руки приезжать сейчас, и он выдумал причину поромантичнее...

— Нет, это правда, — сказал Семен, должно быть, так и не научившийся лгать, — у него такие подробности в письме. Целую страницу отвел описанию привычек и наклонностей этой лисы. Зовут ее, кстати, Эвелина. Ты же помнишь, он любил красивые имена.

— Интересно, какой он стал...

— Два года назад он приезжал в Москву. Ты была где-то в отъезде. Он растолстел, говорит, что жена у него замечательная, тоже очень любит животных. Детей нет, зато в доме полно собак и кошек, есть даже енот и пятнистый олень по имени Роланд, как же иначе?

— Он счастлив?

— Судя по письмам — абсолютно, хотя зарплаты не хватает, все уходит на прокорм всей этой живности... Помнишь, как когда-то у Евгения Макаровича? Но все равно, он счастлив, это — главное!

Я посмотрела на Семена. Мы ведь давно не виделись, я не знала, как сложилась его жизнь. Он сказал:

— А я женился. Семь лет тому назад.

— Поздравляю. Очень рада за тебя и за нее.

— Ты знаешь ее.

Я все-таки женщина, я не могла не спросить, кто она.

— Ты знаешь ее, — повторил он. — Она моложе меня, намного моложе, но мы живем очень хорошо, дружно.

— Кто же она, скажи?

— Аля, дочь Таисии Михайловны.

И я вспомнила тут: ведь Аську Щавелеву полностью звали Таисия Михайловна.

Всю войну Аська получала письма от своего мужа, Степана Федоровича.

Аська ликовала, по нескольку раз перечитывала немногие строчки, бурно целовала бумагу, потом кидалась к Але, крепко прижимала ее к себе.

— Папка наш жив! — кричала Аська. — Слышишь, дочка, живой наш папка!

И мы все радовались за нее, только Дуся Карандеева, у которой муж пропал без вести с начала войны, иной раз завистливо вздыхала:

— Везет нашей Аське невпроворот...

Но вот война кончилась, и письма от него вдруг перестали приходить.

Аська выплакала себе все глаза и все время твердила одно и то же:

— Он погиб, это я всеми своими жилочками чувствую...

Потом принималась целовать Алю, причитая над ней:

— Сиротинка ты моя разнесчастная, что же теперь с нами будет?..

Аля, тоненькая, вытянувшаяся не по годам — ей минуло четырнадцать — хмурилась, недовольно останавливала ее:

— Хватит, довольно. Зачем ты так?

Аська испуганно замолкала, но когда Аля уходила в школу, вновь принималась причитать и плакать, и тогда старик Карандеев, окончательно высохший, но не утративший своей на диво живучей неприязни, выходил из комнаты и гудел в коридоре:

— Когда это кончится? Жизни от тебя нет, покою не найдешь ни днем, ни ночью. Все одно никто тебе не поверит: как гонялась за кобелями, так и будешь гоняться...

В ту пору Семен уже демобилизовался. Иногда вечером заходил к Аське. Аська изливала ему свои горести, он слушал, молча следя глазами за Алей.

Аля была старательной, все вечера сидела за уроками.

Порой оборачивалась к Семену, застенчиво спрашивала его:

— Как будет по-немецки «лес шумит»?

— Надо подумать, — отвечал Семен. — Лес будет «дер вальд», а вот как шумит, не знаю. У тебя есть словарь?

Вместе с Алей он искал нужное слово в словаре и еще помогал ей решать задачи по алгебре и геометрии.

Зато Аля тоже помогала ему — иной раз принесет продукты, сготовит обед или стирает.

Ведь Елена Прокофьевна уже ничего не могла делать по хозяйству: осложнение после гриппа ударило на ее суставы, она вся согнулась, скукожилась, пальцы некогда ловких рук стали распухшими, искривленными...

Как-то к Семену зашел отец, начал было разговор о том, что вроде у него есть сын и вроде нет и как же так можно? Люди расходятся, а дети в конце концов ни при чем, не их это дело...

Но Семен так и не дослушал отца, взял и выставил его молча за дверь.

11

Однажды Аська получила письмо. Едва прочитала первые строчки, как закричала дурным голосом: — Живой! Он живой, люди добрые, живой, живой!..

Через несколько минут все в доме знали о том, что случилось с Аськиным мужем.

Он был ранен в Германии, уже незадолго до победы, ему оторвало миной обе ноги. Долгое время он лежал в различных госпиталях, потому что никак не поправлялся, и врачи полагали, что ему уже не выжить. Но он выжил и уехал в село, под Рязань, к матери покойной жены, бабушке Али.

Он писал, что понимает, Аська еще молодая, ей нужно устроить свою судьбу, искать человека по себе, а он полный инвалид и не хочет быть ей в тягость. И потому он дает ей свободу и нисколько на нее не сердает, дело житейское. Об одном просит ее: если надумает она построить новую семейную жизнь, а его дочь ей в том помеха, пусть отошлет девочку по адресу, который прилагает в письме, к бабушке.

— Долго думал! — кричала Аська, заливаясь счастливыми слезами. — Вы только послушайте, люди добрые, он мне свободу решил дать, полную свободу! Добрый какой нашелся! А на кой, понимаете, ляд мне свобода без него и без Али?!

В эти дни она словно бы помолодела, опять стала похожей на прежнюю Аську.

Глаза ее искрились победным блеском, она чертом носилась по двору и всем, кого бы ни встретила, охотно рассказывала, что придумал ее дорогой благоверный, она так и выражалась: «дорогой благоверный», — и что они с Алей просто смехом смеялись над его письмом.

Впрочем, Аля не смеялась. Только, когда Аська окончательно расхорившись, вдруг начинала плакать и причитать: «Несчастный ты мой, да как же это с тобой получилось? Да почему это с тобой такое?!» Аля тихонько дергала ее за руку:

— Не надо, мама, успокойся, не надо...

— Мы поедem за ним, — решила Аська. — Он, дурак, небось, и ждать нас не ждет и не думает, что он мне во всяком обличье нужный, хоть без ног, хоть без рук, мы поедem и привезем его домой.

У Али была не по возрасту трезвая голова.

— А как он доберется до поезда? Ведь от деревни до станции километров двадцать, а в колхозе могут лошадь не дать. Все лошади в поле...

Аська задумалась. А что, если так?

Целую ночь она пролежала без сна, думала, размышляла, прикидывала. На рассвете поднялась ни свет ни заря, приказала Але:

— Не ходи в школу, дожидайся меня!..

В полдень к нашему дому подкатил большой красного цвета совершенно пустой автобус. Он был, видимо, очень древний, скрипел, дрожал, трясся и скрежетал всеми своими частями; казалось, еще немного, и он окончательно развалится.

В кабине водителя сидела сияющая Аська.

— Поехали, — быстро сказала Аська Але. — Мне в парке автобус дали, он списанный, но ничего, я с ним справлюсь. Не впервой!

Весь наш дом ждал приезда Степана Федоровича. Мы с Дусей убрались в Аськиной комнате, вымыли пол, вытерли до алмазного блеска стекла, выстирали и накрахмалили занавески на окне. Дуся напекла пирогов, а Сергей Павлович принес баночку вишневого варенья. Варенье было засахаренное, должно быть, довоенное, и мы с Дусей добавили воду и переварили его.

Семен раздобыл бутылку водки и маринованных огурцов. Я отварила картошки, свеклы и моркови для винегрета.

Только старик Карандеев ворчал без устали:

— Какой светлый праздник, скажите на милость, она его все одно в инвалидный дом сдаст. Сперва комнату под него получит, а потом сдаст, потому как ей мужик нужен, а не инвалид безногий!

Но Дуся сурово прикрикнула на него, и он затих, обиженный и непримиримый. Они приехали к концу недели.

Степан Федорович стал еще некрасивее, исхудал, постарел, волосы сильно поседели, он тяжело передвигался на костылях, к которым, видно, никак не мог привыкнуть.

Аська и Аля осторожно усадили его на диван. Он положил возле себя костыли, сказал негромко, как бы не веря самому себе:

— Вот я и дома... Несколько дней подряд дверь в ихнюю комнату не закрывалась.

Приходили соседи, рабочие с завода, на котором он работал, Аськины друзья из автобусного парка. Каждый приносил с собой чего-либо выпить.

Все кричали, шумели, смеялись, даже плакали, и все-таки громче всех раздавался Аськин голос.

Она то пела песни, полузакрыв глаза и откинув назад голову, то садилась рядом с мужем, обняв его за плечи, то командовала Але:

— А ну, ставь на стол бутылку, видишь, принесли? И смеялась от радости, и внезапно принималась всхлипывать, и целовала худое, измученное лицо мужа, и опять хохотала, и кричала на весь дом:

— Нет, вы только подумайте, он от меня избавиться порешил, да не на ту напал! Нет, шалишь, со мной шутки коротки, я как болячка нарывная, меня сковырни, опять пристану...

А потом в комнату вошел не кто иной, как старик Карандеев. Он молча поставил на стол бутылку наливки, крепко, с чувством пожал руку Степану Федоровичу, обернулся к Аське и медленно произнес:

— Давайте выпьем с вами, Таисия Михайловна, за счастливое возвращение вашего супруга...

И ошеломленная Аська, на минуту лишившись слов, чинно чокнулась с его рюмкой.

... — Нам дали квартиру в Кузьминках, — сказал Семен. — Квартира хорошая, в новом доме, лифт туда и обратно, так что Степану Федоровичу удобно, только Але далеко от работы...

— Она кем работает?

— В научно-исследовательском институте.

— А что она окончила?

— Строительный институт, — чуть горделиво произнес Семен. — Диплом с отличием.

— А как Ась... Как Таисия Михайловна?

— Она на пенсии, по-прежнему все та же... — он искал слово, — активная. Стала общественницей в нашем ЖЭКе. Командует всеми дворниками и лифтершами, они ее как огня боятся...

Глаза его сощурились в улыбке.

— В прошлом году задумала даже в дружинники записаться, едва мы с Алей удержали ее...

Я спросила:

— У вас дети есть?

— Сын, — ответил он. — Четыре года и один месяц.

— И сколько дней? Он серьезно ответил:

— И восемь дней.

— Как зовут?

— Виктор. Мы замолчали.

— Больше всех Витька любит Степана Федоровича. Старик просто от него не отходит. Витька был еще совсем маленький и все никак не хотел заснуть, а старик сидит возле его кровати, поет военные песни: «Идет война народная», «В лесу прифронтовом», «В землянке», аж весь взмокнет, только замолчит, а Витька вдруг: «Деда, пой еще про войну!» Дед уверяет, что Витька будет полководцем, на меньшее он не согласен.

— Хотелось бы их всех увидеть, — сказала я.

— Поедем хоть сейчас.

— Сейчас? Не знаю...

— А мы тебя все помним. Все твои очерки читаем. Аля вырезает из газеты. У нас, если хочешь знать, уже целый альбом твоих вырезок. Слушай, а как это ты стала журналисткой?

— Да так как-то получилось...

— Все-таки?

— Сперва писала в заводскую многотиражку, потом мне стали иногда давать задания из «Московского большевика», а потом я ушла с завода в газету...

— Смотри-ка, — с удивлением произнес Семен. — Кто бы мог подумать? Ведь раньше ты не была выдумщицей. Помнишь, как мы рассказывали наши истории, ты ничего не умела сочинять...

— А я и теперь не сочиняю. Пишу то, что вижу.

— Ты бы о нас написала, — сказал он. — О Витьке...

— Пишу, — сказала я. — Только об этом еще никто не знает. Ты первый.

— О ком ты еще пишешь?

— О тебе, о Ростике, даже о старике Карандееве, в общем, никого не пропускаю...

— А что ты обо мне пишешь?

Я невольно усмехнулась. Когда-то Витька уверял меня, что люди делятся на детей и взрослых. Витька принадлежал к детям, это точно, но Семен, вот бы уж никогда не подумала, он был такой трезвый, уравновешенный...

— Чего ты смеешься? — спросил Семен.

— Ничего. Своим мыслям, тебя они никак не касаются.

— Если обо мне будешь писать, то так и знай: я счастливый. Мне повезло, по-моему, даже больше, чем Ростуку.

— Я рада, что ты счастливый. Не каждый может так сказать о себе.

— Я могу. Она меня любит, и я ее люблю. Мы по-настоящему счастливы, по самому большому счету!

Мне показалось, что он стремится убедить не только меня, а прежде всего себя.

Он взглянул на меня и словно бы понял то, о чем я подумала. Лицо его густо покраснело. Он еще не утратил давней своей особенности быстро заливаться краской.

— Нет, правда, мы то, что называется счастливая семья.

— Я же тебе и так верю...

Он сказал медленно, словно обдумывая каждое свое слово:

— Только иногда мне кажется, ей скучно со мной. Ведь она много моложе меня. А может, это мне кажется?

— Хватит, — сказала я. — К чему это? У вас все хорошо, и сын у вас, должно быть, замечательный...

— Да, сын...

— Вы ссоритесь? — спросила я.

— С кем, с Алей?

— Да.

— Всяко бывает, а вообще редко, все равно я не выдержу, прав или неправ, первый заговорю с ней...

— А мы с Витькой когда-то решили: никогда не ссориться, во всем уступать друг другу.

— И Витька сказал, конечно, что будет уступать первый?

— Откуда ты знаешь?

— До сих пор мне его не хватает. Иногда проснешься ночью, все спят, кругом тихо, спокойно, и вдруг, словно лбом о стену. А его нет. Нет Витьки...

Я промолчала. Что я могла ответить ему? Вся моя жизнь, все последующие годы были пронизаны памятью о Витьке, я не могла даже, если бы и хотела, разминуться с памятью о нем. Даже теперь, спустя годы, я старалась проследить его жизнь на фронте, неведомую мне и оттого еще более страшную, я постоянно спрашивала себя мысленно: «А что сказал бы Витька? А как бы ему это показалось? Если бы он знал это, если бы видел...»

— Когда я стал старше, я понял, что было в нем главное, — сказал Семен.

— Что же?

— Талантливость. Он был талантлив во всем: и в любви, и в дружбе, и в отношении к людям. Знаешь, я не могу тебе объяснить, как это получается, но люди к нему тянулись так, словно к огню, когда, скажем, холодно, охота согреться и всем хочется поближе к огню...

Он чуть испуганно взглянул на меня.

— Ты не смеешься надо мной? Конечно, я не умею писать очерки...

— Я поняла все, что ты сказал...

— Люди всегда тянутся к таланту, каждому хочется погреться возле таланта, не правда ли?

— Пожалуй, ты прав.

— Его все любили. Все, кто знал его... Я молча кивнула.

— Он получал больше всех писем. А ему никто не завидовал. Тем, кого любят, по-настоящему любят, не завидуют.

Я тоже так думала.

— Он перечитывал твои письма, бывало, сидит над письмом, словно наизусть его учит. Я спросил его как-то, чего это он так долго изучает, а он говорит: «Как думаешь, что теперь делает наш Катющенко?»

— Не надо, — сказала я. — Сейчас не надо. Семен порылся в кармане, вынул конверт, перевязанный тонкой бечевкой.

— Это тебе.

Я раскрыла конверт — и увидела мои письма, целую связку исписанных моим почерком листков. И еще там лежала маленькая фотография. В холодном, мерцающем свете звезд я разглядела свое лицо, двенадцатилетнее сердитое лицо подростка, не любившего сниматься.

На оборотной стороне уже почти стерлись слова, написанные мною тогда:

«Жду тебя. Твой Катериненко-Катерская-Катющенко».

Я спрятала конверт в сумку.

И вдруг случилось чудо, ведь чудо всегда случается, если его ждешь... Внезапно ожили слова, что когда-то были сказаны здесь...

Они пролились, словно дождь, они перебивали друг друга и в то же время, не сливаясь, продолжали звучать в моих ушах, и я отчетливо различала среди многих других голос Витьки.

Я неслышно повторяла за ним все то, что он говорил, я ловила губами его слова, как снежинки, я глотала их, не насыщаясь, а они лились на меня, возрожденные, оттаявшие, радостные, потому что им все-таки суждено было снова ожить.

Может, Семен слышал то же, что и я?

Я прижалась лицом к его щеке. Я знала, мы оба думаем об одном и том же.

О том, что надо уметь помнить. Продолжать любить и не страшиться вспоминать того, что прошло и уже не вернется.

— Поедем к тебе, — сказала я. — Вот сейчас прямо возьмем такси и поедем.

— Поедем, — сказал Семен. *

Мы вышли на улицу, одновременно оглянулись. Пустырь лежал за нашей спиной, и ветер беспрепятственно, все нарастая, гулял над ящиками, досками, кучами щебня и мусора, таившими в себе молчаливые останки жизни, некогда шумной и суетливой.

И, показалось, там, на том самом месте, где была наша «Трубка мира», стоит девочка, которую я хорошо знаю.

Еще издали мне увиделись ее приподнятые, острые плечи, всегда растрепанные волосы.

На какой-то миг я опять ощутила прежнюю утреннюю радость, когда, просыпаясь, я предчувствовала впереди долгий день, обещавший все сразу: яблочный запах первого снега, свежий ветер с Москвы-реки, Витькины насмешливые глаза...

Над головой девочки сияли в полную свою силу осенние крупные светлые звезды. Они то вспыхивали, ярко переливаясь, то почти гасли. Может быть, это были те самые нейтронные звезды, чье свечение длится всего-навсего тысячу лет и ни одного дня больше...

Анатолий Приставкин

ПТУШЕНЬКА

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

От тети Ани из Смоленска пришло письмо. Оно было адресовано моей сестре Люде, но читали мы его вместе с Людой и отцом. Тетя Аня писала про своего мужа, брата моего отца, что болел он легкими, а потом это оказался рак, и теперь он в плохом состоянии. Дни его сочтены, и он просит приехать своего брата хотя бы на два-три дня. Дальше она писала, что трудно с продуктами, и опять просила приехать. «Он все плачет, вот я и пишу, не замедлите, передайте это отцу». Вот такое письмо.

Это было к концу апреля, а потом следом пришла телеграмма о смерти дяди Федора. Отец позвал нас, меня и сестру Люду, к себе и прочел телеграмму. А потом стал

рассказывать про Смоленск, про деда с бабкой, которые похоронены в деревне, на его родине.

Разговор шел у отца дома, мы выпивали, поминая умершего дядю Федю, и разговаривали. Дом отцов был не достроен, сложен им самим из каких-то отбросов кирпича, отец все умел делать сам. Построить дом и оштукатурить его, сложить печь, вырыть колодец, провести газ, замочить капусту и яблоки... На моей памяти после войны отец всегда что-нибудь строил и никогда ничего своего не имел. Пережив потерю первой жены, нашей матери, войну и разлуку с нами, отец неудачно потом женился, оставил все, что построил, и сейчас начинал снова.

Был вечер, резко холодало. Пахло дымом, навозом и землей — щемящий весенний запах Подмосковья.

Отец пил самогон и рассказывал о том, как они с братьями ловили раков в их речке. Выходило, что ничто на свете не было так хорошо, не запомнилось ему так радостно и подробно, как те из дальней его юности раки.

Может, в таких чувствах виновато было и письмо тети Ани, и смерть дяди, и весенний вечерний дух земли, который умеет тревожить в нас что-то очень глубокое и потаенное, то, чего мы сами в себе даже не подозреваем.

Что для меня была Смоленщина, места, которые ни с чем меня не связывали, ни о чем не напоминали? В детдомовских анкетах я часто писал: «Родился в Смоленске». И сам верил в это. Подчас меня разоблачали, извлекали вдруг какую-нибудь сохранившуюся другую мою анкету или метрику, тогда я врал еще больше.

Смоленщина была для меня как какой-нибудь родовой замок для нищего принца. Что мы не безродные, не чьи-нибудь, а есть и у нас твердая точка, своя родина.

Все, что связывалось с отцом в те детдомовские времена: фотография ли, рассказ знакомого, принадлежность отца к определенному месту, — было для нас совершенно надежной опорой. Ведь надежнее ничего другого не было.

В тот весенний вечер порешили мы с отцом поехать в Смоленск к дяде Викентию, последнему из оставшихся в живых братьев, а потом дальше, до родной отцовской деревни Спасское.

Двадцать седьмого июня мы отправились на машине в путь.

Мы остановились у тети Ани, той, которая написала нам письмо. Встретили нас радушно, искренне обрадовавшись, как радуются еще гостям у нас в провинции, а на следующий день поехали к дяде Викентию. Не виделись братья лет двадцать, что ли.

Расскажу, как они встретились. Отец, тетя Аня и я поднимались в горку по кривой, изрытой дождевым потоком улице, видя уже издали домик дяди Викентия, в то время как странный пожилой человек лез через забор из сада на улицу. Это и был дядя Викентий.

Отец смотрел на него издали, еще точно не зная, может, только чувствуя, что это брат, и как-то глуповато улыбаясь. Наверное, так же, как и тетя Аня и я. И дядя Викентий повернул голову, отцепляя брючину от какой-то проволоки, и встал, глядя на отца. Он первый и закричал:

— Али Сергей? — Хрипло как-то закричал, широко открыв серые глаза, казавшиеся голубыми из-за темной кожи лица. И повторил почти восхищенно: — Сергей, а? Серега, что ли?

И мелко побежал навстречу с тем же радостным восхищением. Я только заметил, что он ниже отца, суховат и жилист, да с первого взгляда в нем видна была его мужицкая порода — в облике, в разговоре, в руках. От рук его, казалось, так и пахло сырой и тяжелой землей.

Братья обнялись, и, так как отец оставался под горкой, рост их сравнялся. Уже выбегала из сеней жена дяди Викентия, Феня, на которую тетя Аня ссылалась в своем письме. Были слезы и радостный смешок вместе с восклицаниями и приговором: «Серег, а Серег! Я ж смотрю, думаю, кто же такой идет, ведь на улице бы не узнал! Серег, не узнал

бы!.. Я уже через забор полез, чтобы курей не выпускать, а он идет под горку, вижу, прям будто бы Серега!.. А? Ах-ха!»

Мы прошли в дом, беспорядочно толкаясь и пропуская друг друга. Потом дядя Викентий ушел за перегородку и пошептался с Феней. Она накинула темный жакет и, уходя, радостно сказала:

— Нагрязнули аккурат, как комиссия в магазине... И было понятно, что она действительно рада, что так вот неожиданно нагрязнули. Но уже после того, как она вернулась с пол-литром, не раньше, отец как бы невзначай вспомнил:

— Ну зачем... это?

Он знал, что так положено, чтобы Феня бежала за пол-литром. И дядя Викентий и тетя Аня все это понимали. Дядя Викентий ответил:

— Как же зачем, когда брательник приехал, один, который остался. Ты на похоронах Федора-то не был?

— Не успел, — сказал отец.

— Могилку мы ему сделали, — говорит дядя Викентий. — Федя не обидится, хорошую могилку.

— Бетоном? — спрашивает отец.

— Бетоном, — говорит тетя Аня.

— А загородочка — так вот?

— Загородочка повыше будет...

— Значит, до вас не дошла еще московская мода: там выше не разрешают.

— Нет, у нас вот до этих пор. А на поминках все пили, говорят: Федя не обидится.

— Сколько же ему было?

— Да пятьдесят четыре. Ты, Серег, на два года старше. А я на восемь, вишь, как вышло. Значит, наречено так..

— В войну он раненый был, — сказала тетя Аня. — Ему три пули в живот влетели, а умер от легких.

— Я и говорю, что так, значит, наречено, — повторил дядя Викентий. — Был у нас фронтовик один, весь фронт прошел — и ни царапины.

— Судьба, — сказал отец.

— ...А повез в город пуд зерна, хотел на поезд сесть на ходу, так дало — черепашки в разные стороны...

— Судьба, — на той же ноте повторил отец. — А бывает, только на передовую — и готов. В первый же день!..

— Береженого бог бережет.

Тут Феня принесла закуску, дядя Викентий сорвал жестяной колпачок с бутылки.

— Ну, с приездом, что ли, Серег!

Феня принесла еще закуску. Она почему-то ходит по полу босиком, разглядывая меня то с той, то с другой стороны. Вдруг говорит:

— Ну что, не сын, Сережа? Не сын, да? — Она почему-то не хочет верить, что я Сергеев сын.

— Не похож?

— Похож, да только... Нет, наверное, это не сын, а?

— Как же не сын? — кричит вздорно дядя Викентий. — Кто же он ему, когда наша порода видна!

Он выбегает живо из-за стола, говорит мне:

— Пошли.

— Куда?

— Пошли, я тебе что покажу. — И все тянет за руку.

— Он дом тебе хочет показать, — произносит тетя Аня. — Он же нетерпеливый, как вся ваша порода: задумал — сделал. Ты иди, иди, — говорит она.

«Порода», — сказала тетя Аня. И я, глядя на дядю Викентия, вспоминаю бабкины глаза, до чего отчетливо вижу их, светлые, круглые. В глазах дяди Викентия живут глаза бабки, до этого я и не вспоминал, какие у нее глаза. Но неистовость, нетерпение — это, пожалуй, от деда. Дядя Викентий тащит меня на другую половину дома, объясняет, размахивая руками:

— Во, спальня! Кровати ихние, сын тут, значит. А тут зала, телевизор вот, приемник «Днепр», мы тут вечером сидим, чай гоняем...

Он ведет меня дальше, подталкивая за плечо, кричит:

— Дом я кроил из шпал! На работе выписывал, мне полагается! Паровозник я, слышал, небось?

Я киваю. Не слышал, но интересно. Я думаю, что, наверное, оттого у него темные руки и лицо, на всю жизнь сажа въелась...

— ...Подвал. Смотри — потолок! Ты пощупай руками, не бойсь, железобетон! Чувствуешь? Тут тепло, можно свинью держать. Еще огород...

Дядя Викентий торопится, забегает наперед, заглядывает мне в глаза. Восторженно кричит на ухо:

— Огород! Я его поделил: горка, верх, говорю, — мне, низ — сыну...

Выходят на воздух тетя Аня с отцом, у обоих разогретые водкой лица, отец вспотевший, пунцовый, а тетя Аня, наоборот, бледненькая, водка у нее блестит в глазах.

Она говорит:

— Вот в Спасское поедете, на могилу отца с матерью пойдете. Они ведь в одной могиле похоронены. Птушенька покажет их могилу, — продолжала тетя Аня, улыбаясь раскованно и наклоняя голову к плечу. — Она одна все и знает, там никого больше не оставалось.

— Птушка? Она жива? — спросили почти враз дядя Викентий и отец.

— Жива, говорят. Она какая-то вечная.

— Постой, — сказал отец. — Как ее фамилия? Бородавкина, что ли? Она ведь замужем была за этим...

— Птушенька, ах, женщина! — говорит, вздыхая, тетя Аня. — Ничего не хочу, только бы Птушеньку повидать.

— Поехали? — говорит отец дяде Викентию. — Ну поехали! Ты чего, на пенсии?

— На пенсии, — озорно всхлипывает дядя Викентий, поразившись предложению отца.

— Вот и поехали! — кричит, стучая ладонью по столу, отец.

И дядя Викентий, хохоча, подсакивает и через весь стол тянет к отцу восторженное лицо.

— Серег, а, всех увидим? Ведь я с двадцать четвертого года не был... как тогда, помнишь?.. Как там без нас?

Выехали мы рано. В машине отец спросил брата:

— Палец-то на войне отшиб?

У дяди Викентия на правой руке нет указательного пальца.

— Не-е, Серег, не на войне, — говорит тот, вдруг поежившись, — На войне бы враз дезертиром сочли... Слава богу, после войны, когда я в депо работал.

Отец сидит на переднем сиденье рядом со мной. Он поворачивается к брату, спрашивает:

— А Семен где?

— Семен помер, — отвечает дядя Викентий.

— А Соня? Соня, которая потом Фролова?

— Соня тоже померла.

— А Павел?

— Павла ж немцы собаками затравили, — говорит дядя Викентий. — Он тут в войну подпольем руководил. Так на клочки разорвали Павла Евстигнеевича.

Отец разворачивается теперь совсем назад, чтобы видеть лицо дяди Викентия.

— А Костя? — спрашивает он.

— Костя служит в Грузии, начальником военкомата.

— А Линь? — кричит отец дяде Викентию.

— Ленка-то? (Вот пошло Линь — не отлепишь!) Ленка погиб!

— Птушка?

— Ее дом против нашего стоял, — говорит дядя Викентий. — Она одна только и знает, где кто схоронен, многим закрыла глаза. А что сама пережила: муж погиб, детей расстреляли немцы в сорок втором, недавно правнучка утонула!..

— Почему ее так прозвали? — спрашиваю я.

Мы стоим перед железнодорожным переездом, налево знак поворота в город Починок. Нам проезжать этот город.

— Кличка, — говорит отец. — Звать-то ее я уж не помню как. Александра Егоровна будто. Да ее так и знают, кого не спроси: «Птушка. Птушенька».

— Птица, — наклоняясь ко мне сзади, произносит дядя Викентий. — Птаха, Птушка, то есть ласковое прозвище как бы. Птушенька ты моя, кукушенька ты моя... — сказал дядя Викентий, и братья захохотали. Прошел поезд, мы свернули на боковое шоссе и через пять минут въезжали в город Починок.

Об этом малом городке на Смоленщине я знал по рассказам отца, а у поэта Твардовского есть стихотворение, которое так и называется — «Станция Починок».

Однажды я спросил отца, слышал ли он про поэта Твардовского, с каких он мест.

— Кузнецы Твардовские? — воскликнул отец, оживляясь, и я понял, что он не напрасно пропустил мимо ушей слово «поэт». Он знал Твардовского с другой, более важной для его воспоминаний стороны. — Твардовские, — сказал отец, — жили семь верст от нас, кто же их не знал!..

Отец начинал вспоминать Смоленщину, и странные имена, даже названия деревень необычно будоражили мои чувства, будто поднимали со дна моей памяти такое, чего я и сам не знал.

На пыльной, изъезженной лошаадьми и машинами площади мы встали. Отец пошел покупать гостинцев для деревенских: конфет и пряников.

В очереди он встретил земляка, да тут, наверное, каждый второй — земляк. Я застал только часть разговора отца с земляком.

— Значит, ты не ляховский?

— Нет, из Радица, Петра Васильевича сын... Не слышал?

— Как не слышал, вас там было сколько... Ты не Сергей которой?

— Ну, Сергей!

— Так ты вроде в смоленской столице живешь?

— Не... в Москве я живу, — сказал отец.

— Ишь! — говорил земляк. — Сюда, значит, проведать или как?

— Проведать, — сказал отец. — Только никого не осталось, вот раков половить. Раки у нас отменные были...

— Раки есть, — подтвердил земляк. — Сколько лет-то прошло, тридцать?

— Не меньше, — ответил отец. — Там Птушка жива?

— Жива, — сказал земляк. — Чего ж ей! А ты сильно постарел. Я тебя мальчишкой помню, ишь ты, как бывает. Нет человека, будто совсем исчез, а он вдруг появляется. Ну, бывай!

Едем мы медленно. Дорога пыльная, все лето не было дождей. Эта пыль, невесомая, сухая, долго стоит за нами желтым маревом, закрывая солнце, рыжим слоем оседает на стекле.

Час назад дядя Викентий крикнул свое обычное «останови» и вышел из машины.

Мы с отцом решили, что снова хочет он рожь потрогать, в земле ковырнуть, может, и другое что заметил, что мы пропустили.

— Ну чего? — спросил, выходя за ним, отец и разминая затекшие ноги.

Дядя Викентий не отвечал.

Молча стоял, глядя то вправо, то влево, подымая землю, нюхал, бросал.

— Что нашел? — произнес отец, оглядываясь так же, как брат, и не находя ничего примечательного, из-за чего бы стоило волноваться.

Дядя Викентий хмурился, смотрел перед собой. Был он возбужден чрезвычайно и никак не мог ответить на вопрос.

— Да что случилось? — крикнул отец, заражаясь беспокойностью и пожимая плечами.

— Серег, это ведь моя земля... Была. Вот, ей-богу, она, я сразу признал. А ведь с какого же года тут не был! Хлеб сеял, хозяйствовал, Серег, — сказал он.

Он пошел по видимой ему одному меже, которой сейчас и не было, время от времени останавливаясь, будто принохивался, искал каких-то старых примет. Все тело его было сейчас особенно напряжено, все обращено к ней, к земле, на которой теперь пыльно росла трава.

Так он обошел неровным квадратом весь бывший надел, оглянулся и вздохнул. Потом сел в машину и велел ехать, ни разу больше не оглянувшись.

Он рассказал, как его, безземельного парня, женили на дочери одного хуторянина, Бурмистрова. Он взял за женой лошадь, корову и эту землю. Но так как он вышел на чужой хутор, о нем говорили: «Вышел замуж». Он даже пошел на такое унижение: взял фамилию жены, как с него требовали, и стал писаться Бурмистровым. Поэтому, хотя он и родной брат отца, фамилии у них разные. Это было году в двадцать третьем, а через пять лет стали организовывать тут колхоз, и дядя Викентий отказался в него вступать. Он вылезал из кожи, думал, что сможет сберечь свою призрачную самостоятельность и землю, доставшуюся таким позором. Но его не оставили в покое — раскулачили. Отобрали корову и лошадь, сам он уехал с женой в Смоленск. Поступил в депо, проработал тридцать лет по чистке паровозных котлов, вышел на пенсию. Ни разу не был он тут. Теперь он впервые увидел свою землю.

От Белых холмов до родной деревни Спасское всего три километра. Немного проехав, братья вышли из машины и пошли пешком. Как ни велико было их желание въехать в свою деревню торжественно, на машине, еще больше хотелось войти в нее пешком, как ходили прежде.

Вот она и показалась, деревня, в которой было дворов девять всего. Прежде в ней было около ста домов, наверное, был порядок и улица. Дома исчезли, а оставшиеся держались своих постоянных мест. Деревня постепенно приобрела эту странную теперешнюю форму, она вырождалась.

— Скажите, где Бородавкина живет? *

Отец стоит у березовой, с облетающей корой оградки первого от дороги дома.

— Кто? — говорит женщина от крыльца и поворачивается к нам.

— Бородавкина... Птушка!.. — кричит отец.

— Ага, — произносит женщина, медленно приближаясь к нам, разглядывая сразу лица и машину. — Ага, — повторяет она.

— Который ее дом? — спрашивает отец.

— В конце ее дом, — говорит женщина, совсем подходя к нам и взглядывая из-под платка. — Тот вон, самый крайний и есть.

Больше она ничего не говорит, а смотрит, не торопясь, хотя ей, наверное, очень бы хотелось узнать, кто мы и зачем приехали сюда. Городские гости — случай не частый, да еще на машине. Может, она что-нибудь и чувствует, но вслух говорить сама никогда не станет: это считается неприличным. Женщина выходит на дорогу и смотрит вслед.

Мы направляемся к крайнему дому по травянистой, неужезженной дороге. У забора стоит Птушенька, тоже приложила ладонь к глазам.

— Кто же это? — произносит она, глядя на забегающего вперед очень возбужденного дядю Викентия. — Не узнаю.

— Не признаете? — кричит дядя Викентий. — Викентий я, Петра сын!

— Господи, какой седой! — говорит Птушенька. — А эти кто же такие?

— Не признаете? — кричит дядя Викентий, подпрыгивая и все время забегая вперед.

— Не признаю, — говорит Птушенька и смотрит на нас. Теперь она встала вровень, лицом к лицу. Отец молчит, точно оглохший, растерянно улыбается.

— Не признаете? — хохочет дядя Викентий, вытирает слезы, так и не переставая хохотать и прыгать. Вдруг оказывается, что он плачет. — Да то же Серега, брательник мой, из Москвы!..

— Ишь ты, — говорит Птушенька, едва смеясь, рассматривая отца. — А Федя-то где?

— Феде сорок дней справили, — говорит дядя Викентий.

— Помер? — спрашивает ровно Птушенька. — Такой молодой Федя-то был! И помер?

— Да, — кивает дядя Викентий, и все теперь замолкают и так стоят.

— У тебя, Егоровна, 'пожить-то есть где?

Никто не сомневается, что пожить где найдется, вовек другого не бывало, но спросить нужно. Так положено.

— Да есть, есть, — говорит Птушенька, смеясь, целуя отца, дядю Викентия, меня. Она произносит то самое, свое: «Птушенька ты моя...»

Общее потрясение еще владеет всеми, только выражается оно по-разному: дядя Викентий прыгает, то вскрикивая и всхлипывая, то закатываясь от странного вдруг смеха. Отец же будто онемел и теперь, обретая чувства, слова, почесывая нервно локти и оглядываясь, произносит:

— Сеновал есть? На сеновале и ночевать будем. Лицо у Птушеньки светлое, теплое, ясные, живые глаза. Губы и подбородок ее дрожат от каких-то праздничных для нее чувств, в то время как вся она тихая и спокойная.

Отец не стряхнул даже дорожной пыли с ног, не дал нам присесть и скинуть лишней одежды.

— Пойдем за раками, — сказал он и закричал вдруг: — Ну, скорее же вы, всегда вас нужно ждать!.. — Он стал нетерпелив и горяч, сердясь за любые промедления, за все, что могло задержать наш выход. Птушенька готовила закуску, и он сказал ей: — Через час мы вернемся, через час, Егоровна. Ладно?

Своим нетерпением он заразил дядю Викентия, тот тоже заторопился, забегал, толкая меня и отца.

Вышли. День клонился к концу, воздух был в теплой дымке, тепла была еще пыль на дороге, а трава уже холодала.

Все как бы остановилось кругом и замерло в это предвечерье. Было тихо, пахло землей. Длинные тени от кустов легли поперек тропинки. Впереди шагал отец. К нему, принаравливаясь, чуть мельтеша, пристраивался дядя Викентий. Мне было видно их со спины — два седых затылка, мелькающие ноги с засученными штанинами. Будто и не было этих полсотни лет, а все так же, как при их детстве. Мне показалось, что и походка у них стала другой, упругой, совсем мальчишеской. Они шли на свою речку (господи, что за речка, у нее и название-то «Свиная»), Викентий кричал:

— Серег, а помнишь? — И все он не поспевал за отцом, забегал на обочину, хихикал, глядя ему в лицо. — Ты помнишь, Серег?

— Помню, — произносил отец.

И снова дядя Викентий кричал, подпрыгивая, задыхаясь от ходьбы или избытка чувств: «Серег, ты помнишь?» .

— Да, помню. Все помню, — опять говорил отец, вовсе без досады, с удовольствием. Он оглядывается, жадно чешет под мышками, но ничего не замечает, и не чувствует, и не держит в уме, — я-то уже знаю! — кроме будущих своих раков. Томительного, ликующего, почти больного предчувствия того, о чем он так мечтал...

Руки его стали беспокойными, выражая крайнюю степень возбуждения, глаза блестели, как от вина.

Между тем мы пришли к речке, заросшей ивняком и крапивой. Отец с ходу стал раздеваться, был он будто во сне. Он раздевался и бросал одежду как попало. Когда пуговица не расстегивалась, он нетерпеливо дергал ее, глядя с жадностью туда, где за кустами, темная и прозрачная, текла речка. Разделся и, обжигаясь о крапиву, с наслаждением охая и ахая, полез в воду.

Его сразу же облепили комары, миллион и еще одна штука, но он не помнил, не чувствовал, не мог чувствовать их. Он наклонился, опустил руку в воду и весь теперь жил в своих пальцах, в том, что было для него под водой, да, пожалуй, еще в его собственных переживаниях.

Дядя Викентий поежился, с живым любопытством, с восхищением глядя через кусты на отца, в знак солидарности с ним и для собственного ощущения тоже покрывая, охая и замирая.

— Серег, — шептал он через кусты, зная, однако, что отец его вряд ли услышит. — Серег, ты под этой корягой... Они там, под этой...

— «Там», «под этой», сам ты «под этой», — бормочет отец, лишь бы что-то произносить, и все щупает, щупает под водой руками. И дядя Викентий, треща кустами, идет над ним, шепчет ему, указывая на ту или эту корягу, мучительно переживая про себя. Но все-таки сам не раздевается, стережется. Вдруг за кустами раздался вскрик дяди Викентия и отцовский смех, удовлетворенный, долгий. Отец крикнул: «Ха-ха-ха — держи-и!»

И тяжелый, темный, крестом шмякнулся у моих ног в траву первый рак, ворочаясь и цепляясь клешнями за стебли, за пальцы. Клешни в середине были у него розовые, с прожилками, над усами катались матовые шарики глаз.

Выскочил из-за кустов дядя Викентий, прищипанный на ходу крапивой, взял рака в ладони и, перебрасывая с руки на руку, как живой огонь, заплясал с ним какой-то немислимый, ликующий танец. А уже из-за кустов полетели темными крестами, будто распятые, другие раки. Они глухо ударялись о травяную землю и лежали там оглушенные, пока к ним не прикасались теплые пальцы. И все время отец хохотал. Сопровождая смехом этот параболический полет, он кричал победно: «Держ-и!..» И еще раз: «Держ-и!..»

Отчего-то слово «держи» будит во мне сложные чувства, связанные с прошлым. Я не помню отца молодым.

Ему было тридцать лет, когда он потерял нашу мать и ушел на фронт. Меньше, чем мне сейчас. После смерти матери у нас уже никогда не было настоящей семьи. Годы войны пали на самый сложный мой возраст, я расстался с отцом десятилетним школьником, а встретился пятнадцатилетним подростком, работающим, уже тогда очень самостоятельным.

Но и отец стал другим.

Между потерей матери и нашей встречей с ним была война, целая эпоха в моей и его жизни. Она могла кончиться плохо и для нас и для отца.

Начав от Муромы, через Северный Кавказ, Приазовье, Кишинев, Бухарест и далее, отец прошел весь положенный ему войной путь и в сорок шестом вернулся в Россию, чтобы найти нас. Спасибо полевой треугольной почте с постоянными штампами: «Проверено военной цензурой». Полевая почта ни разу не разорвала тонкую, как паутинка, связь, и мы не пропали, не растворились по разным детдомам, безымянные, несущие как память от прошлого только свои фамилии да то, что сами про себя сочиняли!

Но одна фамилия, даже родина, придуманная про Смоленщину, значила так мало! Я никогда не думал прежде, что случилось бы со мной и сестренкой, если бы отец не вернулся. А он мог сто раз не вернуться, теперь я это хорошо понимаю, и, наверное, хорошо, что тогда этого не понимал.

Что уберегло отца на минном поле под Новороссийском, когда подорвались его друзья и на отца была уже написана похоронная?..

Что спасло его при лобовой атаке на Голубую дивизию у Сиваша, что тысячу и один раз хранило его там, где другие клали голову?

— Случайность, — сказал бы он сам.

Правда, один раз он рассказал совсем уже невероятный случай, как спасла ему жизнь наша умершая мать.

Будто бы отдыхала их часть после трудного боя, отец спал под деревом на траве. И встала над ним моя мать, словно живая, он даже запомнил, что была она одета в самое свое любимое красное платье. Она сказала: «Сережа, проснись, посмотри, где ты лежишь!» Он огляделся и увидел вокруг много грязи и кала, забрал шинель с вещмешком, перешел за бугор и снова заснул. А тут начался артналет, и в дерево попал первый же снаряд, не оставив даже корешков, и многие товарищи отца погибли.

Отец мой, ясное дело, не верит в загробные чудеса. Он просто рассказал то, что ему привиделось или приснилось. И стоило ли разубеждать его, если ему очень хотелось, чтобы его любимая жена сохранила ему жизнь даже после своей смерти.

Ему хотелось так, и это произошло. А мне даже нравилось вспоминать этот случай, потому что в нем была моя мать, — об ее жертвенности я слышал и прежде. Я точно знал, что, если бы моя мать спасла жизнь отцу, она бы это сделала и мертвая, такая она уж была...

Я думаю об отце, стараясь проследить его жизнь со дня смерти матери. У него уже третья жена, а у меня была одна мать, та самая женщина, которая сейчас мне ближе, чем ему. Мы даже на равных не можем говорить о моей матери, но ведь я не упрекаю. Эта смерть была общей нашей бедой и началом нашего разобщения — вот до этих раков...

— Двухкопеечный! — говорит дядя Викентий. — А' бывают пятачковые — во! С четверть!

Прищуриваясь и хихикая, он осматривает рака, поворачивая перед глазами.

— Самочка! Шейка троп-троп-троп... От, Серег, у тебя комарья на спине!.. — кричит дядя Викентий, убегая в кусты и снова возвращаясь. Все это он делает с необыкновенной юношеской проворностью, заразительно хохоча.

— Ах, паскуда! — кричит он, взмахивая пальцем с висящей на нем клешней, как бельевой прищепкой. — Ах, паскудинка, ах, лупоглаз усатый!.. Клешню оставил, а сам уходит, уходит!

Кто это сказал, что у рака будущее позади? Я смотрю вокруг, на поля уже пали сумерки, травы потемнели, стали влажными, пахучими.

— Смени ногу, Серег! — кричит дядя Викентий. — Вылазь!

— Я вылазю, — отвечает отец.

— Давай, а то конца не будет.

— Вылазю, — говорит отец, уходя по» речке все дальше и дальше.

— А то всех соберешь, на развод не оставишь...

Дядя Викентий торопит, не желая, чтобы отец скорее вылезал, не укоряя. По привычке. И отец по привычке отвечает, зная, что не вылезет сейчас и никто не сможет ему помешать испытать свое головокружительное счастье до конца. Пока сам не почувствует: все. На сегодня все. Невмочь. Но завтра-то, как только рассветет...

Он наконец вскакивает, мокрый, дрожащий весь, то ли от холода, то ли от пережитого забвения и радости. Обтирая тепло, вздрагивая от хохота, приговаривая: «Эй вы, нули, что заснули!..» И ворошит в ведерке раков, которые сцепились, едва шевелятся, стараясь оборвать друг у друга клешни. Торопливо одеваясь и приплясывая на одной ноге, отец

рассказывает, как в дореволюционные времена приехал к ним рачница, поставил мужикам два ведра водки и велел нести всех раков к нему: скупать будет. Не успели мужики порадоваться, как появился второй рачница и тоже стал поить мужиков, а за раков предложил цену вдвое выше. Тут они между собой перегрызлись, и первый со зла возьми да от мельницы пусти по течению какую-то отраву, вроде бы аммиак. Вся речка Свиная враз побелела, раков дохлых несло — «косить можно было», подтвердил дядя Викентий. Целые сутки несло их, а потом долго не было в речке раков, пока не развелись снова. И каждая баба умеет тут их ловить по норам.

Обретая голос и спокойствие, отец вспоминает про какой-то «солохинский вир», где они брали налима, про «щупаков», как они тут называют щук.

Мы идем обратно. Над нами светят первые звезды, голубеет за кустами запад, доносится лай собак.

Мы вываливаем раков в чугунок и прикрываем тяжелой сковородкой, чтобы не разбежались.

Идем в избу.

— Зазябли! — восклицает Птушенька, взглядываясь в нас с порога. — Господи, сейчас, сейчас... Нужно же с дороги в этакую прорву лезть.

Мы садимся на лавки. Отдыхаем. Изба у Птушеньки небольшая, посерединке русская печка на деревянном фундаменте. Стены оклеены районной газетой «Знамя».

— Тут салаш был, немцы дом-то спалили, курочки на всем участке не найдешь. Теперь салаш поболее...

На стол вливает радостно шипящая в брызгах сала яичница. Отец уходит и возвращается с бутылками самогона, он садится, как хозяин, в угол, под образа.

— Так и живете? — говорит он традиционное, разливая самогон.

Птушенька приносит лук, картофельный ржаной пирог, творогу. Встает за нашей спиной, отвечает:

— Живем хорошо — ждем лучше...

Садиться за стол она не хочет, стоит за нами и смотрит, как мы будем есть. Отец подает рюмку, говорит:

— Откушай нашего, Егоровна, может, слаще... И тетке Улье, соседке:

— Со свиданьем!

И Птушкиной внучке Нине, доярке. Ее мужу, механику.

Но сам отец не пьет, а ждет, смотрит с любопытством, с тайным восторгом, как будут пить другие. Как задохнутся, ловя воздух и быстро нюхая хлеб, каждую слезу принимая как дань его искусству, умению и таланту. Выпила Птушенька, быстрехонько и легко, точно рукавом взмахнула, обтерла рукавом губы, произнесла:

— Закусывайте, не брезгуйте нашим.

— А мы какие? — сказал дядя Викентий. — Мы, что, не отсюда, что ли?

Птушенька выплывает за моим плечом, я этого не вижу, я чувствую по движению воздуха, будто от широких неслышных взмахов крыл. Вот она действительно произносит, приговаривает: — Ешь соленое, работай до соли и помрешь — не сгниешь!..

Тут она пододвигает мне пирог аржаной с картошкой, горячий, сытный, какой я не ел всю жизнь, только помнил по бабкиному дому, что он существует...

Такого же большого, дымящегося пирога с картошкой ни разу не видывал с детства. Картошка была желтая от примешанного яйца, с крапинками зеленого лука, она крошилась и была до головокружения сладка. Я держал пирог в руках и дышал его запахом, в то время как Птушенька неслышно летала за нашей спиной, что-то принимая со стола, что-то добавляя.

— Вот так нас дед с бабкой принимали, — сказал отец.

Я оглядывался на Птушеньку, думал, что лицом она похожа на мою бабку: большой нос, глаза щелочками, и вся доброта подобралась под эти глаза. Было ей сейчас лет

семьдесят пять, но живость ее, быстрый язык и любопытство к жизни никак не зависели от возраста. Память ее была необыкновенна, она помнила все не хуже отца, передавала некоторые сцены живо, почти в картинках, дополняя мимикой, то ли движениями рук.

— А какая была бабка Варвара? — спросил я Птушеньку.

— Варя-то? — спросила она. — Так вот такая же, как я. Чуть пониже, может быть. И все плавает, плавает, пола не касается, — говорила Птушенька, проходя по избе и изображая с улыбкой бабку Варвару.

И все смотрели, смеялись, отец хохотал, что-то вскрикивая, уже красный от выпитого.

— А дед? — кричу я через общий шум. — Дед здоров был?

Спрашиваю я немного ревниво; мне всегда казалось, что я из-за детдома задержался ростом, недобрал своего.

— Да, крупный дед Петр был, вон, как отец твой, пошире только! — отвечает Птушенька, полная ко мне ласки и любопытства. — А в кого же ты такой непьющий будешь? В Варвару разве?

— Дед Петр колдуном в деревне был, — говорит, наклоняясь ко мне, отец. — И верил в заговоры... Рожу лечил.

— Я же теперь табак нюхаю, Петрович, — сказала Птушенька. — Привыкла и вот нюхаю.

— Не помнишь? — говорит, оборачиваясь к ней, отец. Не находя у нее отклика, обращается ко мне: — Я Варваре табакерку сделал на заводе.

— Помню, — отвечаю я.

Я действительно вдруг вспомнил эту удивительную табакерку, сверкающую, гладкую, овальной формы. На ней была замысловатая вязь букв, то ли инициалов, то ли дарственной надписи. Я тогда читать не умел. Но табакерку потому и запомнил, что она мне нравилась своим блеском. Сверкала, будто волшебная.

— Она была овальная? — спросил я отца.

— Правда! — сказал он. — Я на заводе изготовил, отникелировал, вся деревня ходила на нее смотреть...

Возвращается Птушенька и, не слыша нашей беседы, вдруг говорит:

— А табакерочку Варварину помнишь, Петрович? Она ведь мне досталась после ее смерти...

Отец открывает рот от возбуждения, смотрит многозначительно на меня, на дядю Викентия, все хочет произнести: «Покажи», — но получается: «Пыжи...»

Птушенька понимает его, всплескивает руками и тоже никак не может ответить.

— Где уж! — говорит она, покачивая головой. — Ее полицейские забрали. Я на полочке схоронила, думаю: на полочке не найдут. А они, уходя: туды-сюды, туды-сюды, — нечего взять... Со зла как по полке кулаком ширнут, табакерочка и выпала. Лежит на полу, сверкает, как красное солнышко, такая была табакерочка... Они так и бросились, наверное, подумали — золото, что ли. Дерутся проклятые фашистские полицаи, а я смотрю из угла. Жалко табакерочку, Варварина память.

Дядя Викентий покраснел от вина, он развернулся, глядит на Птушеньку. Ему хочется, чтобы она рассказала еще про мать, про Варвару.

— Вы ее рядом с отцом схоронили? — невпопад спрашивает он.

— Вместе, Петрович, — говорит ему Птушенька, называя и дядю Викентия Петровичем. И никакой тут ошибки нет: их теперь двое на всем белом свете и осталось, Петровичей.

Дядя Викентий ничего не спрашивает. Но ждет, когда Птушенька соберется с мыслями.

Никто не торопит ее. Все повернулись, ждут.

— Она померла от тифа, — рассказывает Птушенька, — в избе, может, не померла бы, да тут, в окопе, в лесу... Немцы нас загнали, верст двадцать — тридцать отсюда. Яков,

мой муж, хороший ей вырыл окопчик-то, но четыре дня шли дожди... Прибегает дочка, говорит: «Руки у бабки Вари посинели, не дышит она...» Пошли, посмотрели, а она кончилась. Половина тела в воде...

— Как ее схоронили? — спрашивает дядя Викентий. — Без гроба? Без всякого? — спрашивает он, будто ровно, но все понимают, почему так спрашивает, узнавая подробности материнской смерти двадцать пять лет спустя. И отец сидит, в стол неподвижно смотрит, лица не повернет. Будто весь самогон из него вышел. Все молчат.

— Почему же без всего, Петрович? — говорит плавно Птушенька. — Мы ей досочки сделали, обвязали веревочкой да понесли. Через болото, через речку, все лесом, где погуще, так и несли день и ночь. Ночью подошли к деревне, окраиной пришли на кладбище и в вашей, приставкинской, могиле зарыли Варвару... Чтобы, значит, не в лесу, а со своими лежала. Сделали все, как положено.

Я от отца уже знаю, что в мае сорок первого года бабка Варя приезжала к нам в Люберцы, под Москву. Дед помер, и решено было, что бабка поедет в деревню, продаст дом и вернется жить у нас. Семнадцатого июня выехала она в Смоленск. Через пять дней началась война, а где-то в сентябре — октябре бабка, отцовская мать, умерла в лесу, в окопе. На месяц пережив мою мать, отцовскую жену.

Одна Птушенька помнит, как все было, где кто лежит.

Спали мы на сеновале, на старых зимних одеждах. Утром я проснулся от тишины.

Через невидимые щели светило солнце, пахло сеном. Но оглушающий запах сена поначалу только поражал, он ведь тоже был стар, как мир, пьяный, с легким дурманом, напоминающий о солнечном тихом дне. О спокойствии. От него приятно кружилась голова и погружало в забытие, в котором, однако, чувствовалось и ощущалось все, что происходило вокруг: игра света по чердаку, спор воробьев на крыше, скрип открываемой двери и шлепанье ног по деревянному полу внизу — кто-то босой входил в избу. Отца рядом не было, он встал до солнца, как привык вставать. Как вставали тут его отец, дед, прадед. Это наше поколение любит поспать и по своей воле не сдвинется утром с подушки: слишком много лучших минут недослано в будни, когда беспощадный будильник зовет на работу.

Мне уже привиделся какой-то большой, сверкающий, как солнце, маятник, который меня раскачивал, и воробьи спорили и терзали солому на крыше. Я подумал вдруг, что опять сплю, хотя понимаю это сам и все осознаю вокруг. За открытой в избе дверью я различал голос Птушеньки, она разговаривала с моим отцом.

Подвинувшись к чердачному окошку, я увидел отца с косой в руках. Он уже успел выкосить всю траву вокруг дома и теперь собирался куда-то идти. Ему не терпелось испробовать все сразу, он спешил, будто боялся, что ему помешают, не дадут сделать это. Птушенька, которую мне не видно, говорит:

— Ах ты, француз! Это она так бранит отца.

— Иди завтракать, Петрович, сына не буди: молодому спать дольше нашего надо. Поешь, а посла хоть в колхоз вступиай, мне не жалко.

— Ты еще, Егоровна, в колхозе числишься? — спрашивает отец, проводя рукой по лезвию косы, пробуя жало.

— Кто ж меня пустит с колхозу, — отвечает Птушенька, и мне представляется, что она тихонько посмеивается, произнося это. — Вот помру, тогда в отпускную...

Птушенька не жалуется. Ей нравится жить, несмотря ни на что, с годами в ней вызрела эта легкая усмешка, как защита от всего, что могло накопиться под сердцем и убить его.

Вот рассказывает она, как ее сыновья воевали в войну. Одному из них было восемнадцать лет, другому двадцать. Ушли партизанить «вон в те леса». Птушенька укажет в окошко «вон в те...» и ровно будет продолжать, как пришли к ней немецкие солдаты и стали спрашивать про детей.

— Где твои дети? — спрашивали они. — Во зинд ире киндер?

Русские полицаи переводили ей.

— Да на фронте, где ж они могут быть, — отвечала она спокойно, сложив руки под передник и глядя снизу на солдат.

— Отвечай, где твои дети? — кричали солдаты.

— Я ж говорю: воюют, так же, как и вы, в шинелях... Вот только покультурнее, наверно, они на свою мать не кричали никогда.

Она понимала всю бессмысленность таких вопросов: им нечего было с нее взять. Она прежде сделала свое: родила и взрастила детей, которые теперь били этих чужеземцев. «Ах ты, французу!» Так она сказала тогда, выругавшись на немца. Тот не понял, сказал:

— Нейн! Их бин дойтше солдат!

Она тогда чуть не засмеялась врагу в лицо. «Ах ты, французу!» Говорят, это ругательство пришло от давних наполеоновских времен, но ведь Смоленщина жива, а от французских захватчиков только одно ругательство осталось. А двое ее сыновей бой в лесу ведут. Пусть их попробуют словить — так она думала.

Но она ошибалась. Нашлись люди, которые точно указали, где находятся ее сыны.

Немцы подослали к ним из деревни человека, который якобы от матери сообщил, чтобы они не скрывались, а шли домой; прибыли бойцы Советской Армии и хотят помочь им перебраться через фронт к своим. Ребята поверили, они пришли домой на рассвете, постучались: «Мама, ты нас звала?»

Тут их и схватили, они и понять ничего не успели. Только: «Мама, ты нас звала?»

Связали. Повели на Ельню. Специально по деревням, чтобы везде видели, что будет с каждым пойманным партизаном.

В каждой деревне их избивали, а она пошла вслед и все видела. По тем же дорогам, босая, точно раненая птица, она прошла до ' самой Ельни. Видела кровь, что оставалась за ними на песке, подбирала клочки одежды в местах, где их избивали. Ее заметили, однажды погрозили винтовкой, но не тронули. Она шла тихая, будто бы спокойная даже, никому она не мешала. Брела в отдалении, только белый платочек мелькал. След в след, с сухими, глубокими глазами, устремленными на детей.

«Мама, ты нас звала?»

Так она пришла в Ельню, пережив каждый шаг детей своих. На краю Ельни двух ее сыновей расстреляли. На том месте сейчас их могила.

— За двух ребят получаю я пенсию, — объясняет просто Птушенька. — А ребята какие были, Петрович!

Третий сын умер недавно от старых ран.

— Александра Егоровна, — говорил отец, не вмешиваясь в ее негромкую, очень ровно рассказанную историю, только повторяя в паузах: — Александра Егоровна...

Отец и сам не знал, наверное, что он может сказать. Так просто повторял, чтобы слышала Птушенька свое имя, произнесенное с достойным уважением.

— Александра Егоровна!..

— Растет другая внучка, — говорит Птушенька, и подбородок ее вздрагивает от тихого смеха. От светлого чувства к этой внучке. — Слава богу, может, будет все хорошо. Как ты смотришь, Петрович?

Отец сказал: «Гулять мы ходили за приставкинский колодец».

Колодец этот стоит сейчас вроде бы в центре деревни, но близ него домов никаких нет.

Была тут изба деда нашего, прадеда Василия и прапрадеда Ивана, теперь же ровное зеленое поле, хоть стадион устраивай/ Один приставкинский колодец торчит. Вырыли его лет сто назад. Тогда наш род жил одной семьей. Сруб клали не из сосны или дуба, от которых вода поначалу горчит, а из березы. Она в воде не гниет, от нее и вода слаще. Смоляне да еще костромичи были первые мастера по колодцам.

Пользовались колодецем девьяносто изб, и вода в нем была на редкость удачна. Сейчас колодець обвалился, вода в нем загнила... После завтрака отец пришел к колодецу, осмотрел, спугнув в лопухах курицу. Потрогал деревянный сруб, сказал: «М-да».

— Осина, — с некоторым осуждением, с досадой произнес отец, заглядывая за окоем, пытаясь разглядеть все до дна. — Сперва береза идет, потом ремонтировали, осину местами подкладывали. И тут все осина. Торопились, иль не до того было...

Ощупывая медленно дерево, как бы принаравливаясь к нему, отец говорил:

— Тут вот рогатину ставили, специально шли в лес, десяток верст обходили, чтобы найти подходящую сосну.

Подошли дядя Викентий со стариком Семенычем, и Семеныч также вдруг сказал:

— Приставкинский колодець. Но вода в нем кончилась, иссякла.

— Как же так кончилась? — спросил дядя Викентий. — Сама она, что ли, кончилась?

— Может, и не сама, — сказал Семеныч. — Может, люди забросили, я уж не помню.

— Вот главное, что люди ленивые! — подхватил дядя Викентий, взмахивая руками и едва так же, как отец, не наступив на курицу среди лопухов. — Им легче полверсты отмахать, чем почистить и исправить колодець...

— Во-т, — сказал поучительно дядя Викентий, трогая сруб руками. — Осину ставили на колодець, видимое ли дело?!

— Никого людей-то нет, — сказал миролюбиво Семеныч и стал тоже трогать сруб и заглядывать вовнутрь. — Иссякли люди, иссякла и вода, как ваш приставкинский род: был и нет в деревне. Никого ведь нет. Кто же будет чинить и рыть колодцы, если все будут так уезжать?

Отламывая подгнившее дерево и вертя на расстоянии от глаз, Семеныч стал говорить, что тут уж забыли, как нужно рыть колодцы, а прапрадед Иван с сыновьями понимал, как вода происходит под землей, в других деревнях не было такой сладкой воды, как в приставкинском колодеце.

Мужчины сели на траву, кто на камень, тут же у колодца, и стали говорить об умении рыть колодцы, ставить избу, ложить печь.

Отец, дядя Викентий и я собрались на речку Свиную, где вода хоть и темная, но мягкая, добрая, годная для стирки.

Для питья же воду берут из родника, криницы, что бьет у самого берега.

— Это ж у Черного вира, неужели не помнишь? — объясняла Птушенька.

— Помнить-то помню, — сказал отец. — Да где теперь, через столько лет.

Мы берем в провожатые соседского мальчишку Серегу, человека лет семи, отчаянно рыжего.

Серега убегает надеть штаны, возвращается и ведет нас полем до самой речки.

— Тут где-то.

Показал и стал ковырять в носу.

— Где тут-то? — спрашивает, недовольно сопя, дядя Викентий, обходя берег и обваливая землю в воду. И воскликнул вдруг: — Вот она! Криница! — Он встал на краю берега, заглядывая вниз.

— Я-то слышу, звенит, ровненько так... Вы послушайте! Послушайте!

Действительно, звенела вода, точно пел дальний жаворонок.

. — А? — сказал дядя Викентий, будто он изобрел этот серебристый звон. — А?

Мы стали спускаться к невидимой кринице, и тут из-под берега разглядели прозрачный родник, уходящий в черную береговую грязь.

Отец тронул пальцами, любопытно и осторожно:

— Как самогоночка.

— Так чем ее, кружкой, что ли?

— Ты землю, землю подкопай! — кричит дядя Викентий. — Чтобы ведро подставить...

Он горячится и сердится: как люди не могли додуматься до этого прежде. Они с отцом часто теперь сердятся, встречая бесхозяйственность вокруг и удивляясь и досадуя на очевидность ее. Вот речка, заросла сплошь, а прежде мужики лозу использовали, и речке светлей было. :~ *

Или мост. Что за мост, глядеть же тошно. Поглядят, выругаются в сторону, неизвестно чью, и тут же начинают менять бревна... Одно бревно откатят, одно перевернут или поменяют местами. Все-таки лучше.

Проходят полем, мимо трав, вспомнят, что тут были лучшие в округе травы у некоего Лизочкина. И отец и дядя Викентий нанимались тут косить, им ли не помнить те травы! Сейчас на том же месте, но похуже, а те, что скошены, давно пора перевернуть... '

— Вишь! — горячится дядя Викентий и тычет мне в нос пук травы, будто я' виновен в том, что ее не перевернули. — Энта сторона белая. Весь же запах трава потеряет... '

Щупают руками, вслух жалеют: — Нет, в свое время не дали бы мы этой траве перестоять или пересохнуть.

Землю под ключом копали концами коромысла, приговаривая:

— Лопату бы сюда... Обкопать, воткнуть железную трубу, чтобы как у нормальных людей было!.. И водичка по-хозяйски течь будет.

Дядя Викентий походил у речки, нарвал камыша (они называли его «яверь») и, выходя на берег, с хрустом открыл верхушки.

— Детство вспомнил? — спросил отец, с удовольствием обкапывая грязь и расчищая русло для, воды. — Есть будешь?

— Да, не... Серег, — отвечал дядя Викентий, трогая прозрачно-розовые корешки и поднося их к носу. — Для запаху нарвал. Дюже у зверя запах приятный. От детства, что ли... Моя жинка специально его на рынке берет и стелет дома на пол...

Дядя Викентий сдирает у одного конец, будто очищает банан, и откусывает.

— Ишь ты, впрямь вкусно! — восхищается он и так все съедает.

Отец ставит ведро под родник, и вода звенит, ударяясь об оцинкованное железо. Она чиста и серебриста. Отец зачерпнул кружкой, ахнул от холода, хватив лишку, но, выпив всю до дна, подумал и, вздохнув, сказал:

— Пожалуй, еще одну.

Рыжий Сергей сидел наверху на траве и гонял веткой комаров.

— Откель она бежит? — спросил он, глядя на отца.

— Из глубины, — ответил со страстным уважением дядя Викентий. С уважением не к вопросу, не к Сергею, а к воде и к глубине той.

— А отчего ж она вверх течет? — спросил рыжий Сергей. — Получается, в гору?

— Выхода нет, — с тем же сочувствием, уважением к воде проговорил дядя Викентий. — К солнышку она стремится. Как бы темно, худо ни было, все солнышка ищут, и вода тоже...

Он повернулся вокруг себя, показывая на деревья, на поле, на видневшуюся вдали деревню.

Мимо проехал грузовик с женщинами, видимо, с косьбы. «Прежде же сроду бабы не косили».

Дядя Викентий поглядел им вслед, покачал головой. Тут встала над нами Птушенька с ведрами на коромысле, спросила, наклоняясь:

— Аль нашли? Я уж думала, не заблудились ли наши мужики... — засмеялась совсем молодо, глядя на нас. И, сойдя к кринице, налила воды в ведра, зацепила коромыслом сперва левое ведро, потом правое и пошла медленно, зная, что мы последуем за ней.

Было в ней, едва согнутой под ведрами на фоне неясного белого неба, что-то очень знакомое по каким-то картинам, что ли. Наверное, и отец об этом подумал, глядя на Птушеньку, на деревню, не торопясь брать ведра.

«Как все похоже», — думал я, оглядываясь и не зная точно, на что похоже. Вообще похоже, а скоро мы уедем. И никогда, может, не вернемся. А это будет существовать само по себе, вечное, как Смоленщина, как Русь. Как Птушенька.

«Как все похоже», — говорил я про себя, веря, что такое мгновение я уже переживал, уже чувствовал. Что я тысячу лет знаю это все и по наитию мог бы показать все деляны, что я вырубал, лес, все уголья, где косил с мужиками травы, теплую избу, где любил и рожал детей... И где я помер, я тоже знаю.

До кладбища от деревни километр без дороги. Расположено оно на зеленой крутой горе, видной издалека. Первой шла Птушенька в аккуратном, надетом для этого случая платье, в белом платочке на голове. За ней двигался дядя Викентий, держа за руку правнучку Птушеньки, потом отец со свертком, где были самогон, закуска и обязательное тут рушниковое полотенце, широкое, с вышивкой по краям.

Птушенька, едва сугулясь, неторопливо прошла между могилами к середине кладбища, само по себе очень небольшого, так что можно было с одного места видеть почти все могилы. Она встала у огромной, единственной тут такой сосны, обхвата в два, повернулась ко всем и сказала:

— Это место ваших, Приставкиных.

— И дед Василий? — спросил дядя Викентий.

— Все, начиная от корня, от прадеда Ивана, все тут лежат. А там Леоновы, там вон наши, Бородавкины... У всех свой район, но ваш, приставкинский, — в центре.

— А мать с отцом? — спросил опять дядя Викентий.

Птушенька указала место, где похоронены дед Петр и Варвара.

— Петр Васильевич перед войной помер, — плавно, речитативом сказала она, — Ему гроб ставили на столбах, чтобы не касался земли. Так просил он... Говорят, так колдунов хоронят, что ли...

Птушенька рассказывала, как дед Петр умел заговаривать рожу и, когда одному человеку хотели отрезать ногу, дед сказал: «Выписывайся из больницы, я тебя вылечу». Тот отказался от операции, приехал к д'еду, и через три дня рожа начала спадать, а потом исчезла совсем. Вся деревня знала о том случае, потому что человек дал деду за лечение три рубля.

— Три пуда зерна, — сказал дядя Викентий. — Рубль пуд стоил!

— Сыновья мои поставили ему гроб на столбах, — говорила Птушенька. — Сверху сделали настил из бревен, как землянку в войну мы делали, а тогда уже засыпали землей...

— А мать? — спросил дядя Викентий, глядя на могилы и на Птушеньку. — Мать прямо с ним захоронили?

— Варвару Семеновну мы положили в ногах у Петра Васильевича, головой к его ногам, — спокойно объяснила Птушенька, она прошла и села на старую, размытую дождем могилку. — Тут лежит, — продолжала она. — Мы ее тогда несли ночью, копали, все немцев стереглись, а лопата о камень — чирк, чирк... Аж замрем все. Так и ушла Варвара, никого ваших не было в последний час... — Птушенька наклонила голову, тихо вдруг сказала, будто пропела, покачиваясь над могилой: — Семеновна, слышь, сыны к тебе вернулись...

Я помнил бабку по довоенному теплему лету, когда мы гостили у нее в деревне. Широкая, плавная вся, будто удивленная, она приносила белые лепешки масла, угощала меня ягодами с молоком, кажется, сильно баловала. Запомнилось, что я боялся грозы, присмиривший, садился я в дальний угол и смотрел на окно, в которое сверкала молния. Все тогда посмеивались надо мной, больше всех отец, а бабка защищала, суеверно уважая мой испуг и отмахиваясь ото всех.

— Не надо! — говорила она громким шепотом, округляя удивленно глаза. — Не надо над ребенком смеяться... Фу ты, взрослые, а дураки!

И тихо смеялась, трогая меня ласково. От ее рук пахло теплым молоком. Это было время тридцатых годов, начала колхозов, я запомнил, как бабка Варвара ходила в поле

дергать лен. Бригадир стучал им в окно, бабка открывала створки и находила яблочки, положенные с той стороны.

Она почему-то всегда удивлялась этим яблочкам и рассказывала про них с радостью и озарением: «Стучит в окно бригадир, я открываю, а там яблочки лежат... Сладкие-пресладкие, он всем так оставлял...»

И то, как бабы дергали лен («Семеновна, внук пришел!»), как окружали меня в белых платочках, а потом на стане угощали молоком да пели какие-то песни, и эти яблочки я запомнил вместе с бабкиным счастливым удивлением. Наверное, это было первое и очень чистое чувство к тому новому, что тогда приходило в бедную смоленскую деревню.

— А тут кто? — спрашивал дядя Викентий Птушеньку, указывая на могилу.

— Тут лежит Евстигней, двоюродный брат деда Петра, а рядышком сын его, Павел Евстигнеевич...

— Не тот, которого в партизанах немцы собаками затравили?

Птушенька не слышала вопроса, продолжала:

— Тут сестренка ваша, Катя...

— Вот где дом родной! — воскликнул дядя Викентий, вдруг удивляясь и садясь на могилу. — Слышь, Егоровна, я скоро еще приеду.

— Да нужон вам наш угол забытый, — нараспев, улыбаясь, проговорила Птушенька и отмахнула руками, в точь как бабка Варя.

— Нет... Зовет! — горячо возразил дядя Викентий и посмотрел на отца. — Я бы ведь раньше приехал, честное слово. Но ведь не знал ничего: кто, что, где...

— Теперь знаешь?

— Приеду! Я теперь тут все знаю. Во наш район, по сосне найду... Если сосну спилят...

— Ах ты, моя кукушенька, ах ты, моя птушенька!... — говорит растроганно Егоровна и кивает головой. — Приезжай, я тебе напишу^ когда лучше приехать. Малина поспеет, а потом брусника...

— Я и сам знаю, когда они поспевают! — восклицает восторженно дядя Викентий. — Я же свой человек!

Отец расстелил на бабкиной могиле принесенный рушник, достал и порезал хлеб, сало, почистил лук, отбрасывая очистки подальше в траву. Четверть стакана самогона он плеснул на могилу, как полагалось, потом налил всем и себе. Сказал:

— Помянем.

Все выпили, захрустели луком, и Птушенька выпила, легко, будто смахнула крылом. Поднесла кусочек хлеба к губам и усмехнулась:

— Ну, скоро и мне к ним.

Так просто и сказала: «Скоро и мне к ним», — будто говорила не о смерти, о ночлеге.

— Не торопись, Егоровна, — сказал отец. — Подожди нас.

— Всех не дождешься, — отмахнулась она, глядя с мягким любопытством на отца. — Ваше место не тут. Разлетелись, будто семена. От Семеновны... — Она засмеялась светло и добродушно такому странному сочетанию: «Семена от Семеновны» — и, оглядываясь, добавила: — А меня уж своя земля погрееет... Глянь, какая широта!..

Кладбище действительно было высоко; за соснами виднелись деревья, поля, а над дальним лесом спокойное небо. На приставкинской сосне (ее тоже так называли) наверху была привязана выжженная изнутри колода для пчел, чтобы не сбежали во время роения. На склонах росла черника с земляникой, свистели птицы. Густо рос на полянах щавель. И как-то понятно вдруг стало: родина, — хотя это слово и не произносили здесь.

Я подумал, что если бы отец попал сюда раньше, может, по-другому бы у него сложилась жизнь.

Ведь что-то переменилось в нем, стало лучше в соприкосновении со своим детством, с землей предков, с Птушенькой, которая была сама как корень жизни.

Мы допили самогон, возвращались в деревню пешком. Дядя Викентий все оглядывался, запоминая место.

Назавтра мы уезжали. Птушенька вышла нас провожать. Она поцеловала отца, просила приехать его и дядю Викентия. Но, кажется, не верила, что это будет скоро.

— Приедем, Егоровна!.. Соберемся и приедем, верно говорю.

Она стояла на траве и, прикрывая рукой глаза, смотрела, как мы залезаем в машину.

Занятые посадкой, отец и дядя Викентий теперь не обращали на нее внимания. Только отъехав, стали оглядываться и махать из окна. Птушенька смотрела на нас, едва ссутулившись. О чем она думала, глядя нам вслед, мне никогда не узнать.

1964 — 1966 годы. Спасское — Москва.

Аркадий Арканов

РАССКАЗ

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ С РАЗБЕГА

Так что же я хочу сказать? Что это за «прыжок в высоту с разбега»? В общем-то никакого прыжка в символическом смысле этого слова, наверное, и не было. А если и было что, так в масштабах жизни и в масштабах высот, которые приходится преодолевать людям ежедневно, состоялся всего-навсего прыжочек...

Во всяком случае, была девочка в нашем классе, которая мне нравилась... И вовсе это не было любовью, потому что и любовь я понял значительно позднее... И не дружба никакая. Просто наверняка каждый человек может сказать, что в школе одно время нравилась ему какая-то девочка.

И был прыжок. Натуральный прыжок, потому что в школе я довольно здорово прыгал в высоту. Еще были ребята с прозвищами: Сухарик, Утка, Павлин, Нос, Хлеб... И был такой день, когда я взял сто девяносто сантиметров. И верно также, что во время соревнований я думал о том, о чем здесь написано, потому что для меня тогда это было самым главным...

Итак, я начинаю разбег медленно и расслабленно, как только можно. Быстрее. Еще быстрее. Планка надвигается на меня. Ближе. Еще ближе. Она уже почти надо мной. Левая нога, разогнувшись, выталкивает тело вверх. Я взлетаю, расплываюсь над планкой да так и застываю в этом положении на высоте ста девяносто сантиметров. И все вокруг застывает. У Сухарика открыт рот. Утка правой рукой заслонился от солнца. Хлеб согнулся и завязывает шнурок на шиповке. У Павлина тоже открыт рот. Все остальные размазаны. Флаги над стадионом не колышутся. За забором идет трамвай. Но ведь он-то не попал в объектив Носа. Потому и идет. А все, что попало в объектив Носа, застыло... Я успеваю почувствовать левым коленом планку и в следующий момент падаю в опилки, понимая, что планка не удержится. И действительно, она слегка прогибается, потом выпрямляется и тоже летит в опилки. И все опять продолжает прерванное движение: Сухарик закрывает рот и садится на лавочку. Утка отнимает правую руку от глаз и с досадой бьет себя по коленке. Хлеб разгибается, видит, что планка не удержалась, качает головой и снова нагибается к шиповке. Павлин закрывает рот и направляется к лавочке, на которую только что села Сухарик. Трамвай за забором как шел, так и идет. А я выхожу из ямы, отряхиваю опилки и сажусь под дерево спиной к стволу. У меня еще две попытки...

Нос шурует под большим одеялом — у него кончилась пленка. Испортил я ему кадр, конечно. Но Нос настырный. И потом у него еще тоже две попытки. Нос — отличный парень. Вот я живу на свете уже шестнадцать лет и ни разу не встречал такой длинной фамилии, как у него, — Кацнеленбоген. Это же надо!.. Ну, а Носом мы прозвали его за нос.

Он у него такой же длинный, как и фамилия. На пляже, когда в небе, кроме солнца, ничего нет, мы все размещаемся в тени его шикарного, развесистого носа.

Нос никогда не обижается. За это мы его любим. Конечно, не только за это. Он, по моему, с детского сада определил, что ему в жизни нужно, а вернее, что ему не нужно. Математика ему не нужна. Нос в ней откровенно слаб и умеет решать задачи только типа: «Кисляков взял с собой в школу 2 бутерброда. Кацнеленбоген — ни одного. Сколько бутербродов должен дать Кисляков Кацнеленбогену, чтобы у них стало поровну?...» Химию и физику он сечет в той степени, в какой они относятся к фотографии. Литературу он не учит. Литературу он читает. И если его точка зрения на тот или иной образ, на ту или иную книгу не совпадает с учебником, он искренне удивляется. А хочет он стать кинооператором. И вот уж что знает Нос, так это кино: всякие там ракурсы, фокусы, планы, рапиды...

...Пока я думаю о Носе, Колокольцев из Тимирязевского района тоже не берет сто девяносто. И не возьмет. Хоть дай ему еще пятьдесят попыток! Это сразу видно: возьмет или не возьмет.

— Колокольцев не возьмет! — наклоняется ко мне наш школьный физрук. — А ты возьмешь!.. Соберись, Кузнечик!.. Ради школы!..

Физрук знает, что я прыгаю не ради себя. Вернее, не ради первого места. Я просто люблю прыгать. Есть у меня к прыжкам способности: ноги длинные, прыгучесть и еще всякие данные. За все за это я получил прозвище «Кузнечик», и физрук меня «прицельно» тренирует. А я «прицельных» тренировок не выношу, потому что не собираюсь становиться спортсменом, хотя физрук говорит, что с моими данными я через три года вполне могу стать чемпионом страны... Я просто люблю прыгать. Я просто люблю сам процесс. Люблю волнение перед разбегом, люблю, когда оно исчезает, лишь только начинаешь разбег. Люблю падать в опилки, люблю выходить из ямы... И еще обожаю надевать и снимать шиповки... Правда, не терплю прыгать в закрытом помещении зимой. Это как-то противоестественно. Зато когда солнце начинает прогревать спину через толщу зимнего пальто, когда снег на улицах становится грязным и кое-где появляются серые лысины сухого асфальта, вот тогда я начинаю считать дни до первого соревнования на стадионе. И стоит мне только представить себя в секторе в выутюженных белых трусиках, как сердце начинает колотиться, и я падаю ниц перед Иваном Петровичем Павловым и его учением об условных рефлексах...

А прыгнув я становиться не собираюсь. Это просто нечестно по отношению к другим. Ну, хотя бы по отношению к Носу. Ведь он же не виноват, что у него нет прыгучести, длинных ног и всяких других данных. Он бы тоже защищал честь школы, висел бы на доске почета, получал бы грамоты и призы, и его бы тоже ставили в пример первоклассникам. Сухарик со мной полностью согласна. Ей сколько раз предлагали демонстрировать в ГУМе всякие платья, пальто, купальники. Она хоть раз согласилась? Черта лысого! И не потому, что стыдно. Она б, может, и пошла. Но ведь остальные наши девочки хуже, что ли? Ну, физиономией они не вышли, ногами, талией и прочими достоинствами. Так разве они виноваты? Нет, не терплю, когда человек возносится за счет природы. Противно!.. Вот меня в бюро райкома выбрали. За что? За то, что на спартакиаде я на сто восемьдесят семь прыгнул! Ну, честное слово, по-моему, больше не за что!

Так что извините, но я ни за что не буду прыгнув. И Сухарик меня поддерживает... И вообще Сухарик — хороший парень! Вот она сидит сейчас рядом с Павлином и на меня не смотрит. Павлин наверняка говорит ей какие-нибудь обидные гадости про меня, про Носа, про всех. Есть же такие! Мне будет говорить всякую дрянь про всех, про Носа, про Сухарика. Носу — про Сухарика, про меня, про всех... И говорит так, будто шутит. И сам же над сказанным смеется. Но я-то его знаю. И Сухарик, наверное, тоже. А со мной, наверное, теперь все кончено. И правильно! Дурак я, кретин!

...Этой осенью, двенадцатого сентября, пришел я ко второму уроку — сразу на тригонометрию. Точно помню — двенадцатого сентября, потому что тринадцатого — мой

день рождения. На литературу не пошел: матери врача вызывал. Телефона у нас нет. Отца тоже. Умер отец. Четыре года назад умер. Пришел я из школы, а отец умер. На ровном месте.

От инфаркта умер. С этого дня я стал сиротой, а моя мать — старой. Хотя ей только сорок четыре года... Комната, в которой спали мать с отцом, стала моей. Книги мы туда с матерью из столовой перенесли, письменный стол и диванчик. А моя мать теперь спит в столовой, одна на двуспальной деревянной кровати...

Ну, вот и прохватило где-то мою мать, так что пришлось мне ей двенадцатого сентября врача вызывать. Проваландался я в нашей участковой поликлинике целый урок. Очередь. Все врача вызывают. Всем на работу... Вот и явился я сразу на тригонометрию... Мне, правда, ничего не сказали: я же все-таки сто восемьдесят семь беру... И тут увидел я у окна на третьей парте Сухарика. Новенькая. Волосы, как у парня. Сзади, как говорят парикмахеры, «на нет», а спереди челка. И, конечно, возле нее уже Павлин вьется. Увидел меня и заерничал:

— Позвольте вам представить господина Кузнечика! Лучший результат — сто восемьдесят семь сантиметров! Толчковая нога — левая, дело — всегда правое!

Я сел рядом с Носом.

— Он сел рядом с Носом, — продолжал Павлин, — которого я уже имел удовольствие вам представить! И что бы ни случилось, господин Кузнечик всегда останется с Носом!

— Закройся! — крикнул я.

И тут же прозвенел звонок...

Я сразу понял, что Сухарик нашей прекрасной половине не очень-то придется по душе. Во всяком случае, сначала. Во-первых, она новенькая. Во-вторых, красивая. В-третьих, взрослая какая-то. В-четвертых, Павлин, переключив свое внимание с прекрасной половины на нее, тем самым наверняка вызовет ревность и раздражение у наших дев. В-пятых, Нос со мной в этом полностью согласился и сказал, что Сухарик страшно киногенична. А это означало, что фотоаппарат Носа вряд ли теперь будет простаивать без работы.

...Мать говорила мне, что девочки раньше «оформляются и созревают», чем мы. Что мы в шестнадцать лет — «сопляки», а девочка в шестнадцать лет — это уже «женщина, способная стать матерью». Не хотелось в это верить, но вто было так. Наши ребята, «дружившие» со своими одноклассниками с самого детства, физически никак не могли поспеть за ними и постепенно теряли своих подружек. У подружек появлялись десятиклассники, студенты, а то и постарше. Подружки приходили уже в тонких чулках, становились выше от каблучков. А наши бедные мужчины порой являлись в школу и в драных носках и с грязной шеей. И не могли понять, почему подружки медленно и верно «изменяют» им и «изменяют». И ничто тут не помогало: ни галстук, ни пробор, ни драки, ни даже курение... И таинственно сообщалось о некоторых, что одна, мол, «ходит» с таким-то, а другая — с таким-то, и не просто «ходит»...

Так вот, Сухарик «оформилась» раньше (по крайней мере внешне), чем наши девы, и уж подавно раньше, чем мы. Сухарик! Прилепилось это к ней сразу. Сухарева, длинная, тонкая, волосы белые...

А дней через десять после двенадцатого сентября возвращался я домой со стадиона. Прикидка легкая была. Шел, ни о чем не думал. Сумка моя с шиповками, полотенцем и всякими другими спортивными принадлежностями на плече болталась. Было часов около четырех. Теплынь стояла почти что летняя. Небо чистое-чистое было, и солнце уже заваливалось. Прохожие тащили арбузы, и от этого становилось грустно. Потому что все было неправдой. И небо, и солнце, и теплынь — все обманывало и усыпляло. И казалось, что лето только начинается и впереди еще не то будет. А впереди-то на самом деле ничего не маячило, кроме тягучего зимнего ремонта. Нет, действительно осень и зима своей скудостью и голостью напоминают мне комнату, из которой на время ремонта вывезли всю

мебель. Осень, она хитрая. Она вроде бы извиняется перед нами за то, что листья желтеют и опадают, за то, что холоднее, за то, что день короче становится. И вот в качестве взятки подбрасывает синенькие небеса да теплое солнышко на время. И кто поддается этому обману, гот, значит, и любит осень. А кто не поддается, тому грустно. Знает он, что все это обман, Потому и грустит. И всякие там плоды, арбузы и разные финики — тоже взятки. Но меня не обманешь. И мне было грустно... А потом я вдруг увидел Сухарика. И я почему-то пошел за ней. И так мы от Садового кольца пошли по Арбату друг за другом. Она не замечала, что я иду за ней следом, и только ныряла в каждый магазин. А я останавливался метрах в десяти от магазина и ждал, пока она выйдет. Точь-в-точь как в детективных фильмах.

Потом мне это надоело. Я догнал ее, забежал спереди и сказал:

— Вы не знаете случайно, где здесь можно купить свежую рыбу?

— А вот напротив зоомагазин, — ответила она с ходу.

— Здравствуйте, — сказал я, поклонившись до земли.

— Здравствуйте, — сказала она и нарочито сделала книксен.

И я стал думать, чего бы еще сказать, потому что за эти десять дней в первый раз заговорил с ней.

— Надо же! — наконец сказал я. — А я иду с тренировки, и вот надо же...

— А что это вы вздумали за мной следить? — сказала она.

— И не собирался. Просто шел с тренировки...

— И вот надо же?

— Да-а... Значит, у нас завтра первый — физика?

— Угу.

— Ну, ладно... А второй?

— Литература. А третий — химия.

— Надо же... А я вот с тренировки иду...

— Надо же...

— Ага... А вам в какую сторону?

— К метро.

- — И мне к метро. Надо же!

И мы пошли. И по дороге стали заходить в каждый магазин. Просто так. Смотреть. А язык у меня словно отсох. Надо же! Ни одного, даже самого глупого, вопроса не могу придумать. Наконец нашел.

— А вы с чего это в нашу школу перевелись?

— Отец новое назначение получил. А раньше в Риге жили.

И после этого я до самой Арбатской площади мучился, но так ничего и не придумал. Мы подошли к кинотеатру «Художественный».

— Вы смотрели «Никто не хотел умирать»? — вдруг спросила она.

— Нет! — обрадованно соврал я, предвкушая два часа сидения в темном зале возле нее.

— Сходим? Деньги у меня есть.

— У меня их у самого полно! — крикнул я и бросился к кассе.

Я разменял трешку, которую мне дала мать на покупку масла, колбасы и хлеба на ужин...

Я сидел рядом с ней и находился в каком-то диком напряжении, оттого что сидел рядом с ней. Только иногда косил глаза вправо и видел ее профиль с мальчишеской прической. Один раз я заерзал и случайно дотронулся до ее руки и будто обжегся. Странно я как-то чувствовал себя рядом с ней. Трудно мне было. И когда мы выходили из кино, мне казалось, что все смотрят на меня и на Сухарика. И мне от этого было неловко, и я шел, опустив голову.

— Каких длинноногих подобрали, — сказала она, когда мы оказались на улице.

— Да, — сказал я и подумал, что у меня тоже длинные ноги. Я распрямился и почувствовал себя сильным, на все способным «медведем».

— Я вот могу до самого дома пешком молотить, — сказал я не без провокации.

— А я вообще только пешком хожу, — сказала Сухарик, а это означало, что я буду идти рядом с ней до самого ее дома...

Уже был вечер. Мы шли рядом, но все-таки на расстоянии. И я пожалел, что прошел мой день рождения, а то бы я ее обязательно пригласил. И вот мы шли, а перед нами шли наши тени. Длинные-длинные. Вытянутые-вытянутые. Так что голов и туловищ даже не было видно. Одни только ноги. Идут рядом четыре длинные, худые ноги. Идут и идут. Молчат и молчат. Мне даже смешно стало. И вдруг я понял, что совершил непоправимую ошибку. Мне надо было еще в кинотеатре забежать в букву «М». Неудобно же прямо говорить об этом девушке, с которой в первый раз пошел в кино! Но там, во-первых, еще не было так страшно, и я подумал, что как-нибудь пройдет. А во-вторых, я же не предполагал, что после кино домой мы пойдем пешком. Ведь если идти таким вот прогулочным шагом, то это стало быть, часа полтора. Бесконечность!.. И чтоб отвлечься, я стал напевать увертюру к «Детям капитана Гранта».

— Вы любите музыку? — спросила она.

— Страшно! — сказал я. — Причем не знаю, какую больше — серьезную или джазовую... Только настоящую джазовую. Серьезную. Ведь всякие там твисты, хали-гали — это не серьезный джаз. Это вообще не джаз. Это коммерческая музыка.

— А мне нравится, и я не понимаю, что значит коммерческая, не коммерческая... Нравится, и все.

— Значит, вам нравится танцевальная музыка... Нет, мне она тоже нравится, но это не серьезный джаз.

Мы поравнялись с общественной буквой «М». Туда вбегали озабоченные люди. Оттуда выходили независимые и, как мне показалось, сияющие. Как бы я хотел быть на их месте!

— А вот в Риге все танцы в школе разрешают: и твист, и хали-гали, и шейк... И запрещать их, по-моему, глупо.

— Конечно, глупо, — сказал я и остановился. — У нас сначала запрещали, а теперь разрешают.

— А я люблю, когда красиво танцуют.

— Кто не любит.

Мы стояли, вроде бы случайно, как раз напротив входа в этот самый подвальчик, с двумя фонариками. Вообще-то напрасно я остановился. Ничто не могло меня заставить извиниться и нырнуть вниз. Я бы после этого в глаза ей не мог смотреть. И все-таки остановился. Как будто ждал, что она мне сама предложит.

— А чего это мы расфилософствовались в таком странном месте? — улыбнулась она.

— Да, действительно, — неестественно засмеялся я. — Вот глупость-то!

И мы зашагали прочь от этого проклятого места. Чисто инстинктивно я старался идти быстро.

— Вы торопитесь? — спросила Сухарик.

— Нет, что вы! — испуганно сказал я и опять деланно засмеялся. — Вот уж действительно нашли, ха-ха, место для разговоров!.. Надо же!..

И мы пошли медленно-медленно. И каждый шаг стал причинять мне просто муки. Дурацкое положение. Мне стало казаться, что мы никогда уже не придем. Я вдруг почувствовал, что ни на чем не могу сосредоточиться, кроме одного и того же. А Сухарика понесло на разговоры... И неизвестно, чем бы все кончилось, но я увидел наконец спасительную темную подворотню и понял: промедление смерти подобно.

— Занесу я сумку к своему тренеру, а? — закричал я. — Он в этом дворе живет!.. Чтоб на плече не болталась! Я сейчас!.. — И, не дожидаясь ответа, я побежал в подворотню...

— Никого дома нет! — весело сказал я, выходя из подворотни. — Всегда дома, а сейчас почему-то нет!.. Ну, черт с ней!.. Пусть болтается!..

Теперь я готов был бродить хоть до утра и говорить о чем угодно.

— Вы куда после школы?

— В иняз.

— Твердо?

— Абсолютно.

— Завидую, — сказал я.

— Почему?

— Я завидую каждому, кто решил что-то определенно.

— А вы куда?

— Не знаю. Поэтому я завидую... Может, в медицинский, может, на физмат, а может, с Носом во ВГИК... Был бы такой индикатор для определения способностей, призвания и всего такого! Красота! Присоединили, подключили, и все ясно!

— А я бы все равно в иняз пошла, что бы там индикатор ни показал... Потому что человек, который не знает хотя бы одного иностранного языка, похож на однорукого...

— А я вообще сделал бы так, чтобы каждый человек, помимо своей профессии, обязательно знал медицину и иностранный язык.

— Вот почему так происходит? — задумчиво сказала Сухарик. — Часто люди, только когда становятся взрослыми, понимают, что они должны делать, чем заниматься, как жить... Почему? Вы не задумывались?

— Мы уже так долго разговариваем, а все на «вы»... Я буду на «ты». Ладно?.. Знаешь, почему так происходит? Потому что все перед нами разложено по полочкам...

— Не понимаю, — сказала она.

— Ну, как тебе сказать?.. На все есть ярлык с наименованием и ценой. Отдать свою кожу обгоревшему человеку — это хорошо. Это подвиг. Отделяться от коллектива — это плохо. Это индивидуализм. Делать карьеру — это плохо. Быть отличником — это хорошо... Пойти на завод после школы — это прекрасно!.. И мы верим на слово: это хорошо, а это плохо. А почему? Почему это хорошо, а это, например, плохо? Мы сами хотим во всем разобраться. Нам не нужны готовые решения. А когда мы просим помочь, объяснить, нам говорят: это хорошо, потому что это хорошо. А то — плохо, потому что то — плохо!.. А вот если человек отдал свою кожу для того, чтобы прославиться? И хорошо вроде бы и плохо. А чего тут больше? Вот и мы в школе — ходим перед этими полочками, тыркаемся, в ярлычки заглядываем, к цене присматриваемся... А кое-где наименования перепутаны и цены стерлись... Иногда говорят: отрав! Отрав!.. А попробуешь — вкусно...

— Правильно, — она ткнула носком камешек, — но ведь есть и безусловно плохие вещи... Подлость, зависть, война...

— Да, я не спорю. Но когда мне все время талдычат: «Ты живешь на всем готовеньком, прыгаешь, танцуешь, джазы всякие слушаешь, разглагольствуешь, а люди в твои годы уже на фронте были...» Да что я, виноват, что на фронте не был?!

— У Друниной есть такое стихотворение: «Мы сами пижонками слыли когда-то, а время пришло — уходили в солдаты».

Я сижу, прислонившись спиной к дереву, и все что-то думаю, думаю, вспоминаю... А между тем пошла уже вторая попытка, и я слышу голос судьи-информатора: «Прыгает Крягин, приготовиться Поливанову!» Это приготовиться мне. Я встаю с земли и разминаюсь. Сухарик уже одна. Что-то читает. Павлина рядом нет. А зачем она вообще пришла?..

— Дай-ка я тебя щелкну! — подбегает Нос. — Только голову немного вправо, чтоб фингала твоего не было видно!

— Слушай, надоел ты мне со своим щелканьем, — говорю я Носу, но он не обижается. Я трогаю фингал под правым глазом. Болит прилично... Крягин сбивает планку еще на взлете- Теперь я. Нос бежит к яме и устраивается. Я отмеряю ступнями от края ямы до толчковой точки и направляюсь к месту, с которого начинаю разбег. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ту-дук. Ту-дук. Это сердце. Расслабляюсь. Бегу... Ну!.. Весь в толчок!.. Какой-то звериный звук вырывается из груди в момент толчка. Я над планкой, да еще с запасом! Взят?! И я сбиваю планку левой рукой...

Я сижу в яме. Планка рядом. Сухарик стоит и испуганно смотрит на яму, в которой сижу я. Книга на лавочке... Не взял. Опять не взял. Так здорово толкнулся и сбил.

— Возьмешь, Кузнечик! Все в порядке! Возьмешь! — поднимает меня из ямы физрук. — С запасом!.. Руку только уברי, руку!..

— Что мне ее, отрубить? — раздраженно говорю я и понимаю, что так удачно толкнуться еще раз будет трудно. Я натягиваю шерстяной тренировочный костюм и начинаю нервно ходить по сектору. Я заволновался. Осталась последняя попытка... Подойти, что ли, к Сухарику? Нет! После субботы не могу... Меня начинает мутить, как только я вспоминаю субботу. Нет, не взять мне сегодня сто девяносто, не взять. Ясно как божий день...

Уже май. Год пролетел, как урок... И ведь все было нормально. А что, собственно говоря, было? Ничего. Так просто... Ну да! Это формально ничего. А на самом деле я весь этот год был сосредоточен на Сухарике... Как-то на уроке Нос заявил:

— А ты знаешь, ее о Павлином я видел на хоккее...

— Подумаешь, ерунда, — сказал я весело, хотя и получил пыльным мешком по башке. — Это ерунда... Ни о чем не говорит... Захотела и пошла на хоккей...

Мы замолчали. Жуткая тоска напала на меня. Павлина я не любил. Он был ограниченным нахалом и, по его словам, «кое в чем» преуспел. Во всяком случае, от него исходили всякие поразительные истории. Что, мол, однажды во время вечера он застучал химичку с физруком прямо в кабинете химии... Что сам он этим летом работал помощником водителя в лагере и с одной пионеркой у него были трали-вали на сеновале... И вот, пожалуйста, Сухарик с Павлином на хоккее... Потом он ее провожает домой, стоит, наверное, у подъезда... Я вздрогнул... А, с другой стороны, что особенного? Ну, сходила раз на хоккей... Она же мне ничем не обязана... Нет, надо все выяснить! Да — да! Нет — нет! И до свидания!..

— Поливанов! — вдруг обратилась ко мне Ангелина Сергеевна. — Иди-ка к доске.

Я подошел к доске и повернулся лицом к классу.

— Прочтите-ка мне наизусть ваше любимое стихотворение...

— Любимое? — сказал я ожесточенно.

— Да. Самое любимое...

— «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды...» — начал я чеканить каждую строчку... Я читал, а сам смотрел на Сухарика уничтожающим, ненавидящим взглядом. Я читал так, словно Лермонтов специально предназначил свои стихи для ниспровержения Сухарика, для обвинения ее в предательстве и в том, что она стала причиной моей безысходности и одиночества.

— «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — такая пустая и глупая шутка...» — Последние две строчки я прочел так, словно ждал, что сейчас Сухарик бросится мне на шею со слезами и просьбами о прощении.

— Это ваше любимое стихотворение? — после паузы спросила Ангелина Сергеевна.

— Да! — почти выкрикнул я.

— Садитесь. Я ставлю вам двойку. Вы не имеете права в вашем возрасте восхищаться этим гениальным стихотворением!

— Могу прочесть и более жизнерадостное! — сказал я с издевкой и на ходу стал сочинять вслух:

— Мы счастливей всех на свете!
Мы добрались до Луны!
Хорошо живется детям
Нашей солнечной страны.

В классе захихикали.

— К тому же вы еще и дурачок, — сказала Ангелина Сергеевна. — Остаток урока можете провести в коридоре.

Я выскочил из класса, обозначив для себя протест против Сухарика. На перемене все остались в классе: Сухарик стала показывать нашим девам, как надо танцевать джерк. Она выстроила человек десять в шеренгу, и вся шеренга повторяла за ней движения. Хлеб изображал трубу и отстукивал ритм на крышке парты.

Ко мне подошел Павлин.

— Вчера мы с моей Томкой в компании были у одного студента... Ну, я тебе скажу, она так танцует!.. Все парни на нее упали...

Для всех Томка была Сухариком, а этот гад назвал ее «Томкой», да вдобавок еще и «моей Томкой»!

— Где это вы с ней были? — с трудом сохраняя безразличный тон, спросил я.

— Да ты не знаешь... У одного малого... У него такие записи — закачаешься! Родители его где-то в Африке... Часов до двух куролесили...

С этого дня я с Сухариком только здоровался. А всякие там кино, театры, провожания и другие показатели пошли побоку.

...Я все ждал, когда же она спросит, почему я так резко изменил к ней отношение, но она не спрашивала... А я ворочался с боку на бок каждую ночь и ярко рисовал себе всякие картинки... Я представлял себе огромную, многокомнатную квартиру этого «малого», я видел компанию, которая собирается в этой квартире, я видел среди этой компании Сухарика и Павлина и еще каких-то взрослых «обольстителей». Я представлял, как, танцуя, можно уединиться в одной из многих комнат. Я многое представлял. И только тогда успокаивался и засыпал, когда наступала совсем-совсем ночь, когда Сухарик уже наверняка должна была прийти домой, когда возле нее уже никто не мог быть, кроме отца с матерью.

А по школе по нашей удивительно быстро распространились слухи, что Сухарик «ходит» с Павлином. И я знал, что слухи эти идут от Павлина...

А весной Павлин вдруг заткнулся. Больше того. Он стал отпускать по поводу Сухарика всякие двусмысленные реплики, что ему с ней надоело, что хорошего понемножку, что с ней теперь ходит Кухарев из 10 «А». Потом Павлин подружился с этим идиотом Кухаревым. Я их каждый день видел вместе. И как только появлялась Сухарик, их лица принимали гадливое выражение, они, прищурившись, смотрели на нее, говорили в ее адрес что-то такое, о чем легко можно было догадаться, и при этом нарочито громко и похабно ржали. Хотелось врезать им по роже, но я понимал, что это глупо...

И по школе поползли «другие» слухи...

В эту самую субботу у нас был вечер отдыха. Спасибо нашим комсоргам и культургам: наконец-то они решились на откровенный вечер отдыха, без всяких там тематических направленностей, без всяких там посвящений, без встреч со всякими знатными людьми. Просто обыкновенный вечер, с танцами, самодеятельностью и маленьким джазом из соседней школы.

За самодеятельность отвечал наш класс.

В общем, интересно все получилось. Вечер открылся показом первого действия гениальной комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» в постановке драматического коллектива 9 «Б» класса. Директор и вся его свита сидели в третьем ряду, как правительство. И родителей было порядочно. Из райкома комсомола тоже пришли..

Нос вышел из правой «кулисы» и подошел к ожидавшим его за столом, совершенно идиотски загримированным Хлебу, Кислякову и Бурмистрову. Я сидел несколько поодаль.

— Я пригласил вас, господа, — начал Нос с каким-то одесским напевом, — с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор!

Нос оглядел величественно весь зал, Хлеба, Кислякова, Бурмистрова и меня и начал постукивать по столу авторучкой, ожидая реплики.

«Нос!.. Нос!» — зашелестел зал.

Бурмистров сразу же полез в карман и вытащил пачку «Примы».

— Разрешите прикурить, — наклонился он вдруг к Хлебу.

Такое актерское доммысливание не предусматривали ни Гоголь, ни Нос, ни даже Хлеб.

— Пожалуйста! — оторопело сказал Хлеб, щелкнул зажигалкой и только после этого, спохватившись, выкрикнул: — Как ревизор?!

— Да! Как ревизор? — невозмутимо спросил Бурмистров и смачно выпустил струю дыма прямо в зал.

— А вот так! — сказал Нос. — Ревизор из Петербурга, инкогнито, и еще с секретным предписанием!..

— Вот не было заботы, так подай, — продекламировал Хлеб и, наклонившись к Бурмистрову, держа в руках зажигалку, сказал: — Позвольте!

Теперь дымили оба.

Нос подошел ко мне, повернулся лицом к залу и сказал с выражением:

— Да, да, господа! Я как будто предчувствовал...

— Нельзя ли не курить? — вдруг отчетливо, на весь зал произнес директор.

От неожиданности Нос вздрогнул и задел локтем по моему налепленному носу. Он тут же съехал набок, изменил конфигурацию и согнулся в какую-то сосульку. Хлеб испуганно загасил свою сигарету о стол, а Бурмистров инстинктивно спрятал свою в рукав.

— Я как будто предчувствовал, — повторил Нос. — Сегодня мне всю ночь снились две необыкновенные крысы... Э-э... В общем, пришли и пошли прочь... Да вот я вам...

Из бурмистровского рукава повалил дым.

— Прекратите курить, Бурмистров! — снова грозно сказал директор. — Безобразие!.. Завтра зайдете ко мне в кабинет!

Это окончательно выбило всех из колеи. От гоголевского текста остались одни ошметки. Реплики стали то беспорядочно наскакивать одна на другую, то одиноко повисать в воздухе, безнадежно ожидая поддержки. Но сюжетная линия приблизительно сохранялась... Я покосился на свою сосульку. Она еще больше вытянулась от пота и жары. Я представил все, что происходит на сцене, - со стороны, и меня разобрал дикий смех. И чем больше я пытался сдержать его, тем больше он рвался наружу. Я сначала тихо содрогался, потом начал икать. Нос уничтожал меня взглядами, но это тоже было смешно... Когда я должен был в очередной раз произнести свою реплику, истерика моя достигла кульминации. Я замахал руками, поднялся со стула и в паузе между конвульсиями произнес по-немецки, прижав руку к сердцу: «Дас Херц!» И выбежал со сцены.

Веселая, в общем, получилась комедия...

Я икал до тех пор, пока не увидел Сухарика...

Все сразу стало ненужным и чужим. Я понял, что бессознательно ждал от этого вечера чего-то необыкновенного. Что-то должно было произойти такое, что вернуло бы все на свои места: Сухарика, Павлина, Кухарева, меня...

И вот сейчас, стоя в секторе для прыжков, в шерстяном тренировочном костюме, перед третьей попыткой, я, вместо того чтобы сосредоточиться, ловлю себя на том, что все

это «необыкновенное» в тот вечер должно было произойти без моего активного участия. Так мне, во всяком случае, хотелось. И вот когда я увидел Сухарика, я понял, что ничего не произойдет. Я ее потерял. Причем потерял постепенно. И начал терять с того дня, как узнал от Носа о ее походе на хоккей с Павлином. И каждый день я ее понемножку терял, оставляя себе отходную надежду, что еще не все потеряно. И не подходил, и не говорил, и злился, и накалялся от всех разговоров, и терял ее, терял, терял... И вот на вечеру убедился, что окончательно потерял.

И я решил, что уйду домой назло всем и назло себе. Я вошел в зал, по стенке подошел к сцене, на которой играл джаз, и оттуда стал пробираться к выходу, лавируя между танцующими и поминутно извиняясь. Всем своим видом я давал понять, что мне неинтересно и что я ухожу. Я хотел, чтоб на меня обращали внимание, спрашивали, почему я вдруг решил уйти, но этого не произошло, и я вскоре оказался на лестничной клетке. Я медлил и не уходил. Не хотелось уходить незамеченным. Хотелось, чтобы меня уговаривали остаться, хотелось отказываться, короче, хотелось придать моему уходу трагическую окраску... Но, видимо, никому до меня не было дела...

Потом я услышал, как кто-то спускается по лестнице со второго этажа. Я поднял голову и увидел Павлина и Кухарева.

— Ты чего это здесь стоишь? — сказал Павлин.

Вот так всегда. Меньше всего я хотел быть замеченным ими и все-таки попался.

— Ничего, — ответил я, — просто собираюсь уходить. Надоело.

— Это верно. — Павлин и Кухарев спустились ко мне. — Скукота... Но ты подожди. Сейчас развеселимся... Скажем Кузнечику, а, Ухарь?

— Давай, — безразлично сказал Кухарев. — Только чтоб не трепался...

— Нет! Кузнечик не трепливый... Пошли наверх, а? У нас там кое-что есть.

Павлин обнял меня за плечи, и я почувствовал, что от него пахнет вином.

И вдруг мной овладело какое-то отчаянное чувство. Это была какая-то смесь злости, бессилия и желания делать все наоборот.

— Пошли! — крикнул я. — Только быстрее...

Мы прошли по четвертому этажу и оказались в каком-то классе.

— Свет не зажигай, — тихо сказал Кухарев, — чтоб шухера не было.

Павлин нырнул под последнюю парту и вытащил оттуда две бутылки.

— Три семерки и пиво, — сказал он. — Было две, но одну мы уже прикончили...

Одну бутылку Павлин открыл, протолкнув пробку гвоздем, а пиво Кухарев открыл о подоконник. Павлин протянул мне портвейн.

— Глотай, Кузнечик...

Я стал сосать из горлышка и высосал примерно треть бутылки.

— Запей пивком, — протянул мне Кухарев пиво. После сладкого портвейна было очень противно глотать горькое пиво, но я все же сделал несколько глотков.

— Молодчик! — сказал Павлин. Потом они допили остальное.

Минут через пять мне стукнуло в голову.

— А ты с ней вроде тоже ходил? — спросил Павлин, и я сразу понял, с кем.

— Да, самую малость, — сказал я и понял, что в этот момент совершаю предательство по отношению к ней. Но тут же решил, что она больше виновата, и обозлился на нее с новой силой.

— Ну и как?

— Да никак. Охота была связываться...

— А зря... Верно, Ухарь?

— Ага, — крикнул Кухарев. — Это она с виду интеллигентная...

И тут Павлин начал рассказывать что-то совершенно невероятное. При этом он причмокивал, изображал и ругался... Я чувствовал, что краснею, но уже не мог понять отчего: то ли от рассказов Павлина, то ли от поддакиваний Кухарева, то ли от вина. Кровь била мне в виски. Голова время от времени кружилась. Что-то дикое, вывернутое наизнанку,

неправдоподобное нес Павлин, но в то же время детали, которыми он оперировал, были настолько конкретными и описывал он их так подробно, что нет-нет, а возникали сомнения: а вдруг?.. Вдруг действительно все то, что он говорит, — правда? Хотя бы и в сотой доле?..

— А у меня все по-другому, — сказал Кухарев. Теперь настала его очередь...

Они по очереди вскрывали ее, как банку с консервами, переворачивали вверх дном, жрали, выплевывали, размазывали по полу, разбрызгивали по стенам, растаптывали ногами, играли в футбол, перепасовывали друг другу... А я был зрителем в этой отвратительной игре, даже не зрителем, а участником, запасным игроком... И постепенно они добились своего: Сухарик стала казаться мне искаженной, разбросанной, перемазанной какой-то дрянью. Мне захотелось стать по отношению к ней Павлином и Кухаревым, оскорбить ее, унижить, размазать, как они, растоптать, разбрызгать, принять участие в этой поганой игре. Пусть она знает, пусть все знают, что я не какой-нибудь чистенький мальчик, что я не только для разговоров, кино, театров и всяких других высоких материй! Вино, пиво, Павлин и Кухарев сделали свое дело. Больше я не буду запасным!.. Я и сам могу выйти на поле...

— Эка невидаль! — сказал я и плюнул на пол. — Да я в любой момент могу!.. Хоть сегодня!.. Увидите!..

Я сделал первый удар...

Мы спустились в зал. Я увидел Сухарика и пошел прямо к ней, прямо через танцующих. Все они стали для меня | какими-то чужими, далекими и маленькими... Я, видимо, был возбужденным, потным и красным. Нос увидел меня.

— Что это с тобой? — спросил он. — Ты вроде поддал?

— Чепуха, Нос! Танцуй! А я решил спикировать!.. Нос остался где-то сзади, и я оказался перед Сухариком.

— Позвольте? — сказал я ожесточенно вежливо.

— Благодарю вас, — сказала она. — Только почему это ты вдруг решил подойти ко мне?

Мы начали танцевать. Я делал это сосредоточенно, остервенело и зло смотрел на нее.

— А что, другим можно, а мне нельзя? — процедил я.

Она засмеялась и сказала, что я дурак.

— Конечно, дурак! — сказал я. — Я всегда переоцениваю!..

— Ну, и сколько же я теперь стою? — опять засмеялась она.

— У Павлина спроси!

— Еще у кого?

— У Кухарева!

— А ты сам у них спроси...

— Чего спрашивать-то? Все известно!..

— Болтаешь чего-то...

— Все болтают!

— А чего ж ты ко мне подошел, раз все болтают?

— Выяснить надо.

— Тебе ж все известно.

— Значит, не все!..

Я начал терять уверенность. Я видел ее прямо перед собой. Она снова была прежним Сухариком, как вот в тот первый раз, осенью. И недавние разговоры на четвертом этаже опять показались мне неправдоподобными и чудовищными...

— Ну, говори, — сказала она.

— Не здесь... Пошли погуляем?

— Пошли...

Мы стали проталкиваться к дверям. Она впереди, я сзади.

Павлин и Кухарев посторонились. Я торжествующе взглянул на них.

— Ни пуха ни пера! — громко сказал Павлин и подмигнул мне.

— Слыхала? — сказал я, когда мы вышли из школы.

— Я и не такое слыхала, — сказала она.

— Где это ты не такое слыхала?

— В Риге.

— А что у тебя было в Риге?

— Ничего не было... Ничего.

— И никого?

— Раз ничего, значит, и никого... Ну почему так?

— Как?

— Если ведешь себя свободно, так, как хочется, значит, уже все можно и все доступно? Если я пошла на хоккей, значит, уже чем-то обязана?

— Чепуха!

— Выходит, что не' чепуха...

Прямо за нашей школой начинался парк, который упирался в небольшое кладбище. И мы шли по направлению к кладбищу. Было тепло. А может быть, было тепло оттого, что япил вино и пиво.

— Так что же тебе надо выяснить?

— Не знаю...

Я действительно сам не знал, что я хочу выяснить. С ней рядом я растерял всю свою воинственность. Я хотел наговорить ей кучу всякой дряни, хотел унижить ее... Хотел и расхотел... Мне вдруг стало спокойно и хорошо. Мне захотелось, чтобы этот вечер никогда не кончался, чтоб можно было идти и идти бесконечно. И в то же время я знал, что наступит понедельник и снова будут и Павлин и Кухарев. И снова начнутся разговоры, и снова я буду сомневаться и злиться... И я поэтому шел и молчал, как будто ждал от нее каких-то успокоительных гарантий. Каких гарантий, каких?.. А если Павлин прав?.. Мне стало нехорошо от этой вновь возникшей мысли... Значит, я непробиваемый дурак, посмешище?.. Душеприказчик?.. У меня внезапно закружилась голова. Зачем япил? Много ли мне надо?

— Ты знаешь, — сказала она, — наверное, ты такой же, как все... Только ведешь себя более сдержанно...

— Почему ты так решила?

— Ты тоже, когда узнал, что я была на хоккее, повел себя так, как будто я тебе чем-то обязана...

— Ты мне ничем не обязана! — разозлился я.

— Тогда почему ты злишься?

— Я скажу тебе почему! Скажу! Только сначала ты мне ответишь, почему ты сегодня ушла со мной с вечера? — почти закричал я.

— Захотела и ушла, — улыбнулась она. — Я люблю с тобой гулять...

— А с Павлином и с Кухарем любишь все остальное, да?

— Это они тебе сказали?

— Это все говорят!! Понятно?

— Такой же, как они! — выкрикнула она и вдруг начала хохотать. — Такой же!.. Такой же!..

Она присела на корточки, и, глядя на меня снизу, хохотала, и все повторяла, что я такой же...

И я вдруг бросился на нее и свалил на землю. Мы оказались рядом. Я прижал ее к земле и стал тыкаться в ее лицо, как слепой котенок, стараясь найти ее губы... Она рванулась в сторону и ударила меня ладонью по лицу. Я тут же выпустил ее и сел на землю. Она не раскричалась, не стала ругаться. Она стояла передо мной, сидящим на земле, и смотрела на меня своими прекрасными, округлившимися вдруг глазами. А потом она сказала, часто-часто дыша:

— Иди! Поделись впечатлениями с такими же, как ты... Дурак!

И она ушла.

Я поднялся, сделал несколько шагов и опустился на могилу.

«Что же это? — думал я. — Что же это со мной? Для чего?.. Для чего?.. Теперь все... Все! Все!»

Это удушливое короткое слово дошло до меня вдвойне, втройне, потому что я вдруг совершенно отчетливо понял, что Павлин и Кухарев ввали. Да, ввали! Им больше ничего не оставалось делать! А я, полный идиот, верил! И вот результат... Я обмазался с головы до ног! Обмазался! Обмазался!.. Я не знал, что теперь делать? Куда идти, зачем идти?.. Я вдруг покрылся холодным потом, ослабел, и меня начало тошнить...

Утром в понедельник я пошел в школу минут на двадцать раньше. Я не знал, как я посмотрю в глаза Сухарику. Вся эта нелепая история висела на моей шее тяжелым камнем, давила на мозги и делала меня каким-то плюгавеньким гаденышем. Спокойно все объяснить? Но что? Я уже пытался что-то объяснить в субботу. И еще. После подпольной «пьянки» и выслушивания очаровательных монологов Павлина и Кухарева я стал невольным их союзником. А мне этот союз нужен был, как собаке пятая нога...

Они ждали на углу школы и заметили меня еще издали. Пройти с независимым видом? Игнорировать? Нет. Теперь это невозможно — поздно. А как развязаться?.. И я с мрачным видом подошел к ним.

— Ну? Как культпоход? — спросил Павлин.

— Так, как и должно было быть, — сказал я удобную для себя фразу, которая, в одном значении должна была разозлить моих собутыльников, в том же значении не роняла в их глазах моего мужского достоинства и в противоположном значении оставляла меня формально чистеньким: действительно, субботняя история так и должна была закончиться, и было бы странным, если бы она закончилась иначе.

— Молодчик! — сказал Кухарев и добавил кое-что еще в адрес Сухарика.

«Давайте, милые! — думал я. — Валяйте! Плюйте в мою душу! Я сам сделал из нее помойное ведро!»

И в этот момент из-за угла показалась Сухарик. Она прошла мимо нас так, как будто мы здесь и не стояли. И напрасно я, как баран, уставился на табачный ларек, пытаюсь показать, что я оказался в этой компании случайно.

— Поздоровайся с Кузнечиком! — крикнул ей вслед Кухарев.

— Сорока-белобока! Кашку варила, детей кормила!..

Павлин знал эту считалочку и сказал ее с продолжением, загибая пальцы и громко.

И тут же все решилось само собой. Я бросил портфель на землю, размахнулся и ударил Павлина кулаком в лицо.

— Ах, сука! — закричал Кухарев и врезал мне сбоку по скуле.

Я повернулся, хотел врезать ему, но промахнулся, и Павлин сзади припечатал мне по носу. Мне показалось, что нос у меня мгновенно разбух до невероятности и наполнился чем-то так, что стало трудно дышать. Я инстинктивно схватился за лицо руками и получил новый удар, от которого потерял равновесие и упал. И меня начали бить, вкладывая в каждый удар всю накопившуюся злость к Сухарику и ко мне. И в отношении меня они были по-своему правы.

— Ниже пояса не бей! — взвизгнул Павлин. — А то он прыгать не сможет!..

Но мне хватило и выше пояса.

Как хорошо, что в эту минуту никого не было рядом. Они недолго меня били. И пошли в школу. Они знали, что с моей стороны апелляций не будет...

Я поднялся, отсморкался и, прикрывая лицо от встречных прохожих, пошел домой.

Я шел и ни о чем не думал. Ни о том, что я не пошел в школу. Ни о том, что я скажу матери. Я даже не чувствовал боли. Мне было так легко. Я был чист! Не столько перед собой, сколько перед ней! Меня даже не волновало, видела она это побоище или не видела. Мне важно было только одно, что теперь я могу смотреть на нее чистыми, зажившими от фингалов глазами. А это — грандиозное ощущение!..

Меня вызывают. Я должен прыгнуть в последний раз. Я трогаю свой фингал и разбегаюсь...

Грохаюсь в яму, стремительно выскакиваю из нее, смотрю на планку и понимаю, что взял...

— Не успел! Ах, черт, не успел! — кричит Нос, показывая на фотоаппарат.

— Первое место! Первое место! — подбегает ко мне физрук и, сграбастав, целует меня в лоб.

Судья топчется возле стойки, чего-то там замеряет, вымеряет, проверяет...

А я вижу только одно: Сухарик поднимается со скамейки... Неужели она подойдет ко мне?..

Кстати, это уже не имеет значения, так как я сказал в самом начале, что наши отношения с Сухариком ни во что не превратились.

Просто в девятом классе нравилась мне одна девочка.

Стихи

Сергей Дрофенко

*

Стучат за лесом поезда.
В ночи осенней спит деревня.
Преображенное пространство
свободно дышит под луной.
Упала близкая звезда.
Едва качаются деревья.
Работа, верность, постоянство
сегодня говорят со мной.

Им вторит быстрый стук колес.
Но говорить не стоит быстро.
Пора подумать о дороге,
стремящейся через года.
Качаются стволы берез.
Случайный лист уносит Истра.
Зима почти что на пороге.
Из крана капает вода.

Работа, я счастливым был.
Я знал тебя не понаслышке.
Ты только придавала силы,
когда валила с ног меня.
Попробуй вспомнить ранний пыл,
самоуверенность мальчишки,
скитавшегося по России
до часа своего и дня.

А верность и тогда души
оправдывала перепутья.
А постоянство чести, долга
в сибирском помогло снегу.
Собака носится в тиши

и громко мнет сухие прутья.
Я незаметен, как иголка
в покрытом инеем стогу.

Пусть так и остается впредь.
Прекрасно время листопада.
Продлитесь, пристальные годы.
На сердце ясно и легко.
Мне нужно слушать и смотреть,
не отводя от жизни взгляда,
дыша могуществом природы,
цветущей где-то далеко...

*

Умирает атеист.
Холодеет понемногу.
За окном кленовый лист
опустился на дорогу.
День осенний, слава богу,
безмятежен, тих и чист.

За окном светлым-светло,
высоко, пустынно, сухо.
Тычась в пыльное стекло,
ноет жалобная муха.
Отошла тоска и мука.
Мглою взор заволокло.

Над поселком купола
обособленного храма.
Слишком жизнь была мала
и вела дорога прямо.
Над душой звонят упрямо
старые колокола.

Провожают душу вон
ИЗ болезненного тела.
Но согласен ли и он
с тем, чтобы душа летела
на гудящий оголтело
колокольный перезвон?

Вот приемник под рукой.
Безучастно и нелепо
над полями и рекой,
магазином ширпотреба
музыка колышет небо
и приносит в дом покой.

Не забуду никогда.
Громкий джаз и колоколья.

Небо, суша и вода,
потрясенные неволью.
А покойнику не больно.
С того дня прошли года...

*

Живописец тщедушный с бородкой,
что сулит тебе век твой короткий,
твой болезненный мозг)
Вот и встретились наши дороги.
И опять ты стоишь на пороге,
новоявленный Босх.

И жена твоя верная рядом
словно сладким отравлена ядом,
адам обожжена.
Достает из клеенчатой сумки
своего властелина рисунки
хлопотунья-жена.

Я к глазам подношу их поближе.
Это все уже было в Париже.
Это делал Сера.
Есть в запасе и нечто другое.
Только это ведь графика Гойи.
Разобраться пора.

Где твои, живописец, находки!
Независимой гордой походки
слишком мало, мой друг,
для того, кто с улыбкой презренья
захотел бы вернуть мое зренья
в некий замкнутый круг.

А душа твоя сохнет и чахнет.
И так страшно провинцией пахнет
от любого листа.
Но внушает мне девочка с жаром,
что отмечен ты истинным даром.
Ее совесть чиста.

Интерес к мертвецам и уродам
для нее стал наглядным уроком
грустной мощи твоей.
Я упорство твое отмечаю,
на вопросы ее отвечаю
и сочувствую ей.

И прощается гостя незлая,
в этот миг беззаботный не зная
вероятных утрат.

У дверей бормочу: — Заходите!
Заходите, когда захотите.
Буду рад. Буду рад...

Праздники

Пришла прекрасная пора.
Настали праздники. Ура!
Сын Алексей кричит «Уа!»
в восторге.
Луна восходит по ночам,
желта, как квашеный кочан,
и недоступны москвичам
«Мосторги».

В быту заметен перелом.
'Обивкой манит поролон.
Журналом неким полонен,
ты дремлешь.
Ревет будильник петухом,
но и его во сне глухом
ты как-то пополам с грехом
приемлешь.

Потом к тебе заходит гость
и шапку вешает на гвоздь
и новостей сырую гроздь
туда же.
Он говорит уже года.
Речь льется ровно, как вода.
Сегодня видел он «Всегда
в продаже».

Потом, питомец резвых муз,
ты пробуешь домашний мусс
и святостью семейных уз
гордишься.
На подвиг божия раба
зовет архангела труба.
Сегодня ты и для труда
годишься.

Спасибо, праздники, за дни,
когда в дому, почти одни,
мы теплим давние огни
надежды.
Забыт курсив, забыт петит.
Ликует хищный аппетит.
И сон угодливо летит
на вежды.

Но яркий цвет календаря,

часы беспечности даря,
как нашей юности заря,
не вечен.
И, словно пушечной пальбой,
ты оглушен своей судьбой,
ее пристрастьем и мольбой
привечен.

Катают дети снежный ком.
И друг спешит за молоком.
И кто-то верною влеком
конторой.
Один вытачивать винты.
Другой накладывать бинты.
И весело шагаешь ты,
который...

Анатолий Жингулин

Коршево

Ничего в нем вроде хорошего.
Просто так — большое село.
Облака плывут — мимо Коршева.
Журавли летят — мимо Коршева.
И Битюг блестит, как стекло.
А с горы удивляет далями
Неоглядный лесной простор.
Утки дикие кружат стаями.
Отражаясь в воде озер.
И, живя не в ладу с законами,
Рыбаки испокон веков
Острогою бьют щуку сонную
У обрывистых берегов...
И ночами летними, странными
В каждом спящем пустом дворе
Лопухи, от росы стеклянные.
Тихо светятся на заре.

*

Вот и жизнь пошла на убыль,
Словно солнце на закат.
И серебряные трубы
В стылом воздухе звенят.
Жизнь моя! Сентябрь звенящий!
Время в прошлом торопя,
Все отчетливей и чаще
Вспоминаю я тебя.
Вспоминаю ранний-ранний
С колокольчиками луг.
На изломах белых граней —

Солнце шумное вокруг...
Вспоминаю малым-малым
Несмышленишем себя....
К тем истокам,
К тем началам
Ты зовешь меня, трубя.

Ал. Лесс

Невыдуманные

Новеллы

У ПОСТЕЛИ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО

Николай Островский, неизлечимо больной, был окружен трогательным вниманием своих многочисленных читателей. Чуть ли не ежедневно к нему приходили комсомольцы, рабочая молодежь, приходили запросто, как приходят в дом искреннего друга. Они проводили долгие часы у постели писателя, рассказывая ему о своей жизни, работе, учебе. Так осуществлялась связь Николая Островского с внешним миром, и эта связь не прерывалась до его смертного часа.

...В теплый сентябрьский день 1936 года в гости к Островскому пришла группа комсомольцев Большого театра. Среди них был и молодой певец Соломон Хромченко — обладатель красивого лирического тенора. Незадолго перед этим он окончил Киевскую консерваторию и по конкурсу был принят в Большой театр.

— Я пел на сцене Большого театра четверть века, — рассказывал мне Хромченко. — Я знал успех, слышал аплодисменты, получал цветы. Эти минуты радостного волнения, столь поднимающие артиста, я испытал не раз. Но почему-то две встречи с Николаем Островским мне особенно дороги. Такие далекие во времени, они живы во мне до сих пор, и живы в мельчайших деталях. Я часто думаю о трагической судьбе этого удивительного писателя, а когда прохожу по улице Горького, мимо дома, в котором жил и умер Николай Островский, я вижу себя в его маленькой, скромно обставленной комнате.

В тот памятный день, когда мы отправились к Островскому, каждый из нас волновался каким-то особым волнением, не испытанным прежде. Мы, комсомольцы, зачитывались романом Островского, любили Павку Корчагина, стремились подражать ему. Знали мы, что Николай Островский тяжело болен, и вот эти-то обстоятельства и превращал* наш визит в событие глубоко значительное.

Островский встретил нас тепло и вместе с тем просто. Он поздоровался с каждым в отдельности, сказал, что мы можем чувствовать себя у него как дома, и предложил располагаться, где кому хочется. Затем он попросил меня рассказать о себе, и я, несколько смущенный, «доложил» свою несложную биографию.

Помнится, я сказал:

— Николай Алексеевич, в комсомоле я уже одиннадцать лет, в Москву приехал из Киева, где окончил консерваторию, пою я с детства, и первую песню — романс Зарембы «Дивлюсь я на небо...» — со мной разучила моя мать...

— А знаешь, это очень душевная песня, — задумчиво проговорил Островский. — Я люблю ее... Спой, если не трудно...

Борис Юртайкин сел за фортепиано, в комнате стало тихо, и я запел. Обстановка импровизированного концерта у постели слепого, недвижимого Островского взволновала меня до глубины души, и я пел с необычайным подъемом.

Едва я кончил, Островский воскликнул:

— Спой еще что-нибудь...

Я спел «Плач Федерико» из оперы Чилеа «Арлезиана», а закончил выступление неаполитанской песней «О,-Мари...», которую исполнил по просьбе Островского.

Мои товарищи играли на скрипке и на фортепиано.

Островский внимательно слушал музыку, а когда концерт окончился, тепло поблагодарил нас. На прощание Николай Алексеевич пригласил заходить к нему, без стеснения, когда вздумается.

Несколько раз я порывался зайти к нему, но разучивание новых партий, ежедневные репетиции и частые спектакли лишали меня возможности побывать у Островского.

Некоторое время спустя мне позвонила жена Островского. Она передала привет от Николая Алексеевича и просила навестить его.

Я с радостью принял приглашение и явился к нему в первый же свободный день, на этот раз уже на правах знакомого. Я долго сидел у его простой, железной кровати. Взяв мою руку в свою, он расспрашивал меня - о милой его сердцу Украине, о консерватории, о Большом театре, о моих планах...

Затем, чтобы хоть немножко развлечь Островского, я спел романс Чайковского «Хотел бы в единое слово...» и романс Неморино из оперы Доницетти «Любовный напиток».

— А в твоём репертуаре есть русские народные песни? — вдруг спросил Николай Алексеевич. — Ведь душа народа наиболее полно и ярко раскрывается в песнях...

Я ответил вопросом:

— Хотите, я спою «Вдоль по улице метелица метет...»?

Лицо Островского оживилось.

— Спой, пожалуйста... Я буду благодарен... — сказал он.

Я пел охотно, даже с радостью.

Это была моя вторая и последняя встреча с Островским: вскоре он умер.

Вспоминая Островского, беседы с ним, я не могу не сказать, что больше всего меня поразила сила его духа. Никто из нас не чувствовал, что перед нами — человек, дни которого сочтены. Сила его воли была невероятной. Ни в первое мое посещение, ни во второе, когда я пришел к нему уже как знакомый, он ни единым словом не обмолвился о своем недуге. Он смеялся, шутил, говорил о чем угодно, только не о болезни.

Прошло тридцать лет с момента его смерти, а в памяти своей, как самые дорогие воспоминания, я храню две встречи с Островским — две встречи, происшедшие в дни моей молодости.

МЕЛОМАН

До войны в Варшаве, на углу улиц Ясной и Сенкевича, находилось кафе «ОАЗА». Кто из варшавян не знал этого фешенебельного кафе, в котором собирались известные художники, писатели, артисты! Ежевечерне здесь играл скрипач Рихард Рокита — высокий, красивый брнет. Многие специально приходили сюда, чтобы послушать его игру.

Когда фашисты оккупировали Варшаву, Рокита на некоторое время исчез, затем снова появился в этом кафе, но уже в качестве посетителя: на нем был мундир гауптштурмфюрера СС.

Началась война с Советским Союзом. Гитлеровцы, продвигаясь на восток, заняли Львов, и Рокита был назначен комендантом Яновского лагеря смерти.

А несколько позже он стал комендантом лагеря смерти в Тернополе.

В этом лагере томились тысячи узников — поляков, украинцев, евреев, — согнанных фашистами из прилегающих к Тернополю городов, деревень и поселков.

Почти ежедневно по приказу коменданта и под его личным руководством расстреливались сотни людей.

Среди узников лагеря была выпускница Львовской консерватории Нелли Бараль, двадцатичетырехлетняя пианистка, талантливая исполнительница Шопена.

Рокита узнал о ней и однажды вызвал ее к себе.

Он сидел за письменным столом в длинном и узком кабинете, в углу которого стоял рояль.

— Ты играешь Шопена? — спросил Рокита. Нелли утвердительно кивнула головой.

— Играй! — приказал он.

Она села к роялю, попробовала, как обычно, размять пальцы, но руки огрубели и были словно деревянные.

Рокита налил рюмку коньяка, выпил ее, откинулся на спинку глубокого кожаного кресла и приготовился слушать.

— Играй! — повторил он.

Она сыграла один этюд, потом другой, третий. Затем она попыталась немного отдохнуть, потирая уставшие, давно не тренированные руки, но в ту же минуту услышала властное:

— Играй!

В этот день Нелли играла несколько часов подряд и пришла в барак, шатаясь от голода, уставшая, опустошенная.

На следующий день за ней пришли двое солдат и снова привели ее к Роките.

И, как вчера, он выпил рюмку коньяка, закурил и сказал:

— Играй!

И она играла. Играла несколько часов. Играла все, что знала наизусть, а он все пил коньяк и все требовал, чтобы она играла.

Так продолжалось много дней кряду.

Однажды она играла так долго, что пальцы у нее распухли, из-под ногтей хлынула кровь и залила клавиши. Рокита отпустил ее. Полуживая, она едва добралась до барака. Она забылась сном, но несколько раз во сне слышала: «Играй!» — и просыпалась в холодном поту.

Когда через два-три дня за ней пришли солдаты, чтобы отвести к Роките, Нелли отказалась. Играть она больше не могла. Об этом Нелли сказала соседке по нарам. Та сообщила другим, и вскоре к ней подошли три старые, изможденные женщины.

— Нелли, — сказала одна из них, — иди, играй... Когда ты играешь ему, нет расстрелов... Ты спасаешь себя и нас... Иди, Нелли, играй!..

Так своей игрой Нелли Бараль спасла жизнь не только себе, но и тысячам таких же узников, как она.

Я приехал к писателю Владимиру Беляеву, известному своими книгами и статьями, разоблачающими украинских буржуазных националистов, агентов Ватикана, фашистских убийц. Он рассказал, что видел во Львове Нелли Бараль, говорил с ней. Сейчас она живет в Польше. Седая, преждевременно состарившаяся, Нелли Бараль до сих пор не может забыть ужасы, пережитые в лагере.

Беляев долго молчал, перебирая какие-то бумаги, потом сказал:

— На днях я получил из Вены письмо от Симона Визенталя, того самого Симона Визенталя, который руководил поимкой Адольфа Эйхмана и впоследствии написал книгу «Я охотился за Эйхманом»... Вот это письмо... Визенталь сообщил, что после войны Рокиту обнаружили в одном из городов Федеративной Республики Германии — он служил портье в каком-то отеле... Рокита был судим, сидел в тюрьме, но недавно «по состоянию здоровья» выпущен на свободу... Визенталь прислал мне последний портрет Рокиты... Хотите посмотреть?..

И Беляев показал мне фотографию человека-зверя.

ГЕРЦОГ ПОД ЗОНТОМ

В начале этого века на гастроли в Петербург приехал знаменитый итальянский тенор — «сладчайший» Анджело Мазини.

В летнем театре на Песках шла опера «Риголетто», и Мазини пел партию герцога.

Перед третьим актом неожиданно хлынул дождь, вскоре превратившийся буквально в ливень. На сцену сквозь местами прохудившуюся брезентовую крышу стала проникать вода.

Но спектакль продолжался.

Каково же было изумление публики, когда в хижину Спарафучилия вдруг вошел некто в пальто и шляпе, в высоких ботах, с раскрытым над головой зонтом.

В первую минуту публика опешила, не найдя в этом странном персонаже ни малейшего сходства с красивым, нарядно одетым герцогом. И только по характерной бородке, столь знакомой меломанам, узнала Мазини. Недоумение сменилось сдержанным смехом, смех — хохотом. Но вот он запел знаменитую песенку «Сердце красавицы склонно к измене...», и в зале воцарилась тишина: в действие вступил массовый, всепобеждающий гипноз, гипноз его голоса. Теперь уже никто не обращал внимания на то, что Мазини пел, держа над головой зонт, и что весь его вид никак не способствовал «раскрытию» образа.

После исполнения разразилась такая овация, что Мазини вынужден был спеть песенку «на бис». Но за первым «бисом» последовал второй и третий...

Какова же была сила, красота, обаяние этого удивительного, воистину «золотого» голоса!..

НА КОНЦЕРТЕ МАРЛЕН ДИТРИХ

На гастроли в Москву приехала Марлен Дитрих, и дирекция Центрального дома литераторов обратилась с просьбой к артистке дать концерт для писателей.

— Для писателей? — переспросила она. — А Паустовский будет на концерте?.. Правда, я не знакома с ним, но очень люблю его книги....

Представитель дирекции, несколько озадаченный «условием», поставленным Марлен Дитрих, сказал:

— Константин Георгиевич часто чувствует себя не очень здоровым... Но я непременно сообщу ему о нашем разговоре...

Когда в вестибюле Центрального дома литераторов появилась афиша о концерте Марлен Дитрих, я, несмотря на свою нелюбовь к песенкам легкого жанра, решил пойти на концерт. Правду сказать, мне просто хотелось взглянуть на артистку, о которой много читал и слышал и которую хорошо знал по фильмам. К тому же по старой журналистской привычке мне казалось невозможным упустить случай поговорить со знаменитой актрисой и мужественной женщиной, покинувшей свою родину в знак протеста против фашизма.

...На долю Марлен Дитрих выпал, как всегда, громадный успех. Ей горячо аплодировали, без конца вызывали, требовали повторения. Но вряд ли артистку можно было удивить внешними выражениями признательности: сколько оваций слышала она за долгую свою жизнь на сцене!

Однако в этот вечер случилось событие, глубоко тронувшее прославленную актрису.

Концерт окончился, и Марлен Дитрих, утомленная и взволнованная, собиралась уже покинуть эстраду, как вдруг из-за кулис вышел Леонид Ленч. Он поблагодарил артистку от имени московских писателей и вручил подарок — несколько книг Константина Георгиевича Паустовского с его дарственными надписями.

Аплодисменты вспыхнули с новой силой, и в эту минуту по узкой боковой лесенке, ведущей из зрительного зала на сцену, медленно, тяжело дыша, поднялся сам Паустовский.

По нездоровью он не надеялся, что сможет послушать Марлен Дитрих, и поэтому заранее прислал книги. Но в последнюю минуту решил все же приехать на концерт.

Его появления никто не ждал, и меньше всех, конечно, — Марлен Дитрих.

Константин Георгиевич, неумело и стеснительно державшийся на эстраде, в свете прожекторов, перед бурно аплодирующим залом, пытался сказать актрисе слова благодарности, но Марлен Дитрих, легкая, эффектная в своем сверкающем платье, первая

приблизилась к старому писателю. Она прошептала: «Oh, danke!.. Besten dank!», — затем медленно опустилась перед ним на колени и, взяв его руки, почтительно поцеловала их.

МОСЬЕ ГИЛЬО

В девяностых годах прошлого столетия, в один из дней золотой осени, к помощнику режиссера частной оперной труппы обратился юноша:

— Возьмите меня статистом...

— Не требуются! — отрезал помощник режиссера, даже не взглянув на просителя.

— Мне не нужны деньги, — взмолился юноша. — Театр — моя жизнь, моя страсть...

Помощник режиссера взглянул на юношу — стройный, красивый, черноволосый...

— Хорошо, — сказал он. — Приходи вечером... В тот вечер шел «Евгений Онегин».

Перед сценой дуэли помощник режиссера вручил новичку два пистолета.

— Ты изображаешь секунданта Онегина — мосье Гильо, — предупредил он. — Смотри: пистолет, перевязанный красной ленточкой, заряжен. Его дашь Онегину, а этот — Ленскому. Понял?.. Повтори!..

Юноша повторил слова помощника режиссера.

Вот прозвучала знаменитая ария Ленского, противники разошлись и заняли свои места. Поднял пистолет Онегин. Поднял пистолет и Ленский. Онегин нажал курок, но выстрела не последовало. И вдруг — грохот: выстрелил пистолет Ленского. Онегин от изумления и неожиданности пошатнулся, выронил пистолет и упал. С трудом удержался на ногах и Ленский.

В зале — полное недоумение, потом хохот...

Это был единственный случай в истории оперного театра, когда Ленский убил Онегина.

Статиста-неудачника тут же выгнали из театра.

Но кто бы мог предположить, что через несколько лет этот юноша станет знаменитым режиссером и его имя — Константин Марджанов — навсегда останется в истории театрального искусства?!

ОТВЕТ КАРАЯНА

В Вене по телевидению передавалась пресс-конференция всемирно известного дирижера Герберта фон Караяна.

Один из западногерманских корреспондентов задал маэстро такой вопрос:

— Господин Караян, каково влияние религии на ваше творчество?

Караян ответил:

— У меня только один бог — музыка!

стихи

С грузинского

Григол Абашидзе

Зов

Под гул аплодисментов, под «ваша»,
Под непрерывным напряженьем взоров
Летит по небу человек, кружа.
Один, среди бессчетных метеоров.
И там — под сердца однотонный стук —

С тревогой мысль о доме обретает...
Планеты, словно мячики, вокруг
Его, как бы играя, облетают.
И, как дитя, беспомощно косясь
На вечность, он летит. И, словно гений.
Взаимную улавливает связь
Земных вещей и мировых явлений!
И с тех высот доходит до низов.
Окрашенный молньеобразным блеском,
Далекий, будто колокола, зов
В том беспредельном сумраке библейском.

*

Мгновенный мир — мы, по нему скользя
Небрежным взором, удержать не в силах,
Мир этот бранный удержать нельзя.
Не удержать мгновений наших милых.
Так выскажись!
Век мчится все равно,
На сто вопросов не дает ответа...
Но никому сказать не суждено
Того, что надо высказать поэту.
И ты живи, мгновенья торопя,
И, как века, переживай мгновенья...
И то, что здесь не вдохновит тебя,
Лишь это и достойно сожаленья!

Осень

Спокойно солнце светит в вышине.
И листья на деревьях отзвучали...
И мерно воцаряется во мне
Таинственность, подобная печали.
Как бы предчуя грозовой разряд, —
Все замерло... Но вдруг стемнело, ибо
Скатилось солнце, так ползет назад
С горы — Сизифа каменная глыба.
Замкнулся круг. Мир отступает вспять.
Казалось бы, природа Гак устала,
Но камень катит на гору опять.
Чтоб вновь зима за осенью настала.
Ты с горечью кривишь в улыбке рот.
В который раз ты в жизни видишь это!
И, может быть, такой круговорот
Вот так и будет до скончанья света?!
Зачем природу умную винить!
Не сетуя, живи без опасений, —
И оборвется твой удел, как нить,
В какой-нибудь подобный день осенний.
Мы все во власти вечного кольца.
Бескрайность, мы твоим подвластны чарам.

А раз круговороту нет конца,
То и конец является началом...
Перевел Е. ВИНОКУРОВ.

Отар Чаладзе

В горах

Было нас десять, и у десятка
Общими были дерзость и страх.
Шли мы — и риска мертвая хватка
Крылась в ущелье, кралась в горах.

Стало нас девять, и сквозь потемки
Мы продирались вдевятером.
В каждом бауле, в каждой котомке
Горбились вещи лишним добром.

Звук или отзвук — боль ножевая,
Грустное что-то, словно аул.
Гналось за нами, не отставая.
Мысли сбивались в медленный гул.

И, обессилев, пил я над бездной
Воздух надежды жаждущим ртом,
Л надо мною в дали небесной
Пик занимался, как горний дом.

Перевел О. ЧУХОНЦЕВ.

*

Время настанет: днем или ночью
лишь на минуту, лишь на мгновенье
мы, встрепенувшись, вспомним воочью
наши прозренья и заблужденья.
Что мы любили, что не любили,
что мы теряли, что находили,
что нас роднило, что различало,
наше родство и наши различья
к горлу подступят, как дым пепелища
возле покинутого привала.
Страшно предчувствие этого мига
с каплею меда или же яда.
Ну, а покуда неутомимо
жизнь то летит, то тянется мимо,
не остановишь, не скажешь «не надо...».
Перевел Ст. КУНЯЕВ

Иосиф Нонешвили

Не ищите могилы Руставели

Вечен дух его на белом свете —
в громе волн и в тишине ущелий...
Если верите в его бессмертье,
не ищите
могилы Руставели.
Старец ли от мира отлученный,
воин ли, чьи битвы отшумели...
Не мечитесь в поисках, ученые,
не ищите
могилы Руставели.
Кто он и откуда! Лес загадок.
Где погиб: в бою или в постели!..
Если нам поэта голос сладок,
не ищите
могилы Руставели.
Разве ураган, гудящий вольно,
ждет себе убежище на деле!
Отдохните, умницы. Довольно.
Не ищите
могилы Руставели.
Виноградник, нива, мед пчелиный,
наши души, что не откипели, —
все вместил в себя тот стих единый...
Не ищите
могилы Руставели.
Пусть для нас останется преданьем
жизнь его от самой колыбели.
Не глушите звон струны рыданьем...
Не ищите
могилы Руставели.
Что с того, что мы его оплачем!
Сколько мы отпеть уже успели!
Путь стиха на все века оплачен...
Не ищите
могилы Руставели.

Вечен дух его на белом свете —
в громе волн и в тишине ущелий...
Если верите в его бессмертье,
не ищите
могилы Руставели.

Снова мне в душу
весна ворвалась

Маковых колоколов перезвон.
Снова весна, как танцовщица, вертится.
День так просторен и так обнажен,
что в кратковременность жизни не верится.

Снова мне в душу весна ворвалась.

Да неужели морозы нас мучали!!
Первая почка в саду взорвалась,
и затрещали разрывы над сучьями.

Сердце мое, не поддайся, гляди,
майской сумятицей переполошено.
Дай мне собрать воедино в груди
все, что весной предо мною разложено.

Суша и небо взрастили меня.
Разве с годами их страсть уменьшается!
Мир, состоящий из роз и огня,
весь до краев в мое сердце вмещается.

Снова над полем пчелиный басок.
Хочется щедростью с маем помериться.
День так просторен и так он высок,
что в кратковременность жизни не верится.

Перевел Б. ОКУДЖАВА.

Резо Амашукелли

Апрель

И снова горная дорога
Уходит ввысь под облака,
И снова подняты высоко
Вола тяжелые рога.

И виноградник, прущий в гору,
И плющ, ползущий по стене,
Иные дни, иную пору
Опять напоминают мне.

...И вол упал на камни, сияясь
Подняться, и опять упал,
И в луже крови исказились
Дорога, солнце, гребни скал.

Была весна, и пахло летом,
И завязи несли плоды.
А он затих, и белым цветом
Его осыпали цветы.

Но, как корабль, на дно идущий.
Уходит память в глубину,
И, вспоминая год минувший.
Душа, скорбя, летит к нему.

И там, где скошенные крыши
Возносит жажда высоты.

Там боль моя — все выше, выше! —
Сквозит в апрельские сады.

А в тех садах цветет черешня,
И на апрельском сквозняке
Проходит женщина нездешне
С цветущей веткою в руке.

И я, как некое растенье,
Слежу в неведение святом.
Как отлетает дух цветенья,
Чтоб воплотить себя потом.

Перевел О. ЧУХОНЦЕВ.

*

Я знаю: прогресс победит,
здесь вырастут стройные зданья,
но этой окраины вид
для сердца, как детская тайна.

Гляжу на вечерний простор
и на черепичные кровли —
до боли родной кругозор,
до слез, возникающих в горле.

В предчувствии близких утрат
я слышу волнение сердца,
гляжу в полудвор-полусад,
где, словно знамена, висят
вязанки пурпурного перца.

Село Шрома

Кувшинов глиняных ряды
на солнце раскалились за день...
Сияют снежные хребты,
а ковш от снеговой воды
так неожиданно прохладен.

Дороги родины моей!
И в смертный час мне будет сниться,
как стая синих голубей
кружит над красной черепицей...

К забору подступает сад,
кольшет желтыми ветвями,
и солнце, раскусив гранат,
пьет сок кровавыми губами.

*

Не выдержали и сбежали
в зеленые края, туда,
где белая свеча Бетани
в лесу рыдала, как дитя. .
Мы хлеб, волнуясь, преломили,
вином наполнили стакан
и дали волю тем словам,
которых, к счастью, не забыли.
Что помогло ему сказать,
моя душа,
моя отчизна,
что ты не мачеха, а мать,
что мы твои...
И где причина
любви,
дыханья,
языка!..
Кровь зашумела, как река,
звенит апрель на полдороге,
и лепестки весенних роз
летят, пылая, под откос
и нежно падают под ноги.
А стих, который обращен
к горам,
к лесам,
к вершинам,
к снегу,
как ястреб, улетает к небу,
дыханьем нашим вознесен.

*

Я судьбою опять удостоен
насладиться безоблачным небом,
встретить имеретинскую осень
и почтить виноградом и хлебом.

Взор тянулся в туманные выси,
а когда уставал, — мы глядели,
как печальные иволги в листьях,
словно желтые груши, висели. »

Старый рыбак

Ты сидишь в полусне целый день
под томительным маревом юга
и глядишь, как колышется тень
остролистого дерева тунга.

Ты все куришь турецкий табак,
изживаешь желанье простора...

Чуть белеет во сне, как маяк,
минарет сквозь туманы Босфора.

И волнуется сердце — насквозь,
как когда-то, пронзенное ветром...
Изабеллы тяжелая гроздь
светит ночью мерцающим светом.

Ты уже растворился во сне,
ты земными пресытился снами...
Старый катер на черной волне
с тяжким скрипом колышет бортами.

Перевел Ст. КУНЯЕВ.

ПОГОВОРИМ О ПРОЧИТАННОМ

Станислав Лесневский

О ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ПОЭЗИИ

Хотите вы или нет, ваше слово произносится в Л\ мире, полном гражданских страстей,
и ввязывается в эти страсти.

Из-за тысяч лет, «через головы поэтов и правительств», словно свет умершей звезды,
донесся до нас голос древнеегипетского папируса. Живой, женский зов:

Я — женщина, прекрасная для своего мужа,
Жена твоя. Сестра твоя.
Приди ко мне скорее!
Потому что я жажду узреть тебя
После того, как не видела лица твоего.
Тьма вокруг нас, хотя Ра в небесах.

Ра не было и нет, Ра как не бывало. Любовь осталась. Умерла древнеегипетская
гражданственность. Мы не помним имен фараонов. А женский голос все молит прийти.
Слабый, он сильнее времени. Стихи пробуждают радость и удивление. Мы всякий раз
удивляемся, что так давно — и всегда! — люди чувствовали на понятном друг другу
человеческом языке. Мы радуемся взаимному пониманию. Мольба далекой египтянки
звучит посреди сегодняшних пожарищ:

Оба наши города разрушены.
перепутались дороги.
Я ищу тебя, потому что жажду
видеть тебя.
Я в городе, в котором нету
защитной стены.
Я тоскую по твоей любви ко мне.
Приходи! Не оставайся там один!
Не будь так далек от меня!
(Перевод Анны Ахматовой.)

Имя неведомой египтянки безвестно. Назовем ее Лирикой. По буквальному смыслу стихов она призывает мужчину, но по сути своей призывает мир. Она человечность. Всюду видит она свое лицо. Лирика — это душа поэзии, отклик и оклик всему сущему.

Все в поэзии и сама поэзия начинается с человечности. У человечности всегда социальная, исторически конкретная, животрепещущая плоть. Абстракции не вдохновляют поэзию. Без человечности нет ни поэзии, ни гражданственности.

Гражданственность пролетарской, социалистической поэзии определяется ее партийностью и состоит в утверждении коммунизма, который Маркс охарактеризовал как «...полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства достигнутого развития возвращение человека к самому себе, как человеку общественному, т. е. человечному. Такой коммунизм...=гуманизму...»

Гражданственной мы называем поэзию, которая примыкает к одному сражающемуся стану.

Мы не говорим пока что о гражданственности реакционной — возможна ведь и такая направленность поэтического творчества. Мы говорим здесь о гражданственности передовой, революционной.

Я не дам свою Родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!

«Я стреляю», — говорит гражданственность. Но поэт не был бы поэтом, если бы оборвал стихотворение на словах о пуле. Если бы не слышал, что убитого врага из-за моря зовет любящий женский голос; если бы не чувствовал горечи от бессмысленной гибели обманутого чужеземца. Жалость не входит в состав пули. У пули иная, чем у поэзии, траектория полета. И поэзия говорит:

Никогда ты здесь не жил и не был!
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах...
(Михаил Светлов. «Итальянец».)

У поэзии мера будущего, когда человек везде и во всем будет только человек. Будущее одерживает победу в каждой строке подлинной поэзии от «Я вас любил...» до «Пройдет вражда племен...». В каждой такой строке человек возвращается к самому себе. Будущее в поэзии оживает сегодня, сегодня обретая жест, голос, душу.

Если же гражданственность произрастает не на древе человечности, а на случайных насаждениях, то она никогда не дает значительных и долговечных поэтических плодов. В злобу дня великая поэзия приходит с общечеловеческой, вечной, человеческой музыкой.

Узнав об откликах Пушкина и Жуковского на подавление польского восстания в 1831 году, Вяземский записывает в дневнике: «Мало ли что политика может и должна делать? Ей нужны палачи, но разве вы будете их петь».

Либерал-вольнодумец Вяземский совершает характерную ошибку, противопоставляя любую политику поэзии. Но есть политика, защищающая справедливость и свободу, человека и революцию. Политика, исполненная поэзии!

«Зачем переключивать в стихи то, что очень кстати в политической газете», — пишет Вяземский. Но поэты не переключивают политику в стихи, а самостоятельно открывают в политике поэзию, в поэзии — политику. Поэзии необходим весь мир, и все его кипение, включая политику, может стать поэзией. (Ленин любил изречение о временах, когда каждый

социалист был поэтом, а каждый поэт социалистом. Блок размышлял о «нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики».)

В тех же записях Вяземского есть важная для нашего разговора ироническая фраза: «Когда решишься быть поэтом событий, а не соображений, то нечего робеть и жеманиться — пой да и только».

В самом деле, истинный поэт-гражданин за «событиями» всегда видит «соображение», врывается в злобу дня со своей выношенной философией мира и истории, творит не бездумные «отклики», но поэзию. Таковы «Двенадцать» Блока.

Не забудем, что ведь и «Слово о полку Игореве» — это высокая «агитка», и «Василий Теркин» вырос из агитки и создавался с агитационным заданием.

Поэтому гражданственность поэта есть его свобода чувствовать, жить и бороться. Принудительной гражданственности в искусстве не бывает. Об этом говорил Пушкин:

...Для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...
.....
Вот счастье! вот права...

Зависеть — от кого бы то ни было — Пушкин не хотел и не мог. Гражданственность не ливрея, а талант, не служба, а служение. Присваивается звание, но не призвание, чин, но не внутренний долг. Можно назначить камер-юнкером, но нельзя решить, кто в отечестве достойно исполнит роль Пушкина, кто будет первым, «лучшим, талантливейшим», а кто — вторым. И гражданственность есть «угождение» совести, потребности. Только тогда она сильна и властна над душами современников. «Хвалить не заставят ни долг, ни стих...»

Делами,
кровью,
строкою вот эту,
нигде
не бывшею в найме, —
я славлю
взвитое красной ракетой
Октябрьское,
руганное.
и пропетое,
пробитое пулями знамя!

«Меня послали б ловить рыбу в Астрахань», — говорил Владимир Маяковский о чиновниках, которые, дай им волю, по-своему оценили бы предназначение поэта. А поэт может пол-отечества «отстроить, умыть». Потому что он сам готов на все ради отечества; он готов не то что какое-нибудь полезное поручение, вроде ловли рыбы, выполнить, а он готов наступить «на горло собственной песне», если это во имя революции. Такова поэзия.его жизни¹. И тогда он не по заданию, а по велению своего существа скажет: «Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде кроме как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации».

В автобиографическом очерке «Люди и положения» Борис Пастернак говорит о своем непонимании пути Маяковского.

Будучи сам неподдельным и искренним поэтом, Пастернак, говоря о другом поэте, все-таки сознавал, что иной, чуждый ему путь тоже неподделен и искренен. Однако в своем очерке он говорит: «За вычетом предсмертного и бессмертного документа «Во весь голос» позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии-буфф», недоступен мне».

Не будем здесь спорить с поэтом. Не такое это короткое и простое дело, как может показаться. Ибо надо опровергать не слова, а судьбу. Зададим лишь вопрос: а разве мог бы Маяковский произнести «Во весь голос» — свой «предсмертный и бессмертный документ», если бы он жил иначе, чем он жил?..

По воспоминанию Пастернака, Маяковский «с обычным мрачным юмором» так определил их несходство: «Ну что же. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я — в электрическом уютге».

Конечно, это мрачный юмор. В споре Маяковский нарочито огрубляет свою мысль. Ведь значительнейшие произведения Маяковского — это тоже молнии в небе. Маяковский противопоставляет, заметим, не молнию и уютг, а две молнии. Есть еще, «уютги» в чистом виде, так сказать. Они-то как раз далеки и от поэзии и от гражданственности. Уютг — предмет полезный. Полезный в том малом, обиходном, прислужническом смысле, в каком это слово вымолвил Жуковский, «редактируя» пушкинский «Памятник»: «...прелестью живой стихов я был полезен...» А поэт — это молния:

...в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Полезность не чужда всеобъемлющему духу поэзии. Если поэт видит в сиюминутной полезности служение своему народу, то поэт делает и рекламу для ГУМа. Стареют отдельные «агитки» того времени; не стареет принципиальная позиция Маяковского.

Имея в виду, должно быть, страстный утилитаризм программных деклараций Маяковского, Пастернак произнес слово «картофель» и так очертил посмертную судьбу своего бывшего друга:

«Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен».

1 Об этом интересно пишет В. Кошинов в статье «Шаяковский и русская литература» (сб. «Маяковский и проблемы новаторства», М., 1965).

Принудить любить невозможно. Как ни гримировали Маяковского под отличника, его любили и любят слишком многие, чтобы можно было говорить о смерти. Маяковского трудно превратить в удобный набор полезных цитат. Он — молния.

я знаю силу слов я знаю слов набат
Они не те которым рукоплещут ложи
От слов таких срываются гроба
шагать четверкою своих дубовых ножек
Бывает выбросят не напечатав не издав
Но слово мчится подтянув подпруги
звонит века и подползают поезда
лизать поэзии мозолистые руки

Это давний «спор славян между собою». Спор так называемой чистой лирики и гражданской поэзии. Сторонники гражданской позиции полемически формулировали свой излюбленный тезис в негативной форме: «Я не поэт, а гражданин» (Рылеев); «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (Некрасов); «Я не поэт...» (В. Курочкин); «Мне наплевать на то, что я поэт. Я не поэт...» (Маяковский).

История не однажды доказывала, что речь шла не об антипоэзии, а о новом качестве поэзии.

В одном из писем Афанасия Фета есть любопытные строки:
«Читаешь стих Некрасова:

Купец, у коего украден был калач, — и чувствуешь, что это жестяная проза. Прочтешь:

Для берегов отчизны дальней, — и чувствуешь, что это золотая поэзия».

В свою очередь, поэт гражданской «Искры» Дмитрий Минаев говорил о «целомудренной ерундивости фетовской музы, у которой мелодия стиха составляет главную и единственную цель песнопения».

Для нас сегодня и Фет и Некрасов — это серьезно, значительно, это классика. И ведущей остается некрасовская нота: «Я лиру посвятил народу своему...»

Маяковский называл себя «некрасовцем». Некрасовская музыка не смолкла и сегодня. В необъятной стране русской поэзии имя Некрасова — это не просто одно из имен, это имя — символ гражданственности.

Фетовское аристократическое высокомерие сегодня унаследовано эстетам. Меж тем поэзия жадна до любого материала, поставляемого жизнью. И «жестяная проза» способна стать чистым золотом поэзии. И «газетный» стих может жить вечно. «Мужество» Анны Ахматовой появилось в «Правде» в 1942 году.

Газета, политика, злоба дня нуждаются в союзе с поэзией. Более того, поэзия обогащается в горниле гражданственности. Арсенал поэзии несводим к лирике Афанасия Фета.

И вместе с тем: политическая позиция Фета нам чужда, а поэт он громадный. Философские раздумья, импрессионистические пейзажи, лирические откровения Фета — голос вечной лирики, то есть человечности. Оттого, наверно, наш современник Владимир Соколов соединяет когда-то несоединимое:

Вдали от всех парнасов,
От мелочных сует
Со мной опять Некрасов
И Афанасий Фет.
Они со мной ночуют
В моем селе глухом.
Они меня врачуют
Классическим стихом.
Звучат, гоня химеры
Пустого баловства.
Прозрачные размеры,
Обычные слова.

«Если мы, например, перечитаем знаменитое фетовское стихотворение «Шепот, робкое дыханье...», то, несомненно, должны признать и его общественное значение. Стихотворение воспитывает наши эстетические и этические чувства, оно возвышает человека и таким образом служит интересам общества», — пишет Е. Осетров («Вопросы литературы», 1967, № 6).

«Служит интересам общества» — вот как о Фете стали писать в наше время! Стоит уточнить: каким интересам? какого общества?

«Шепот, робкое дыханье...» вызывало сто лет назад прямо противоположные оценки. «Реалисты», шестидесятники (многие из них) осмеяли бы того, кто сказал бы, что Фет «возвышает человека!» Они считали, что «шепот, робкое дыханье...» оскорбляют человека, горячо сочувствующего несчастьям отечества.

Н. К. Михайловский утверждал, что если бы древний раб понял, «...какое оскорбление, какая несправедливость к нему кроется в каждом изгибе тела прекрасной статуи, эту статую постигла бы участь Вандомской колонны».

Оскорблением, несправедливостью — вот чем была фетовская красота для многих демократов-шестидесятников. Сто лет должно было пройти, коренным образом должна была

перемениться Россия, русское общество, чтобы стихи Фета перестали связываться с его крепостнической позицией, чтобы прекрасные статуи и утонченные стихи не соседствовали более с нищетой и униженностью. Сегодня мы защитники мира и красоты в мире. Ведь и та красота, которую создал Фет, обязана своей жизнью народу, его труду. Народ принимает Фета как свое законное наследие.

Мы вправе утверждать, что сегодня на нашей планете Фет под угрозой. Под угрозой «шепот, робкое дыханье, трели соловья», их надо защищать. Защищать с позиций Пушкина и Некрасова, Маяковского и Твардовского. С позиций гражданственности революционной.

«Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей». Кто в своем сердце не носил печаль и гнев отечества, тот никогда не заговорит голосом общечеловеческим.

Диссертантами классифицированы виды и способы изучения писателем народной жизни. Но все они сводятся в конце концов к одному — жить. Кто не живет жизнью отечества, тот не поэт.

Для создания вечного нет никаких материалов, кроме временных. Вечен тот, кто находит вечное в своем времени. Тогда доходит до нас древнеегипетский папирус; его строки охвачены тогдашней болью. В ней вечный призыв искусства: «Я ищу тебя...»

*

В своих лекциях о материалистическом понимании истории Г. В. Плеханов ссылается на сделанное Стенли описание африканского «танца фаланги», в котором принимает участие каре воинов из 33 родов, по 33 воина в каждом, с пиками, с украшениями из петушиных перьев, человеческих зубов, клыков разных животных и т. п. По сигналу барабанов их начальник запеваёт дикую песню, возвышая постепенно свой голос до самых пронзительных нот, — тогда он поднимает свою пику, и оглушительный хор 1089 воинов-танцоров отвечает запевале и подвигается вперед, потрясая пиками... «Это, конечно, одно из самых прекрасных и волнующих зрелищ, какое я видел в Африке», — пишет Стенли, и Плеханов называет такое зрелище «настоящим произведением искусства».

С нашей стороны не будет натяжкой назвать такое зрелище, раз уж оно оценено как искусство, гражданственным по своей тенденции, ибо оно было призвано воодушевить воинов в их борьбе за интересы рода, племени. Плеханов приводит драматический диалог, произносимый воинами во время одного из подобных танцев:

— Атакуем мы наших врагов?

— Да.

— Сильны ли они?

— Нет.

— Мужественны ли они?

— Нет.

— Мы их убьем?

— Да.

— Мы их съедим?

— Да. (И т. д.)

Бесспорно, что исторически это — одно из ранних проявлений гражданственности искусства и вообще одно из ранних проявлений искусства, еще непосредственно слитого с трудовой и военной деятельностью. И все-таки что-то мешает нам уверенно произносить эти слова: искусство, гражданственность. Нам трудно называть искусством песни, танцы, диалоги, славящие людоедство, хотя бы поедались только убитые враги.

Конечно, никто сейчас не станет сетовать на жестокость нравов, запечатленных в приведенном выше диалоге; сетования запоздали. Следует, однако, обратить внимание на то, что, даже бесконечно усложнившись, воинственная поэзия многих эпох и многих государств может быть сведена к несложному: «Мы их убьем? — Да. — Мы их съедим? — Да». Не

всякая гражданственность человечна, совестлива. Есть гражданственность бесчеловечная, бессовестная (и она, как правило, убивает и съедает любой талант).

Фашизм, как известно, создал свою стихотворную, песенную продукцию. В массовых количествах она вгоняла в умы и сердца людей оптимизм людоедов, гражданственность верных рыцарей фюрера.

«Бараний марш» — так назвал Бертольт Брехт ту «музыку», под которую на бойню шли миллионы. И разве «бараньи марши» не внушали людям, что быть баранами — их гражданский долг? То была баранья гражданственность.

Шагают бараны в ряд.
Бьют барабаны —
Кожу для них дают
Сами бараны.
(Перевод Арк. Штернберга.)

Есть гражданственность Генриха Гейне, и есть гражданственность «фарисеев национализма», которые обвиняли великого поэта в французофильстве и в том, что он оскорбляет немецкие национальные цвета. Гейне отвечал им: «Водрузите черно-красно-золотое знамя на вершине немецкой мысли, сделайте его стягом свободного человечества, и я отдам за него кровь моего сердца».

Гражданственность — одно из выражений человеческой общности. И вместе с тем она есть воплощение классовых, национальных и других противоречий, раскалывающих человечество. Гражданственность Гейне и Брехта являет духовную человеческую общность, которая непримиримо противоположна звериной общности, звучащей в фашистских маршах.

Для понимания пролетарской, коммунистической гражданственности важное значение имеет работа Карла Маркса «Критические заметки к статье «Пруссака» «Король прусский и социальная реформа».

Маркс подчеркивает, что преграды к участию в политической общности — причина буржуазной революции, преграды к участию в человеческой общности — причина революции пролетарской. «...Т а общность, от которой изолирован рабочий, есть общность, имеющая совсем другого рода реальность и совсем другой объем, нежели политическая общность. Та общность, от которой рабочего отрывает его собственный труд, есть сама жизнь, физическая и духовная жизнь, человеческая нравственность, человеческая деятельность, человеческое наслаждение, человеческая сущность. Человеческая сущность и есть истинная общность людей. Злосчастная изолированность от этой сущности несравненно всестороннее, невыносимее, ужаснее, противоречивее, чем изолированность от политической общности; в соответствии с этим и уничтожение этой изолированности и даже частичная реакция, восстание против нее являются настолько же более бесконечными, насколько человек более бесконечен, чем гражданин государства, и насколько человеческая жизнь более бесконечна, чем политическая ж и з и ь».

Следовательно, в основе исторических целей пролетариата, а тем самым и в основе гражданственности его поэзии лежит человеческая сущность как истинная общность людей; потому гражданственность поэзии бесконечнее «злобы дня» и поднимается к временам, о которых Роберт Берне сказал:

При всем при том.
При всем при том.
Могу вам предсказать я,
Что будет день,
Когда кругом
Все люди станут братья.

(Перевод С. Маршака.)

И слово «станут» определяет тенденцию, стремление пролетарской гражданственности. Такова гражданственность «Интернационала» Эжена Потье, прозревающего времена, когда «с Интернационалом воспрянет род людской».

Не станет тогда гражданственности в ее нынешнем смысле. Содержание этого понятия претерпит огромные изменения в том грядущем человеческом обществе, в котором не будет классов, государств, государственных границ... Люди соединятся в человеческой сущности как в своей истинной общности.

Человечность, гражданственность подлинной поэзии противостоят сегодня философии отчаяния, так четко выразившей себя, например, в словах Н. Бердяева: «Исторический опыт человека состоит из одних неизменных неудач. Ни один из разработанных им проектов не оказался удачным, ни одна проблема не была разрешена, ни одна цель не была достигнута, ни одна надежда не сбылась».

Каждая строка подлинной поэзии — опровержение отчаяния; поэзия — это въявь сбывающаяся надежда, это возвращение человека к самому себе, это духовно осуществленное будущее, хотя, бывает, мы его и не сразу узнаем.

Каждая строка подлинной поэзии — воплощенная человеческая удача. От финальной строки «Божественной комедии»: «Любовь, что движет солнце и светила» — до пушкинского: «Дар напрасный, дар случайный...» И самые солнечные и самые трагические создания поэзии — это утверждение высокого смысла существования человека и рода человеческого.

Потому каждое живое явление поэзии есть воплощенная ответственность. Перед собой, перед людьми, перед миром. Ответственность — магнит, манящий к себе поэзию. Поэзия влечется к подвигу, отклику, самопожертвованию. Она — к другим, для других, она есть и «я» и «мы» одновременно. Оттого в мире, где человечество расколото гигантскими противоречиями, где идет непрестанная борьба, поэзия с особой силой вовлекается в гражданственные страсти. По определению Вл. Барласа, «гражданственность — вечный искус поэзии». Это — естественное искушение взять на себя ответственность, ввязаться в схватку. Принимая эту чашу, поэзия, в ответ на просьбу дать «чистое» искусство, отвечает:

Терпение!
Терпение!
Сначала исцеление
Бедняги прокаженного,
Сначала превращение
Изгоя окаянного
В наследника законного,
Сначала воскрешение
Неправедно казненного...
(Леонид Мартынов. «Я вас люблю!»)

О поэте-гражданине можно сказать словами Белинского: «У него политика — поэзия, а поэзия — политика, у него жизнь — поэзия, а поэзия — жизнь».

Передовая русская поэзия всегда была тенденциозна: она всегда была с партией народной совести.

Подлинная гражданственность неотрывна от чувства правды. Оттого гражданственность не есть нечто прилаживаемое к таланту, нечто внешнее по отношению к нему, добавляемое извне. Или гражданственность инородна таланту, и тогда она ничтожна, фальшива, неискренна, или она вырастает из самой сердцевины таланта, и тогда она мощна, человечна, прозорлива.

Выполняя свои задачи, гражданственная поэзия декларативно готова забыть о «служении святому искусству» — она служит людям, и ей будто бы «не до вечной красоты». «Умри, мой стих, умри, как рядовой».

С этими словами Маяковского и с его образом «курганов книг, похоронивших стих», перекликается выступление Демьяна Бедного на Первом съезде советских писателей: «Большинство того, что собрано в моих 20 томах, это — разного калибра застывшие осколки, которые когда-то были разрывным снарядом. Осколки застыли, заржавели, может быть, но они честно сделали свое революционное дело и имеют право рассчитывать на революционное уважение».

Суть, конечно, в мощности, человечности, прозорливости таланта, посвятившего себя гражданским целям. От этого зависит, в какой мере строки поэта-гражданина сохранятся, не заржавеют.

«...Некрасов, — ужасался когда-то критик из «Русского вестника», — не брезгает говорить своим «неуклюжим стихом» о неудобствах петербургских мостовых, о целой воде в каналах и о дурном воздухе, каким дышат летом обитатели столицы».

«Грубая» реальность, вторгшаяся в некрасовскую лирику, расширила ее возможности, наполнила мужеством ее гуманизм, позволила вновь решить многие вечные темы. И дала неожиданный художественный эффект.

Велика ответственность поэта-гражданина. Он зовет, он ведет, и он перед совестью своей отвечает за то, что зовет и влечет нас к необманной цели.

Позиция «чистого» искусства, «искусства для искусства» в свое время нашла довольно точное выражение в статье Н. Соловьева «Вопрос об искусстве» («Отечественные записки», 1865, № 7), направленной против Добролюбова. В ней говорится:

«Жажда счастья не может быть насыщена, утолена явлениями действительности...»

И вот человек создает себе особенный мир — поэзию, в которой заключены «все его надежды и утешения, радости и скорби».

Напротив, гражданственная поэзия утверждает, что жажда счастья должна быть утолена явлениями действительности и в самой действительности.

Надо ли доказывать, что гражданственность, как и партийность, — это внутренняя потребность, в которой соединяются совесть и вера, любовь и долг, свобода и приверженность. «Поэтом не быть мне бы, если б не это пел...» — говорит Маяковский. «Да. Так диктует вдохновенье», — убежден Блок.

В разговоре о гражданственности поэзии, состоявшемся на страницах «Дня поэзии» 1967 года, не случайно утвердилось глубокое понимание гражданственности. «...Гражданственность в поэзии есть отнюдь не признак одного или нескольких жанров, а качество поэтического творчества...» (И. Гринберг). «На мой взгляд, гражданские стихи — это те, что воспитывают «чувства добрые». Гражданственна вся поэзия Пушкина, а не только, скажем, «Деревня» или «Во глубине сибирских руд», именуемые почему-то в школьных учебниках «вольнолюбивой лирикой», словно бы остальные его стихи не вольнолюбивые, словно бы Пушкин, когда писал «Деревню», был гражданином, а когда «На холмах Грузии лежит ночная мгла», — переставал им быть. Так не бывает» (Л. Лазарев). «Правильно ли гражданственность втискивать в жанровые рамки? Я считаю, что это элементарное заблуждение. Гражданственность — категория социальная, в ней выражается позиция художника как гражданина, члена общества» (Ал. Михайлов).

Какое же смещение понятий произошло в будничном литературно-критическом обиходе, в школьной практике, если сегодня еще есть необходимость доказывать, что гражданственность — это не стихи на определенные темы, а душевный строй ПОЭЗИИ!

Почти сто лет назад Яков Полонский сказал:

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия.
Не может быть не возмущен,

Когда возмущена стихия.

И ныне русский, советский писатель чувствует себя частью великого океана — России, Родины.

С молоком матери, с первым отеческим словом, с первым снегом и первой травой пробуждается в нас поэзия. Гражданское чувство крепнет с каждым входящим в память близким лицом. С рекой народного языка вливаются в душу источники национального достоинства, политического самосознания и человеческого братства. Гражданственность неотделима от чувства Родины. Испытания укрепляют его. Чем более кровно это чувство и чем более оно сознательно, тем ближе гражданственность к передовым общечеловеческим идеалам.

«Патриотизм, — писал Н. М. Карамзин в 1802 году, — есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения — и потому не все люди имеют его».

Сокровенный смысл гражданственности в том, что считаем мы славой и благом отечества, что считаем мы славой и благом человека.

Гражданственность поистине «требует рассуждения».

Она — большое пониманье
и доблесть высшая она.

стихи

Леонид Завальнюк

*

Забывать про все, стихи писать,
Пасти стада своих оленей
И пальцы легкие бросать
На струны сказочных явлений.
Что мне до жизни бытовой!
Проблемы дня, вопросы пола!..
Что мне поля, завод и школа! —
В себя ушел я с головой.
И что ж нашел я там!
Поля,
Завод какой-то, стон больницы...
Нет, видно, мне не устранишься
От боли века, шевеля
Те струны, что всего дороже
Душе моей, рожденной из земли.
Куруется дымка легкая вдали,
Вот-вот страстей отчалят корабли,
Горит тревожный бакен на мели
И стонет мир от вдохновенной дрожи!

*

Пустой паром пронесит по реке,
Литовки отзвенели на покосе.
Ночь небесам гадает по руке,
И где-то птица голосит по-козьи.

Люблю луга, лепимые луной
Из голубого теста сонной сини.
Когда большая нежность возникает в силе,
Как жажда взрыва в барже наливной.

Люблю холодный свет большой воды.
Когда, волною бакен закрывая.
Как будто клад бесценный зарывая,
Вершит она какие-то труды.

Люблю то чувство одиночества земной.
Когда все страсти дремлют, а свобода,
Как добрый конь с хорошего завода,
В двух метрах позади, дыша, идет за мной.

*

Маркшейдер, словно цапля, длинноног,
На грамотном носу очки поблескивают
люто...
Он без жены приехал к нам,
И дочка Люда
Повсюду бегает за ним, как маленький
щенок.
Мне кажется, что я большой шахтер.
Когда я вижу это кроткое создание.
О, как мне радостно от гордого сознания,
Что я могу легко ее пересадить через
забор!
Мужчина я в свои пятнадцать лет.
И мой дружок, откатчик дядя Вася,
Рубахи для продажи желтой хиной крася.
Дает мне взрослый правильный совет.
Он говорит, что велика страна
И где-нибудь я мог бы приютиться.
Что из меня не выйдет ни рожна,
Коль сей же час не стану я учиться.
Вот взять его. Три класса кончил он.
Пропала жизнь, теперь уж все едино...
О канареечный хининовый бульон!
О дяди Васи серые седины!
Я вагонетки ржавые забыл,
Маркшейдера завидную ученость.
Но не забыть мне тот сердечный пыл,
Пробившийся сквозь жизни обреченность.
...Дымя в ночи, летели поезда.
И на одном из них, дорогам счет
открывший,
В рубахе желтой я сидел на крыше.
И мне светила дальняя звезда.

Ночь

Скатился бубен тишины лесной,
Упала вишня зимнего заката,
И стенами залиловела хата,
Как лиловеют щеки раннею весной.
Высокой прихотливости узор: »
Продернутый морозными шнурами,
Хрустальный город вылеплен на раме
На фоне синих островерхих гор.
Но тыходишь и, дыша в стекло.
Велишь раздаться и растаять горам.
И вновь живая ночь струится черным
взором
И на душе становится светло!

Подранок

Подранок плавал в озере пустом
С крылом, побитым дробью бекасиной.
Горел закат над желтою осиною.
Охотник спал в соломе за кустом.
И лишь собака, словно конь, садясь
И временами хвост лоя от скуки.
Вселенской дисгармонии улавливала звуки,
Небесных сфер оборванную связь.
Подранок плакал в озере пустом.
Была пора перегоранья света.
А в небе самолеты шли крестом,
И кто-то в пестром платье простом,
От солнца заслонясь, на мир смотрел
сквозь это.

С. Гиацинтова,
народная артистка СССР

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВОСПИТАННЫМ?

Воспитанный человек... Если о вас скажут такое, считайте, что удостоились высокой похвалы. К сожалению, в нашей повседневной жизни мы не так уж часто о ком-то столь лестно отзываемся. В свое время некоторые даже считали, что «воспитанность», со всем, что входит в это емкое понятие, вроде бы даже пережиток, условности, отброшенные революцией, как исторический хлам. Право на уважение получило другое понятие: «образованный человек». Считалось, что получивший диплом уже сам по себе человек культурный и воспитанный.

Нет, это не так. Сама жизнь показывает, что образованность еще не предопределяет воспитанности. И сейчас такое время, когда нам, уча и воспитывая нашу молодежь, пора всерьез ставить вопрос и о ее «воспитанности». Мы не только должны гордиться знаниями, культурным уровнем нашего молодого поколения, но быть уверенными, что оно обладает достаточным житейским тактом, умеет вести себя в обществе, вооружено хорошими манерами, которые всегда, в любую эпоху, являются украшением человека, кем бы он ни был. Так что же такое воспитанность? Бывает так: собеседник мой хороший, умный человек

— это я знаю. Но как стена стоит между нами — его неумение общаться. Это как в пьесе — роль содержательная, а форма или банальна, или невыразительна, и образ не получается. Я хочу говорить о форме общения человека с человеком.

«Правда», 25 февраля 1968 года.

Надо ли говорить, с каким вниманием вся планета смотрит на советского человека. В нем видят представителя нового мира. Отсюда особая ответственность его за каждое свое действие, в том числе за поведение в обществе, в быту, в отношениях с людьми.

Воспитанность — это не только хорошие манеры. Это нечто более глубокое и коренное в человеке. Это прежде всего его внутренняя интеллигентность. А внешне она выражается в обаянии. Есть такое довольно расплывчатое, на первый взгляд, понятие — обаяние. Так вот, мы должны быть обаятельными. Обаяние содержит в себе прежде всего уважение к другому. А. П. Чехов писал: «Какое наслаждение уважать людей». Но чтобы испытывать это наслаждение, надо уметь уважать. Быть воспитанным и обаятельным — значит быть внимательным к другому, деликатным, тактичным, скромным. Это превосходные качества, и если они присущи кому-то в старших поколениях, так пусть молодые, как дорогое наследие, берут эти качества себе и развивают и делают их своими.

Мне представляется эталоном таких качеств артист Художественного театра Василий Иванович Качалов. По улице шел он — и то залюбуешься. И скромно, и празднично. Он понимал, что люди смотрят на него, что он им дает радость, и шел, неся это обязательство свое — не разочаровать людей будничностью, отчужденностью, невниманием к ним. Он непременно запоминал все имена и отчества людей, с которыми встречался. Он органически уважал людей и всегда интересовался ими. При нем каждая женщина чувствовала себя привлекательной, существом нежным, достойным заботы. Мужчины чувствовали себя умными и очень Качалову нужными в данный момент. Василий Иванович как бы «впитывал» в себя чужие жизни, лица, характеры, и был он среди людей как праздник, как человеческая красота и благородство.

Да, я думаю, что основное в его обаянии было — уважение к людям. Можно ли это в себе воспитать? Не талант ли это? Наверное, в какой-то мере талант. Но он может проявиться в каждом, в той или иной степени, если, конечно, захотеть отыскать и утвердить его в себе самом, в других. А утверждать мы обязаны. И прежде всего в молодых поколениях.

Однажды на улице девочка лет восьми толкнула меня локтем, наступила на ногу и спокойно пошла дальше. Я сказала: «Почему ты не извинилась?» Мать набросилась на меня: «Вы что, моей девочке делаете замечания? Подумаешь, неженка какая!» Девочка была матерью оправдана. Любовь материнская оказалась неразумной. Девочка ушла, сияя от своей победы. А я подумала с горечью: милая на вид девчурка, а вырастет невоспитанной. Высокое образование может получить, а подлинной интеллигентности в ней не будет. И все потому, что не воспитывается с детства. А виноваты в этом прежде всего родители. Ведь на них-то главная ответственность за то, каким будет человек.

Как-то я прочла такой рассказ. В Париже в Лувр по утрам приходили бездомные и нищие, становились к отоплению, отогревались. Стояла так старушка. Рядом художница работала над копией. Художница вдруг встала, принесла стул и поставила его старушке. Та низко-низко поклонилась и села. Эту сцену наблюдала женщина с мальчиком. Мать что-то шепнула сынишке. Он подошел к художнице и сказал: «Мерси, мадам». И со счастливым лицом вернулся к матери.

Меня увлекло в этом рассказе все — и поведение художницы, и умное воспитание матери, и счастье мальчика от своего участия в красивом человеческом внимании, счастье от своей общности с хорошими людьми. Приходить на помощь человеку — это великодушие, это подлинное благородство.

Эти качества мы должны вносить в нашу обыденную жизнь. Тут не нужно высоких слов. Мужчина, пусть он уступит место в автобусе женщине, особенно пожилой. Это должно быть естественно и привычно. Этого требуют законы элементарной порядочности. И вовсе нет причин умиляться подобным проявлениям обычной порядочности, как это мы порой делаем. Однажды у входной двери в наш театр я столкнулась с незнакомым молодым человеком. Я на минуту задержалась: пусть уж проходит первым. А он остановился, отступил, открыл передо мной дверь и сказал: «Пожалуйста». Боже ты мой! Как я его благодарила! А из-за чего? Ведь это самое минимальное, естественное внимание к женщине, да еще старшей. Вежливость самая простая. Конечно, она ценится. «Ничто не ценится так дорого и ничто не обходится нам так дешево, как вежливость», — говорил Сервантес. И еще доброе слово, сказанное людям. Почаще бы нам говорить друг другу такие слова! Короткое «спасибо» имеет волшебную силу объединять людей, пробуждать в них доброту.

Однажды мы ждали такси. Впереди двое молодых людей, за ними женщина, не старая, не молодая. Видимо, все они стояли давно и очень замерзли. Подошла машина. Молодые люди, не сговариваясь, повернулись к женщине. «Садитесь, — сказал один из них. — Мы видим, вы очень замерзли». Женщина благодарно приняла в дар машину. «Спасибо вам», — сказала просто и сердечно. Коротенькая благодарность, но как возвысились в собственных глазах эта юноши и вместе с ними все мы. Очередь стала доброй-доброй и очень терпеливой. Общее «спасибо» как по волшебству объединило людей. Это мелочи? Нет. Это радость жизни. Это веселый день.

Меня всегда оскорбляет в людях цинизм, особенно в молодых людях. Некоторые считают, что быть циником — значит выглядеть умным и современным — все отрицать, надо всем подсмеиваться. При таком отношении к жизни нет необходимости утруждать себя мыслями. Не созидать, а разрушать, не уважать, а унижать и ни за что не чувствовать ответственности. Я считаю цинизм глубоким проявлением невоспитанности, отсутствием подлинной внутренней культуры, неуважением к людям и к обществу. Это опасная болезнь. Она, мне думается, порождение социальных условий и нравов капиталистического Запада.

Формировать в людях воспитанность нужно прежде всего через уважение к труду, к делу, которому посвятил себя. Дидро говорил, что недостаточно делать добро, надо еще делать его хорошо. В юности я однажды сама подверглась такому воспитанию. Я только что поступила в Художественный театр. Шагаю по коридору, а навстречу мне Константин Сергеевич Станиславский. Я впервые увидела его так близко. Идет могучий и красивый. Смотрит на меня с высоты своего роста. Сердце мое замирает от восторга и волнения. И вдруг вся его могучая фигура становится на цыпочки и легко-легко, бесшумно движется. «Вы умеете ходить по театру?» — спрашивает. И, не дожидаясь ответа, объясняет: «Вы сейчас проходите мимо сцены. А там, может быть, репетиция. Значит, надо ходить очень-очень тихо». Не столько его слова, сколько легкая, осторожная походка оставили в моей памяти отметку на всю жизнь. Вот что значит уметь воспитывать других собственным примером!

Жизнь дает немало поводов к раздражению по пустякам. Ничего не стоит обидеть человека в автобусной толкучке, в очереди в магазине... Если не сдержался, по ничтожному поводу задел обидным словом человека — значит унизил не только его, но прежде всего самого себя, что-то потерял в себе, стал беднее. В Москве работа телефонной сети оставляет желать много лучшего. Порой правильно наберешь номер, а попадаешь совсем не туда, куда нужно. И вдруг тебе раздраженно: «Набирайте правильно! Не мешайте работать». И как приятно бывает, когда на другом конце провода неизвестный тебе человек, которого, наверное, никогда в жизни не встретишь, скажет мягко и вежливо, что вы ошиблись номером. Телефонное недоразумение, а человек в нем не уронил своего человеческого достоинства.

Бывает так — все люди вокруг умные, симпатичные, хорошие, друг друга знающие. Собрались дружески поговорить, а разговора не получается. Говорят все разом. Шумно и с увлечением. Каждый о своем и совсем не слушает собеседника. Каждый исключает каждого.

И вянет беседа. И уже нет того благодатного общения, которое так обогащает. Быть в каком-нибудь обществе — это не значит собраться в кучу. Это значит встретиться с людьми и воспринимать их мысли, их характеры, их поведение. Встретиться с личностью — значит понять ее, обогатить себя. Уметь разговаривать — это значит уважать собеседника. «Не следует завладевать разговором, как вотчиной, из которой имеешь право выжить другого»,— говорил Цицерон.

Бывает, что мы не спорим, а навязываем свое мнение упорно, даже грубо, совершенно не интересуясь возражением. В. И. Ленин даже со своими идейными противниками спорил, выслушивая и убеждая, а не навязывая своего мнения. Он говорил: надо выслушать и другую сторону. Это культура взаимоотношения.

Мы порой не обращаем внимания не только на то, что мы говорим, но и как мы говорим. Торопимся, даже слов не договариваем. Не всегда умеем еще гордиться своим языком, а ведь язык наш удивительно красивый. К сожалению, в нашем языке много вульгарности, уличности и даже грубости.

Бывает, что вышестоящий по должности считает допустимым нижестоящему говорить «ты», а в ответ получать уважительное «вы». Это унижительно и недостойно нашего времени. Это — горькое эхо старорежимных канцелярий и казенных приказов. Подлинная воспитанность и культура не могут сочетаться с барским высокомерием, основанным на табели о рангах.

Содержание неотделимо от формы. Воспитанного человека нетрудно распознать с первого взгляда. Облик его говорит сам за себя. Он не теряется в незнакомом обществе. Умеет сидеть за столом, красиво и аккуратно есть. Не будет разговаривать с женщиной, держа руки в карманах или папироску во рту. Он не забудет снять головной убор, когда входит в помещение или когда слышит на торжественной церемонии исполнение Государственного гимна. Он разрешит неожиданный житейский конфликт скорее юмором, чем досадой. Во всей своем поведении он естествен и прост.

Иногда на сцене пытаются изобразить общество экстравоспитанных людей. Актеры и актрисы манерно держат руки, манерно ходят, манерно говорят. И эта мещанская изломанность выдается за высший класс поведения. А подлинный «высший класс» воспитанности — это простота, естественность и непринужденность.

Мы не имеем права в культуре общественного поведения чем-то уступать другим. Не только глубокая коммунистическая идейность, знания, не только высокие моральные качества, но и культура поведения советского человека должны быть на уровне того прогресса, который несет в себе наше социалистическое общество, устремленное к коммунизму.

Я уверена, что в наших школах необходимо ввести особый предмет по культуре поведения в обществе. Ведь всерьез мы до сих пор этой очень важной проблемой не занимаемся. Как будут благодарны сотни тысяч молодых людей, если, положим, издательство «Молодая гвардия» выпустит большим тиражом хорошую, умную книжку, которая раскроет перед юными читателями основные особенности современного этикета, научит их правильно, красиво, достойно представлять себя среди людей. Такая книга могла бы стать хорошим учебным пособием для классных руководителей в школах, пионерских вожатых, воспитателей в молодежных общежитиях.

Быть среди людей Человеком — великое счастье. Пусть испытают это счастье все.

К НАШЕЙ В КЛАДКЕ

Юрий Пименов,
лауреат Ленинской премии.

ИСКУССТВО ШМАРИНОВА

Очень давно, еще почти мальчишкой, я любил ходить по букинистическим лавкам, которые в большом количестве располагались по нижним этажам домов на Волхонке и Моховой. Я хотел тогда поступить во ВХУТЕМАС, и все, связанное с искусством и литературой, завораживало меня необыкновенно.

Там, среди книг разной специальности и разной растрепанности, были полки, где стояли книги по искусству и хорошо изданные иллюстрированные альбомы. Эти полки вызывали у меня чувство волнения и влюбленности, которое я до сих пор не могу забыть, а ощущение того, как берешь и раскрываешь такую книгу, я чувствую до сих пор почти физически.

Медный Всадник Александра Бенуа, страшно появляющийся из-за дома и наплывающий своей громадой на пустынную булыжную улицу, — этот поразительный всадник навсегда соединился для меня с поэзией Пушкина.

Потом всю жизнь я встречал прекрасные книги, — они выставлялись в больших магазинах отдельно, особо как явная драгоценность, они хранились дома у библиофилов и, конечно, никому не давались навывнос, они, эти книги, демонстрировались на выставках как произведения большого искусства.

Я не стал библиофилом, и мне не удалось самому стать иллюстратором, хотя одно время мне этого очень хотелось. У меня появились совсем другие художественные страсти, но навсегда остались искренняя любовь и большое уважение к книге, где литература и искусство соединились в нечто настоящее и высокое.

В 1936 году на выставке появились иллюстрации Д. Шмаринова к роману Достоевского «Преступление и наказание», сделанные хорошо, я бы сказал, великолепно.

Шмаринов стал потом знаменитым иллюстратором и сделал много превосходных книг. Он никогда не берет случайную и незначительную литературу — он берется за трудное дело иллюстрирования литературы великой и, надо сказать, делает это по-настоящему. »

Вернемся к «Преступлению и наказанию». Душный, острый и сложный мир Достоевского: «...жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, — все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши». И Шмаринов без нажима раскрывает в мягких и тонких рисунках и эту отчаянную пыльную питерскую жару, и расстроенные нервы юноши, доведенного до крайней черты жизни, и печаль и красоту этих маленьких несчастных людей, прекрасный и страшный город. Как Достоевский, он становится и пейзажистом, и портретистом, и мастером интерьера, а главное, мастером души. Портреты старухи ростовщицы, Раскольникова и Сони — особенно Сони — это сильно сделанные вещи, в которых показано и большое знание жизни художником и его умение войти в мир литературы. Позднее это качество скажется в такой замечательной работе, как портрет трагической Наташи «Войны и мира». «Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она. Это только воспоминание того...» — слова Толстого выражены у Шмаринова с большой человечностью.

Герои иллюстраций Шмаринова не актеры, одетые в старинные костюмы, — это те же живые люди большой литературы, характеры которых мы узнаем среди знакомых, встречаем на улицах, любим или ненавидим.

Эта отраженность художественного образа в живой реальности является большой силой Шмаринова и делает его иллюстрации человечными и современными.

Вероятно, у Шмаринова, как, по-моему, и у всякого увлеченного жизнью художника, есть свои любимые типы людей, которые он вводит в свое искусство. Это не мешает художнику быть разнообразным в характере и пластике, но создает свой особый художественный мир.

«Преступление и наказание», «Война и мир», «Ге-Йой нашего времени», «Петр Первый», «Ромео и Джульетта», «Тарас Бульба» ставят перед художником разные, сложные задачи, и он решает их всегда содержательно и интересно.

С большим мастерством Шмаринов пользуется и силой рисунка и нежностью рисунка. Он рисует грозные батальные сцены, семейные жанры, русских партизан Отечественной войны и страшные, жестокие картины другой войны, Великой.

И дальше — лиричность русской природы и доверчивая нежность Джульетты, молодость царя Петра, утренние окраины Саардама, дым коромыслом на петровских ассамблеях, острые шпаги Вероны, гром металла Тарасовых битв.

Шмаринов много делал и делает «интересного: кроме труднейших по задачам иллюстративных работ, в его художественной биографии есть и сильные плакаты, и большие панно, и станковая живопись, и страстная серия рисунков «Не забудем, не простим».

Кроме того, Шмаринов работает в трудной и ответственной общественной области искусства, где он остается таким же талантливым и честным. Он председатель МОССХа, большой московской организации художников, куда входит столько разных и интересных мастеров и куда вливается все больше и больше талантливой молодежи.

В романе Генриха Манна «Зрелые годы короля Генриха IV» сказано: «...до конца дней предстоит ему жить у себя в доме среди... беспокойства и веселой работы».

Дементию Алексеичу Шмаринову еще много лет предстоит жить в творческом беспокойстве и веселой работе.

ПУБЛИЦИСТИКА

Елена Брускова

706-я И ЕЕ ДИРЕКТОР

Когда Александр Иванович Серов, директор 706-й школы, уговаривал меня писать не о нем, а о школе, в этом не было излишней скромности. Было естественное желание рассказать о деле своей жизни, которое, конечно же, кажется ему значительнее, чем собственная жизнь.

Но я пишу все-таки об Александре Ивановиче, и вот почему. Мне часто приходилось встречать школы, известные и знаменитые чем-то определенным: кружковой или спортивной работой, своим лагерем или своими кабинетами, новыми методами преподавания. В 706-й есть все это. Здесь есть клуб интернациональной дружбы, есть историческое общество, занимающееся историей народного ополчения Ленинградского района, есть свой спортивный лагерь, баскетболисты школы держат первенство по Москве. Программированное обучение, уроки по телевидению, включенные в учебный план, фонотека и диатека, прекрасный лингафонный кабинет, прямая и обратная радиосвязь с каждым классом и кабинетом. Здесь преподают не просто хорошие учителя, но маги и волшебники от педагогики. И совсем не случайно, что один учитель уже защитил кандидатскую диссертацию, а четверо других вот-вот защитят.

Можно подобрать в театр талантливых актеров, но без режиссера, который думает о том, как лучше и ярче проявить каждый талант и каждую индивидуальность, не будет коллектива, а следовательно, не будет и театра.

Мне кажется, что и хорошего педагогического коллектива без думающего, умного, ищущего директора быть не может.

А теперь мне хочется рассказать, как я познакомилась с Александром Ивановичем. Это было давно, тринадцать лет назад. Я преподавала литературу в московской школе, и, как у всякого учителя, у меня были свои радости и огорчения. Например, мой ученик Юра Кулик — и радость и огорчение одновременно. Он мыслит интересно и своеобразно, но, бог

мой, что он писал в своих сочинениях! Он утверждал, что Маяковский — блестящий агитатор, но плохой поэт, он считал Веру Павловну истеричкой, а Наташу Ростову «сентиментальной мещанкой». И на экзамене в 9-м классе он отличился. Все, как дважды два, доказали, что Молчалиных в наше время нет и быть не может, а Юра написал, что Молчалины — это вневременное и внеисторическое понятие и что быть Молчалиным, бесспорно, плохо, но жить таким людям легче и спокойнее как в грибоедовское, так и в наше время.

Сочинение было написано безукоризненным языком, с прекрасным знанием грибоедовского текста. Я выправила слово «отнесено», написанное через два «н», и поставила четверку.

На следующий день разразился скандал. Директор считала, что сочинение оценено неправильно. Нельзя за враждебные (она так и сказала: враждебные) мысли ставить положительную оценку. Я же отказывалась подписать экзаменационный лист, если оценка будет изменена. Когда директор предложила взять сочинение и отнести его в роно. Методиста по литературе не оказалось, мы попали к заведующему — Александру Ивановичу Серову.

Пока он читал сочинение, я подбирала аргументы, готовясь к сражению...

Заведующий прочел сочинение два раза, посмотрел на меня, на директора и сказал:

— Ну, что ж, четверка поставлена правильно. Ведь мы не можем ставить плохую отметку человеку только за то, что он думает иначе, чем мы. Мы должны научить его думать правильно. Не правда ли, Мария Ивановна? — спросил он у моего директора, и губы его тронула хитрая, почти мальчишечья улыбка.

Мария Ивановна тут же закивала. Ну, конечно же, правильно...

У каждого человека есть своя мечта. Но, наверное, настоящих людей то и отличает, что они этой мечты добиваются. Александр Иванович стал директором очень рано, в двадцать один год. Он был студентом педагогического института, когда раздался призыв партии: «Добровольцы — на Дальний Восток!». И на комсомольском собрании, где зачитывалось это обращение, первым встал Саша Серов.

В затерянной среди голубых сопок школе появился почти неприлично молодой директор. И вел он себя соответственно возрасту — несолидно. Играл с ребятами в волейбол и лапту. Они ходили за ним табуном, потому что видели в нем то главное, что должно отличать каждого настоящего педагога. Он не наказывал, а огорчался, не приказывал, а убеждал. Тогда это было еще просто интуицией. Потом стало его педагогическим кредо.

После дальневосточной школы Александр Иванович твердо решил: работать будет только с ребятами. И на фронте так думал, когда командовал противотанковой батареей, и когда был заведующим роно, в школу рвался, и секретарем райкома партии согласился стать только на недолгое время.

Вот уже семь лет Александр Иванович — директор 706-й школы. Теперь у нее есть своя слава, свой прекрасный педагогический коллектив, и свой стиль, и свой почерк работы. И я не ошибусь, если скажу, что это стиль и почерк самого Александра Ивановича.

Мне не раз приходилось встречать педагогов, которые, сетуя на «трудных», «неисправимых» ребят, считают, что панацея от всех бед в строгости, что если бы школам разрешили исключать провинившихся, все было бы проще.

В 706-й школе за последние шесть лет не был исключен ни один человек, а удалять учеников с уроков директор строго-настрога запретил. На одном из заседаний педсовета Александр Иванович так и сказал:

— Исключение из школы — это абсурд, это, простите меня, педагогическое бессилие. Педагогика — искусство влияния на человека, а мы отключаем его от этого влияния, предоставляя ребенка влиянию если не вредному, то уж определенно неквалифицированному...

Это было на том педсовете, где разбирался случай с Женей Ивановым. Чего только этот Женя не творил! В шестом классе он на пари прошел по карнизу из окна в окно, в

седьмом намазал доску воском и притащил в школу котенка. Двойки у него чередовались с пятерками, он опаздывал на уроки и пропускал физкультуру. Но не было такого случая, чтобы он соврал, умолчал, скрыл что-нибудь.

В восьмом Женя приутих, в девятом подал заявление в комсомол. Новый состав комитета решил бороться за чистоту рядов комсомола. Жене вспомнили все: котенка, мел, грубость и двойки, которые он по-прежнему «закрывал» пятерками.

Когда Жене сказали, что в комсомол его не примут, он не дослушал до конца очередной нотации, которую ему кто-то читал, повернулся и, хлопнув дверью так, что на потолке закачалась лампа, вышел из комнаты.

Ребята возмутились, классный руководитель тоже. Он решил снизить Жене отметку за поведение в четверти.

Александр Иванович вынес этот вопрос на педсовет. Он считал, что отметка за поведение снижена неправильно. Классный руководитель, в принципе человек милый и добрый, упорствовал.

— Ну, конечно же, мы должны сказать Жене, что не дело — хлопнуть дверью и уходить, не попрощавшись. Но вы-то сами как считаете, ребята правы, что не приняли его в комсомол? — спрашивал директор.

— Нет, неправы, — отвечал классный руководитель.

— Значит, мог он обидеться? А ведь вы сами знаете, Женя вспыльчив. Значит, это могло быть не хамство, а чувство досады, нелепо, по-мальчишески проявленное. Вы-то сами могли бы в такой ситуации дверью хлопнуть?

— Мог бы, — ответил, подумав классный руководитель.

На этом вопрос о снижении оценки за поведение был закрыт.

Наверное, это и есть самое ценное в настоящем воспитателе — желание увидеть в любом проступке или поступке не хулиганские, а простые человеческие, ребячьи, может быть, не всегда правильные, но вполне объяснимые, правомерные мотивы. И тогда становится ясно, что хамство вызвано легкоранимым самолюбием, а грубость — неумением защитить свою позицию, и плохие отметки могут оказаться не виной, а бедой. И тогда не нужны проработки при всем классе, а нужно просто поговорить с глазу на глаз в директорском кабинете.

Серов считает, что человек не всегда становится лучше, если его проступки выставлены на всеобщее обозрение; прежде всего в человеке надо воспитывать чувство человеческого достоинства...

А его не воспитаешь проработками, выговорами и запрещением иметь собственное мнение. Его воспитаешь, если, как в 706-й школе, педагог видит в любом ученике личность, со своим характером, иногда со своими странностями, не влезаящими в рамки общепринятых правил.

Наверное, в каждой педагогической системе есть свои издержки. Александр Иванович считает: если ученик сказал, что у него голова болела, поэтому и урок не выучил, — его не стоит проверять и требовать записки от родителей: это унижает чувство человеческого достоинства. Наверное, Александра Ивановича в этих случаях нет-нет да и обманывают. Но я видела школы, где тщательно разработана система наказаний, где ребят за малейшую провинность отчитывают перед строем, записывают в дневники и вызывают родителей, а нарушения не прекращаются. А вот в 706-й не встретишь бессмысленного хулиганства, драк, разбитых окон, сломанных стульев и забрызганных чернилами парт.

— В подавляющем большинстве ребята добры, честны и порядочны, — говорит Александр Иванович. — И на доброе отношение они отвечают только добром.

Мне вспоминается, как мы шли по школе с директором. Урок уже начался, а нам навстречу бежали двое: девочка и мальчик. И Александр Иванович не разговаривал с ними как с потенциальными нарушителями и лентяями, как порой с ребятами разговаривают в школе, а спокойно и вежливо спросил: что случилось, почему они не на уроке?

Директор 706-й школы не признает «вето» на каблуки, прически, длину юбок и чулки. Тем не менее эта школа не стала средоточием длинноволосых мальчиков и накрашенных девочек. Александр Иванович понимает, что, сказав «нельзя», воспитатель облегчает свою жизнь, искусственно удаляя из нее зло, с которым надо бороться, но отнюдь не искореняя плохой вкус и дурные привычки.

На питомцев школы пытаются влиять, делая это тактично и уважительно.

Одна из десятиклассниц пришла в школу в ярко-сиреневых чулках в цветочек.

— Милая, — сказал ей Александр Иванович, отведя в сторону, — у каждой девушки должны быть маленькие радости. Если ты будешь носить эти чулки каждый день в школу, что же ты наденешь на праздничный вечер?

— Знаешь, — сказал он другой, — мне просто жаль, что твой красивый греческий профиль портят взбитые волосы. Мне кажется, твое лицо требует ясности и простоты...

И все. Никаких нотаций и раздраженного тона, вызывающих чувство протеста. Никто никому не говорит, что он дурен, плохо воспитан, некрасиво одет.

— В конце концов, — сказал Александр Иванович, провожая взглядом девочку с отнюдь не красящей ее прической, — важно, чтобы она сама чувствовала себя красивой. Самое главное — воспитать в человеке уверенность в себе.

И в этой фразе тоже заложен глубокий смысл. Стиль руководства Александра Ивановича Серова бесконечно прост и тысячу раз проверен. Все руководители теоретически знают, как им надо пользоваться. Но, увы, на практике смысл справедливых претензий нередко тонет в крике, в нервном тоне, в бестактной форме замечаний.

Александр Иванович Серов никогда не делает выговоров учителям в присутствии их коллег. Впрочем, здесь слово «выговор» неточно. Это, как мне рассказывали учителя, спокойный и тактичный разговор старшего товарища.

Когда директор недоволен и вынужден делать замечания учителям, он говорит им обычно, что спрашивает вдвойне, ибо имеет дело с педагогом способным, незаурядным. И ведь ничто так не ободряет и не окрыляет человека, как вера в него, в его силы и способности.

Когда на заседании комитета, во время приема в комсомол, взволнованная семиклассница долго не могла ответить, но наконец ответила на несложный вопрос, член комитета Ира Филимонова сказала:

— Умница, вот умница!

И девочка приободрилась и на все остальные вопросы отвечала спокойно и разумно. Когда же один из комсоргов никак не мог найти нужные слова о своем однокласснике и сказал, что он хороший друг и товарищ, и смутился, секретарь комитета комсомола Саша Липкин заметил:

— Ну, это уже много!

И комсорг вдруг нашел все слова и произнес восторженную речь.

Конечно, в своей изысканной вежливости ребята где-то копируют Александра Ивановича. «Я вынужден сделать вам замечание, я, кажется, кого-то перебил, прошу прощения». А Саша Липкин всем вступающим в комсомол говорил «вы» — для торжественности, как он потом объяснил. Но как хорошо, что копируется не только внешняя вежливая форма — это легко, — а самая суть заинтересованного, благожелательного отношения к своему товарищу.

И я почувствовала, как стиль жизни учительского коллектива действительно становится стилем жизни ученического. Я поняла, что атмосфера доброжелательности и тактичности — это атмосфера не только учительской, но и всей школы в целом.

В этой школе я почувствовала то, что обычно отличает хорошие, дружные семьи. Здесь дети растут спокойными, добрыми и вежливыми. Герцен сказал однажды: «Убеждение внушается теорией, поведение практикуется примерами».

Александр Иванович Серов считает: нет учительского авторитета, который должен быть непререкаем и непоколебим и который выдается вместе с институтским дипломом.

Есть обычный авторитет человека, складывающийся из его истинных достоинств и недостатков.

У Александра Ивановича Серова есть счастливое свойство: он не обижается на критику, внимательно прислушивается к аргументированным возражениям и готов отказаться от своих собственных рекомендаций, если жизнь доказала их негодность. Умение быть гибким, терпимым и мудрым — это, наверное, то, без чего не может быть настоящего воспитателя.

У каждого учителя, не один десяток лет проработавшего в школе, есть свои педагогические приемы, которые действуют безошибочно. Есть они и у Александра Ивановича Серова. Когда однажды классный руководитель 5-го класса пожаловался ему, что ребята отказываются работать на школьном участке, Александр Иванович пришел в класс и сказал:

— Давайте с вами сразу договоримся. Кому особенно работать неохота, кто вообще работать не любит, пусть идет домой. А остальные останутся и выполняют задание.

Обычно в таких случаях ребята молчали, потупя головы, а потом дружно шли работать. Но, наверное, педагогическая работа тем и трудна и одновременно интересна, что готовых рецептов на все случаи жизни не напасешься.

Александр Иванович уже хотел было сказать: «Ну и прекрасно. Я так и знал, что у вас в классе таких не окажется», — как вперед выступила староста, посмотрела на директора, как ему показалось, виновато и смущенно, но к двери пошла решительно. А за ней потянулись все, и через минуту-другую в пустом классе остались двое: директор и классный руководитель.

— Я же вам говорил, что безобразный класс, — произнес классный руководитель. — И за этот поступок их надо наказывать.

— Нельзя наказывать за поступок, не узнав его мотивов, — сказал директор.

Он раскрыл дверь в коридор. Ребята не ушли домой, они стояли в коридоре, явно ожидая, как события будут развиваться дальше. Александр Иванович сел за учительский стол, и ребята, не говоря ни слова, вошли в класс. Сначала староста, а за ней все остальные. Директор молчал, вопросительно глядя на них. И староста, худенькая девочка с толстыми косами, поняла и ответила:

— Мы вам все объясним, но только не сейчас... — Потом она, вдруг решившись, добавила, что говорить они хотели бы не при классном руководителе.

Теперь уже классный руководитель вопросительно посмотрел на директора: «Выходить?» Директор кивнул головой: «Выходить».

В истории 706-й школы это был единственный случай. Учитель, пришедший сюда год назад, оказалось, попал в педагоги случайно. Он кричал на ребят по поводу и без повода, а когда ребята, оскорбленные каким-то его замечанием, сказали, что работать на пришкольный участок не пойдут, он дал одному из «зачинщиков» подзатыльник.

Александр Иванович вызвал учителя в свой кабинет.

— Но вы же видели, — начал объяснять учитель, — как нагло себя вели ребята. Если они потребовали, чтобы я ушел...

— Вы считаете это наглостью, — прервал его директор, — а мне кажется, ребята не позволяют себя оскорблять и не хотят говорить в присутствии человека, который их не уважает...

Через месяц этот учитель из школы ушел.

И еще один случай вспоминается мне. В школе ввели единые педагогические требования. Одно из правил: ученики во время перемены должны ходить по коридору, держась правой стороны.

Через несколько дней после этого нововведения эстрадный театр показал свою новую программу. Кстати, несколько слов о школьном эстрадном театре, руководимом учителем физики Н. Б. Кофманом. На мой взгляд, это нечто большее, чем просто талантливый театральный коллектив. Здесь тексты (остроумнейшие!) пишут сами ученики, песни — сами,

даже музыку — сами. Здесь каждый школьный вечер с новой программой — это праздник и для учителей и для учеников. Здесь не боятся сатиры, — в этом тоже гордость и сила 706-й школы. Допустить эстрадное представление, где в очень мягкой и тактичной форме (как все, что делается в школе) появляются абстрактные учителя, в которых конкретные могут найти и свои черты тоже, — такое может допустить только сильный и умный педагогический коллектив.

Так вот, в программе школьного эстрадного театра была такая сценка. Самые высокорослые десятиклассники, взявшись за ручки, ходили парами по правой стороне и вели разговоры о том, что мыть уши хорошо, а носить мятые брюки плохо. В стороне, с журналом в руках, за ними наблюдала «учительница». Время от времени она делала пометки. Директор, сидя в зале, хохотал до слез: «Вот разбойники!..»

Великие идеи и благородные цели сами по себе не воспитывают. Мы можем тысячу раз повторять, как надо жить, но если мы сами так не живем, наши декларации вызовут только неверие, разрушат самые святые чувства.

Почему-то мне раньше всегда казалось, что трудные тридцатые годы должны были наложить отпечаток на людей, в эти годы формировавшихся. Комсомольцы тридцатых годов казались мне людьми мужественными, но суровыми, далекими от каких-либо эмоций. Знакомство с Александром Ивановичем Серовым, который вступил в комсомол в тридцатых и по призыву партии на Дальний Восток тоже приехал в тридцатых, доказало мне, что я была в плену очередного трафарета. Трудные годы, они, наверное, скорее, чем легкие (впрочем, бывают ли они, легкие годы?!), учат сердечности, вниманию к человеку, умению, не жалея себя, отдавать лучшее тем, кто рядом, умению видеть в людях прежде всего лучшее.

Однажды при мне в кабинете директора шел спор, надо ли воспитывать в ребятах здоровый скептицизм, не рисует ли школа учащимся их будущую самостоятельную жизнь чрезмерно идеальной.

Кто-то заметил:

— За нынешних ребят бояться нечего. Они знают жизнь не хуже нас с вами. Я бы сказал, они знают ее лучше, чем это требуется в их годы.

— Разрешите мне с вами не согласиться, — вступил в спор Александр Иванович. — Я вижу в вашей мысли отголосок знаменитого «ребята стали хуже». Ребята стали сложнее, они больше знают, но они и умнее стали, и глубже, и интереснее... Следовательно, и работать с ними надо умнее, глубже, интереснее.

При всем уважении к необычайно интересным людям, работающим в 706-й, я думаю, эта школа без Александра Ивановича Серова не была бы тем, чем она стала. Впрочем, в этом убеждении я не одинока. Однажды в школе какой-то социолог проводил анкету. В числе вопросов был и такой: «Отличается ли твоя школа от школ, в которых учатся твои товарищи? Если да, то чем?» Один из десятиклассников так ответил на этот вопрос: «Мне кажется, что я учусь в лучшей школе мира. Рыба тухнет с головы. У нас хорошая школа, потому что у нас лучший директор».

Когда ближе познакомишься с Александром Ивановичем, понимаешь, почему первого сентября в школу бегут бывшие выпускники... и на любом школьном вечере их добрая половина, и на выпускном, последнем, их было очень много, и они вместе с сегодняшними выпускниками слушали то, что говорил им Александр Иванович...

— Сегодня вы получаете свидетельства вашей зрелости. Этот выпуск для нас не первый. У каждого учителя, сидящего» здесь, их было очень много. И каждый по-своему хорош. Каждый имеет свой оттенок, свой характер, свою прелесть, если хотите. И в этот вечер хочется сказать что-то особенное, чтобы вы почувствовали и нашу привязанность к вам и нашу любовь. Мы думаем, мы смеем надеяться, что мы в школе дали вам крылья. Мы вам желаем счастья, высокого и дальнего полета. Мы желаем, чтобы вы были людьми, добрыми и вместе с тем, когда надо, беспощадными. Я надеюсь, я хочу, чтобы у вас в жизни мало было моментов, когда надо быть беспощадными. Но если они будут, надо уметь быть

беспощадным. Мы надеемся, что вы будете людьми очень далекими от равнодушия, людьми, которых все касается. Нам хочется, чтобы вы умели свободно мыслить и чтобы чувствовали не только умом, но и сердцем. Найдите свое место в жизни и сумейте быть полезными.

Юрий Скоп

Страсти о пустом патронташе

(Из цикла «Открытки с тропы»)

Не умею молиться, потому что не знаю молитв. Умею стрелять, но уже, по всей вероятности, никогда не стану охотником. И тем не менее однажды пусть даже не до конца осознанное таинство выстрела и почти случайное соприкосновение с неизъяснимым миром древних охотничьих наговоров и молитв особой своей властью возвращают меня в ту реальность, что обозначена словами — «сибирский промысел, охотничья тайга, азарт...».

«...Стану я, раб божий, благословясь, и пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из ворот в ворота, в святое чистое поле и под восток и восточную сторону, выйду на океан-море. На святом океан-море есть святой Белый остров, на том святом Белом острове стоит храм господен, в этом храме есть престол господен, на том престоле сидит мать пресвятая богородица и дева Мария. Приду я, раб божий, поближе и помолюсь, и поклонюсь пониже. Мать пресвятая богородица, посылай-ка своего любимого апостола Михаила-архангела на сивом коне, на черногривом, с тугим луком, по кедровникам, по пихтовникам, по соснякам, по листвягам, по осинникам, по черемушникам и по тоболотникам залучать и загонять рискучих зверей со всех четырех сторон в мои ловушки, в мои постовушки, в плашки пост юшки (кулемки) белку чернохвостую, краснохвостую, бусорылого соболя, черноусого колонка, и в моих ловушках, и в моих постовушках есть живость сладкая — медовая. Окажись моя живость слаще меду и слаще медовой патоки и слаще сладких напитков. В заключение же всего будьте мои слова крепки и крепки. Крепче ножа, крепче камня, крепче шила бергумецкого...».

От этих строк до тех мест, о которых хочу сейчас рассказать, отделяют меня и неизбежное время, и тысячи километров самой разной дороги, и только по памяти можно восстановить дальнюю даль, где под крышей пятьдесят шестой параллели догорают осенние лиственницы, серый мозгляк-туман стоит над Байкалом, в бесконечных калтусах дельты Верхней Ангары и Кичеры шлепают по воде хвостами ондатры, и нервная перелетная птица раскатисто крякает в ветреной мгле.

Но самые характерные звуки здесь в первые месяцы осени — сначала непонятные, как бы придавленные пространством хлопки, будто кто-то без конца и на закатах и на утренних зорях раскупоривает тугие бутылки, — почалась, как говорят, утиная охота, дробь вырывает из ружейных стволов короткие аплодисменты и нет-нет да и рушит в холодную байкальскую рябь недолго пожившую птицу...

Мы огибали на моторке светлую песчаную намытину — каргу и гнали впереди себя штук пять серых уток. Они бежали по воде, стараясь разодрать связь, удерживающую их внизу, крылья работали часто, и казалось, утки несут на себе коромысла, а полета так и не было.

— Хлопунцы,- — сказал парень-охотник. — Незадача... Поздние шибко. Вот ить сентябрь, а крыла нет. Все одно сгибают, хлопунцы-то...

Надолго застряло в памяти видение не могущей оторвать себя от земли хлопунцовой утки, и разные объяснения не помогали: птица должна летать...

А потом, недели через две, когда я возвращался назад, и «Сватош», катер Баргузинского заповедника, убежал, наконец, от девятибалльного шторма и присел на якорь в Чивыркуйском заливе, за Покойниками, у деревушки Катунь, что почти на берегу озера Арангатуй, довелось услышать мне от местных рыбаков и еще одну байку, тесно связанную с судьбой опозднившейся птицы.

— Гошка Черков из Макарина ноне тыщу яиц утячих на Арангатуе по весне собрал и в сельпо принес сдавать. Ушлый черт! И сдал ба, дак вот прихватили. На три сотни новыми оштрафовали. Это обыкновеннейшее дело — яйца дичинные собирать...

Я попытался представить себе птичью драму: Арангатуй — прелестное озеро, вделанное природой в рукоятку полуострова Святой Нос; по весне здесь собираются неисчислимые птичьи базары. Утки, гуси и даже лебеди землятся на воду после дальних своих перелетов, жируют и кладут яйца, ежегодно повторяя то, что завещано им зовом естества. А Гошка Черков собирает из гнезд их надежду на будущее потомство, и птица, поплавав по-своему, теряя время, идет на вторые кладки, и выводит-таки птенцов, и бережет их от луней и лисиц, а когда приходит пора вставать на крыло, так, наверное, и не понимает, почему же крылья изменяют и не имеют сил, чтобы забросить ее к низким осенним облакам...

Прокопченное распятое малого оконца в зимовье плывет и плывет куда-то сквозь светлый туман, привставший с реки. И зимовье плывет куда-то, но так кажется, избушка стоит на месте: это горная речуха скользит вниз, голося на заламах и развешивая пенные кружева на скальных ригелях.

Кому сродни эти зимовья? Кто строил их на гулких берегах?

Озвучить бы извечную немоту черных стен, с которых никогда уже не оборвутся древние смоловые слезы, — наверное, о многом можно было бы услышать...

Пряный угар от свежерубленого елового лапника. Цыганит огонь в печурке — молчание... Здесь, в тайге, оно затвердело от слышанного. Но, может быть, у молчания еще есть и глаза? Тогда...

Сижу за столом грубой, но вечной топоринной работы, и неровная столешница завалена разными по величине мешочками, в которых терпеливо дожидалась этого дня всяческая необходимая для огнестрельного дела смесь: пороха, дробь, пыжи...

Руки все знают сами — от начала и до конца, когда каплет со свечки на готовые уже патроны липкий парафин. А думается о разном, потому как завтра охота, и ружье напоминает о ней со стены туго натянутым треугольником. А после всего вынимается на свет повывавший виды патронташ, и в потертых его гнездах топится то, что завтра, дай бог, принесет удачу.

Мне нравятся эти последние приготовления; лицо напарника внешне не выражает ничего — «так, мол, себе, заделе...», но патронташ, грузнея и грузнея, ползет по столу, и почему-то хочется сравнить его с лотерейным колесом, а патроны — с билетами... Станет фартовым патронташ — черт его знает...

Однажды, роясь в каталогах иркутской библиотеки, я натолкнулся на одну довольно старую печатную работу. 17 ноября 1917 года Д. Нагишкину было предложено председателем бывшего Забайкальского областного земельного комитета гр. Вологодским составить экономический очерк Баргузинской тайги. Сегодня я прочитал его, и запомнились вот такие слова:

«...невольнo приходишь к грустному выводу, что, какими дарами ни снабжай нас природа, мы все будем коснеть в своем равнодушии и не захотим приложить ни энергии, ни средств к использованию этих богатых даров природы...»

Огромн Байкал, державен. И как бы там ни было, трагичен. Может, кому-нибудь слово «трагичен» покажется излишним преувеличением. Может быть... Но то, о чем сейчас хочется рассказать, — крайне своевременно, и до чего же не хочется оставаться в роли хлопунцовой утки и зазря носиться пером по бумаге!..

А суть проблемы, которую попытаюсь более или менее толково изложить, довольно проста: на Байкале (а значит, в Сибири) исчезает охотник, утрачивается исконная, гордая и независимая популяция мудрого и чуткого промысловика, а сам промысел, традиции которого уходят в века, мельчает, и новое поколение сибиряков если не смотрит на ружье как забаву, то делает его равнодушным орудием истребления не так уж и безответного мира природы.

Конечно, мне более по душе писать о своей Сибири словами редкими и оттого как бы святыми: ведь то, что определилось, прослушалось и усмотрелось в тайге, — далось не враз, а спустя кое-что, и тогда только вдруг понял, что ранний речной воздух пахнет шкурой молодой собаки, а тяжелый бурелом в сумрачном урмане вдруг приоткрыл: деревья в тайге повалены крестами, и люди идут по крестам...

Но сейчас хочется вести разговор деловой, и да простит мне читатель отдельную сухость повествования. Она неизбежна, хотя, возможно, автор заранее расписывается в некоторой беспомощности. И тем не менее, читатель, дослушай, пожалуйста, рассказ до конца, так надо, а время у нас еще будет, и мы вместе узнаем, как плачут в гольцах, замерзая, озера, а письма приходят в тайгу, пропахшие спинами уставших лошадей...

У Даля: «В Сибири бабы коромыслами соболей бьют...»

У Александра Черкасова — автора замечательных «Записок охотника Восточной Сибири», впервые изданных в 1867 году: «...Правду говорят здешние промышленники, что придет скоро время, когда их детям нельзя будет отличить соболиного следа от беличьего...»

Я сибиряк. Я родился всего в нескольких шагах от тайги и, честное слово, только недавно, после того, как много поездил, походил по таежным районам и сам себя попытал в роли егеря, отчетливо почувствовал тот разрыв, ту дистанцию, что отделяет меня от истинного понимания природы, на какое способны коренные байкальские следопыты.

И мне, сибиряку, не раз уже приходилось краснеть за свои неумелые руки, не приученные к тайге глаза и уши, и становилось больно оттого, что так много потеряно из-за существования вышеназванной дистанции.

Это признания городского жителя. А в Нижне-ангарске, самом северном байкальском поселке, своеобразной столице огромного охотничьего края на который падает одна пятая всей добываемой в Бурятии пушнины, приходилось слышать и более горькие откровения от людей, живущих только охотой, только промыслом. Но для начала несколько статистических выкладок. Мне кажется, не стоит пугаться языка цифр: они, цифры, если читать их не только рассудком, но и сердцем, порой говорят лучше самых точных слов.

Северо-Байкальский район — это почти 6 миллионов гектаров охотничьих угодий.

Общее количество охотников в районе, это с колхозниками и любителями; — 271 (данные по переписи 1966 года).

Всего в районе ружей — 580; собак промысловых — 250; капканов — 13 450.

План добычи лесотаежной пушнины 1966/67 года выполнен всего на 40 процентов.

Страна недополучила 70 тысяч рублей, 33 тысячи шкурок ондатры, 1 100 соболей и т. д.

В коопзверопромхозе на сентябрь 1967 года насчитывалось 22 штатных охотника (штат колеблется, но, «самое большее бывает в хозяйстве людей — 40).

Итак, 6 миллионов гектаров драгоценной тайги и 22 человека с ружьем!

Еще раз обращаюсь к «Запискам» Александра Черкасова, потому как он сто лет назад сказал именно те слова, которые хотелось бы употребить и сегодня:

«...леса в Восточной Сибири, относительно зверопромышленности, играют первую роль. Местами они так велики и обширны, что решительно нельзя определить в настоящее время пространства, занимаемые ими, не только положительно, но даже и приблизительно. Разве только деятельное потомство наше неусыпными трудами своими, при значительном населении Сибири, в состоянии будет показать, хотя приблизительно, их громадность...»

Мне знакома угрюмая настороженность пространства по Чае, Маме, Холодной: белые долины, черная тайга и гольцы, ампутированные сверху облачной непроглядью, одинокие зимовья и тишина, редкий-редкий, а от этого по-особому дорогой лай собаки, и следовые кроссворды на зализанном пургой снегу.

Вряд ли стоит говорить о сложностях и тяготах охотничьего промысла в здешних местах. Каждый добытый соболь только неизмеримой частичкой покрывает то, что было перед этим моментом у человека с ружьем: сорванное дыхание, пот, усталость, жажда, равнодушие, одиночество, злость, азарт...

Пять-шесть месяцев оторван охотник от «большой земли», причем оторван полностью, и что с ним происходит, происходило, произойдет сегодня, вчера, завтра, — знает, пожалуй, кроме него самого, лишь то, что люди называют богом.

Уже знаком штат Северо-Байкальского коопзверояромхоза с трагедиями, поздним эхом прикатившимися в Нижне-ангарск из тайги: шатун-медведь задрал охотника, болезнь чуть не оборвала жизнь другого...

Альберт Шарыкин, охотовед, рассказывал, как прошлой зимой ушел он в тайгу, чтобы проверить работу промысловиков на местах. И два месяца бил в гольцах тропу, обойдя только двенадцать человек, а потом, на перевале, шальной верховик сдунул его вниз. Альберт, падая, сломал ребро, но сберег лыжи и после с трудом добрался до жилухи, уже не в силах даже рубить на ночлегах дрова.

Я спрашивал у одного из опытных следопытов — Николая Яковлевича Воропаева, второй десяток лет промышляющего в прибайкальских просторах:

— Сыновья ваши, наверное, тоже пойдут в тайгу?

— Ты што, паря... Ни к чему. Сашка в армии, Толька трактористом. Пушай живут без тайги. На материке деньги полегче да и побольше...

Примерно такие же ответы получал я и от других промысловиков, и, откровенно, правдивость их обескураживала: сибиряки и... теряют интерес к тому, что совсем недавно было делом всей их жизни. Кстати, средний возраст прибайкальских охотников тоже обескураживающе высок — 47 — 53 года. Само собой возникал вопрос: почему?

В бухгалтерии коопзверопромхоза я познакомился с расчетными ведомостями добытчиков, причем мне показали результаты заработков за средние года. Таким, к примеру, был 1965-й. Вот все деньги одного из лучших охотников — Георгия Андреевича Юрьева, что ходит с ружьем с 1961 года: добытая пушнина — 2 148 рублей, отлов рыбы — 362, строительство избушек — 161, поделка печей — 9, премия за перевыполнение плана — 120, отпускные — 273, заготовка дров — 25, сдача тушек ондатры — 16, сбор ягод — 96, прочие работы — 4 рубля. Среднемесячный заработок равняется 268 рублям, а годовой — 3 216.

Подсчитали мы я среднемесячный доход самого среднего охотника, то есть того, что не значится ни в передовых, ни в отстающих. Получилось — 131 рубль 37 копеек.

Что ж, вроде бы и ничего, на первый взгляд. Жить можно. Но если отбросить от этих окончательных сумм 50 процентов северных надбавок, коэффициента, то выйдет, что месячная работа промысловика на Северном Байкале стоит всего лишь около 66 целковых. А если учесть пять-шесть месяцев одиночества, риска и так далее, то вы наверняка согласитесь с мнением Воропаева-отца:

— Ты што, паря... На материке деньги полегче да и побольше...

В конце мая 1967 года в Москве состоялось расширенное совещание руководящих работников Управлений охотничье-промысловых хозяйств и госохотинспекций АССР, краев и областей, госзаповедников и охотоустроительных экспедиций системы Главохоты РСФСР. На нем был заслушан доклад Н. В. Елисеева «Охотничье хозяйство РСФСР за 50 лет Советской власти и задачи по его дальнейшему развитию».

В докладе отмечено, что в наследие от царской России Советская республика получила опустошенные охотничьи угодья, что продукция сегодняшнего охотничьего хозяйства является сырьевой базой меховой и фетровой промышленности, используется в медицине, кожевенном и парфюмерном производствах, что охотничьи богатства республики

являются основой промыслового хозяйства Советского Союза и дают свыше 80 процентов пушнины, добываемой в стране. По таким ценным видам пушных зверей, как белка, соболь, песец, горностай, колонок, норка, на долю РСФСР приходится 96 — 100 процентов их добычи. Сегодняшняя промысловая охота из единоличного занятия превратилась в важную отрасль колхозного и совхозного производства. Общества охотников объединили 1,5 миллиона любителей.

Говорилось на совещании и о следующем: охрана государственного охотничьего фонда поставлена слабо, воспроизводство и биотехнические мероприятия проводятся в незначительных масштабах, закрепление охотничьих угодий за пользователями проходит медленно. Действующие сегодня заготовительные цены и наценки хозяйствам на пушнину материально не стимулируют дальнейшее развитие пушного промысла, техническое оснащение на низком уровне, существующая сеть госзаповедников и заказников недостаточна.

У кого что болит, тот о том и говорит. Сидим в конторе коопзверопромхоза и за папиросами обсуждаем с охотниками житье-бытье. — А вот ты хоть сам рассуди, — говорит Афанасий Петров, — упирался я нонче, упирался, а соболя мои по 35 рублей обошлись. И добрые соболя. И попробуй докажи, что даже головных брал нонче... 1. Некому доказывать. В одночасье обозлился, а у нас на таборе шкурка соболя валялась, лисой объединенная. Выбросил ее на крышу старик охотник Кузнецов. Подобрал я ее, значит, и на пялку сколь можно и растянул. А потом сдал. И на те... Оценили сей огрызыш выше доброй шкурки. Вот такая, дорогой товарищ, непуть приключается с нашим братом...

1 Головными соболями считаются лучшие темные зверьки баргузинского кряжа. Но и среди них насчитывается всего лишь 58 процентов подлинных самородков — черных соболей экстра-класса.

Чтобы яснее и понятней стал рассказ Афанасия, следует хотя бы бегло изложить принципы и методы оценки добытой пушнины, существующие пока, к сожалению, в охотничьем мире.

Взял я в тайге, к примеру, соболя. Первично обработал шкурку, высушил, расчесал, выхолил и принес ее приемщику. Тот, пользуясь постановлением Совета Министров СССР от 10 мая 1963 года № 511 «О закупочных ценах на невыделанные шкурки соболя», определил кряж, к которому относится зверек, а их всего девять: баргузинский, камчатский, якутский, тувинский, амурский, алтайский, минусинский, енисейский, тобольский, — затем опознал цвет соболя — их четыре, и они делятся на головку высокую, нормальную и подголовку высокую (1-й цвет), подголовку нормальную (2-й цвет), воротовой темный (3-й), воротовой нормальный и меховой (4-й), и оценил соболя конкретно, скажем, твой зверек — кряж баргузинский, первый цвет, головка высокая...

Подобная шкурка по перечисленному прейскуранту стоит 100 рублей, но приемщик, подстраховывая себя (вдруг ошибся!), не даст мне 100 рублей, а, скажем, 70 (вдруг на пушной базе в Иркутске не подтвердят его оценку).

После этого шкурка метится пломбой и уходит в Иркутск, а добытчик пока получает лишь 50 процентов от 70 рублей. И только окончательная «дегустация» меха на областной пушной базе позволит охотнику получить полную сумму. Но к тому времени шкурка его может стать дешевле, так как приемщики на базе по каким-то своим, неизвестным промысловикам соображениям занижат стоимость.

Одним словом, приемка пушнины приемке рознь. Вопрос «дегустации» меха, квалификации приемщиков предельно важный: ту же самую шкурку можно увидеть по-разному, если рассматривать ее при различном освещении, настроении, заинтересованности. Уже на этом этапе происходит масса казусов, подобных рассказу Афанасия Петрова. К тому же мне лично непонятно и другое: почему охотник, сдавая пушнину государству, не сразу

получает всю сумму, назначаемую приемщиком? Ведь на базах шкурки после поступления фактически обезличиваются, утрачивают первоначальные пломбы, а коопзверопромхозам запрещено сопровождать свою пушнину, то есть посылать своих представителей, которые бы смогли квалифицированно отстаивать, защищать, спорить с «богами» — ценителями с пушных баз.

Вероятно, назрела необходимость пересмотра существующего положения. Стоит, на мой взгляд, прекратить игру охотников в эту странную и зачастую проигрышную лотерею.

Поговорите с охотниками на Северном Байкале — они не совсем доверяют тем, от кого зависит судьба их будущего заработка. Мне не раз приходилось слышать о том, что именно на приемных этапах возникают различные махинации с пушниной. В конце концов, на самом деле сдал я шкурки, приемщик при мне опломбировал их, и я ушел. А откуда теперь знать мне, что сразу же после меня приемщик не снимет пломбы и не наденет их на другие шкурки. Вот если бы каждый охотник имел свой именной пломбир, тогда... Впрочем, специалисты могут, наверное, предложить и более радикальное — им и карты в руки.

Еще одна проблема. К ней стоит прислушаться: существующая система цветовых категорий при оценке стоимости шкурок соболя достаточно сложна и требует, как говорилось выше, высокой квалификации от «дегустатора».

Добытки на Байкале предлагают: отменить всю эту мешанину «высоких, нормальных головок и подголовок», определять же стоимость соболя по кряжам и дефектам, то есть если кряжевая градация стоимости соболиной шкурки начинается от 28 рублей и кончается 100 рублями, то не лучше ли назначить твердую среднюю стоимость по всем видам кряжей?

К примеру: баргузинский, камчатский и якутский кряжи по цветам стоят от 28 рублей до 100 — вот и надо определить этой группе постоянную цену, скажем, 60 рублей, и тщательно следить за дефектами.

Причем выплачивать деньги за труд охотнику необходимо одновременно, безо всяких чересполосиц.

Откроем работу Г. Г. Доппельмайра «Соболиный промысел на Северо-Восточном побережье Байкала». Вот что писал Н. Козьмин в предисловии к этой книге, опубликованной в 1926 году:

«...если соболиная шкурка, проходя в сыром виде от соболиной речки на Байкале до Нижегородской ярмарки, возрастала в цене в геометрической прогрессии, то в выделанном виде, на заграничном рынке, она имела цену, во много раз превышавшую первоначальную цену. Лишь... при организации скорняжного промысла на Байкале... можно было бы добиться, чтобы охотник получал в свои руки возможно большую часть рыночной цены вполне выделанного меха...»

Средний охотник Северо-Байкальского района промышляет нынче за таежную «навигацию» 15 — 20 соболей, да еще делает массу других работ, а в результате — 131 рубль 37 копеек в месяц. Как видите, очень и очень мало. И было бы прекрасно, если бы вопросы, поднятые на совещании в Москве, о котором я говорил выше, изменили в лучшую сторону дело материального стимулирования охотников.

— Пошли бы тогда люди на промысел? — спросил я у Афанасия Петрова.

— Беспременно, — очень даже утвердительно ответил он.

Жаль, что государственные охотничьи хозяйства не получают информации с регулярно проходящего в Ленинграде пушного международного аукциона и не знают, во сколько же ценят их пушнину зарубежные бизнесмены². Думается, что такого рода информация воспитывала бы в сибирском охотнике гордость за свой тяжелый и благородный труд.

² А они ее ценят очень высоко. Краса и гордость российских соболей — темный зверек баргузинского кряжа с серебряной проседью и голубоватой подпушью — «водой» —

как бы небрежно «набивал» себе цену до 900 долларов за шкурку. Манто же из черных головных соболей оценивалось в 60 000 долларов!

Низки закупочные цены и на белку, горностаю, колонку — естественно, что добытчик стремится в основном брать у тайги соболя. Не знаю, в шутку или всерьез, но слышал я на байкальских охотничьих станочьях и вовсе диковинные суждения: «...мол, иду если по соболю, то на белку и смотреть не стану. Хрен ли с ней, рублевкой, возиться...»

А что сегодня происходит с нерповкой, отстрелом байкальской нерпы?

До этого года нерпу стреляли на Байкале в основном из-за сала. Шкура красивого морского зверя государство почти не интересовала, и она перерабатывалась вместе с жиром. Конечно, испокон подлёморские жители — сибиряки, эвенки — находили и для шкур применение: шили из них прекрасную охотничью обувь, но главное, что интересовало, — мясо и сало.

Так или иначе, но после зимней Олимпиады в Инсбруке, где наши , спортсмены щегольнули шапочками и куртками из странного меха, шкура байкальской нерпы, отливающая серебристым блеском морской волны, вошла в моду. И на Байкале немедленно стали промышлять куматканов лишь на мех, теперь уже не обращая внимания на мясо и сало. Во всяком случае, прошлогодняя нерповка показала полную растерянность руководителей рыболовецких колхозов. Они не знали, как платить нерповщикам и за шкуры, и за мясо, и за сало. И, обратите внимание, последние зачастую выбрасывались на лед, а шкура нерпы была оценена всего в шесть рублей.

Зато действительно стал процветать «черный рынок». Промышленники охотно отдавали шкуры кому угодно, лишь бы им платили повыше слабенькой государственной цены.

В решениях майского совещания в Москве говорилось: «...необходимо принять меры по усилению ответственности за скупку и переработку пушнины частными лицами...»

Очень и очень своевременное беспокойство. Припоминаются когда-то и где-то читанные указы Петра I. Тот безжалостно наказывал за утечку из казны мягкой рухляди — Петр требовал рубить хищникам руки.

В Северо-Байкальском районе о продаже пушнины на сторону промысловики говорят, не скрывая:

— Сколь добываем зверя и сколь сдаем государству, так столь, однако, и налево уходит, а може, и боле...

А чем отличается драгоценный мех соболя от золота? В общем, наверное, всем понятно, о чем идет речь: заплати государство охотнику за добытый мех хорошо, он бы никогда не стал заниматься торговлей из-под полы.

Не могу не коснуться и положения с браконьерством. Оно бич. С катастрофическим уменьшением числа охотников-профессионалов, с утратой истинных традиций честного промысла, когда человек с ружьем и зверь по-настоящему борются за право существовать, а финальный выстрел — заслуженная победа, на охотничью арену Сибири выходит охотник-дилетант. Он не знает тайги, не утруждает себя желанием понять, что же такое природа, курки его ружья будут незамедлительно спущены, как только что-нибудь живое предстанет перед стволом. Дилетанты оскорбляют доверие природы, вламываются в зимовья, беззастенчиво грабят их, жгут тайгу, оскверняют места ночлегов.

Байкалу еще повезло. Географическая удаленность, труднодоступность из-за слабого развития транспортных средств, малая обжитость его побережий сами по себе отводили от сибирского моря «цивилизованных рвачей» от природы. Но всему приходит конец: самолеты, корабли, железная дорога, которая вскоре соединит и байкальский север с «большой землей», откроют вход разным людям к когда-то сокровенному, полутаинственному.

А Байкал, он один на всем свете. И как не беспокоиться за его судьбу!

В Улан-Удэнской гостинице мне попался на глаза прошлогодний номер газеты «Правда Бурятии». В нем опубликована восторженная скоропись В. Бараева, повествующая о подвиге некоего М. Жигжитова, «охотника и писателя». Во главе с ним четыре человека с карабинами «отразили нападение медведя-людоеда». Это ли не конкретный факт умышленного браконьерства? Это ли не акт открытого хамства дилетантов по отношению к природе? С какой такой радости в июле месяце медведь, обеспеченный тайгой по горло, станет людоедом? Откровенно, не хватает слов, и я с преогромным удовольствием в данном случае употребил другие, «неписательные».

В двадцати километрах от Нижне-Ангарска, если двигаться строго на север по речушке Холодная, выйдешь к деревне, носящей то же название. Холодная — родовое селение байкальских эвенков. Здесь я познакомился с пожилой колхозницей артели «Дружба» Марией Петровной Урончиной.

Вот что она рассказала:

«...Мы, эвенки, ходим по тайге каюрами в экспедиции, на охоту. И идем ли мы по болоту или по лесу, тропы наших дедов и отцов еще заметны: затесы видны, а на каменистых россыпях — трибунки. Все это теперь очень трудно рассмотреть, но все же приходится находить, потому как эти тропы — лучший путь. И мы оставляем новые затесы, новые трибунки для других.

И вот меня беспокоит: сейчас стало забываться многое из добрых обрядов и привычек наших отцов и дедов. Некоторые молодые люди не имеют представления о том, что знали мы. Они не смогут сегодня изготовить те изделия, которые умели делать старики. Из бересты раньше эвенки мастерили с узорами и рисунками туески и даже летние юрты. А сколько красивых вещей было из камуса, шкур зверей? Унты, эверы, эмчурь, олочи — все это постепенно начинает забываться. А найдешь ли удобнее обувь для охотника? Она и легка и красива. Или потребовались лыжи молодому охотнику — идет к деду Роману.

— Будь добр, сделай, пожалуйста.

Ну, он-то сделает, но ведь не будет жить вечно дед Роман, или тетка Марья, или Дарья...

Я вожу своих детей по тайге на охоту и каюрами. Учю их тайге. Учю их обдирать и выделывать шкурки зверей. И за эти годы они многому научились. Я считаю, что это обязательно им нужно, точно так же, как и учиться грамоте. Не стоит забывать хороших эвенкийских привычек и обычаев.

Вся наша жизнь — природа.

Я думаю, было бы хорошо учить детей в школах шитью кумаланов, унтов, навыкам охоты. Пусть не только эвенкийские ребятишки учатся, но и русские. В жизни пригодится любое умение. Я так думаю...»

Шумел за стенами дома ночной ветер; при свете керосиновой лампы (час был поздний, и электростанция замолчала) старая эвенка шила унты, ловко щепя оленью жилу, и рассказывала. Я смотрел на ее изрытое морщинами лицо и думал: старуха мыслит по-государственному. И еще подумалось: чем-то схож по внутренней интонации рассказ Марии Петровны с тем охотничьим наговором, с которого я повел этот очерк...

Чем привлек он меня, только ли странным настоем забытых слов? Только ли глубоким и страстным подтекстом, в котором зверопромышленник наговаривает на себя удачу? Пожалуй, нет. Мне показалось, что охотничья молитва стоит у истока благороднейшей этики добытчика, отправляющегося в тайгу не убивать, а брать у природы на равных. И это, наверное, так и есть: тот, кого кормит в Прибайкалье ружье, кто постоянно соприкасается с драматическим миром фауны, — не убийца, он никогда не употребляет слова: «убил», «уничтожил», «истребил». Вот почему и молитва сибиряка, полушепотом заговорившая со мной с пожелтевшей страницы, основательно выдержанной в библиотечных хранилищах, вдруг взволновала и решительно ворвалась в этот мой рассказ.

Сибиряк... Там, за Уральским хребтом, в нашей Европе, это слово, скажем, встреченное в разговоре, для меня звучит всегда по-особому. Сибиряк — и сразу же ассоциация: могучий человек, с обветренным лицом, сильными руками, умным прищуром небольших глаз. Сибиряк — для меня прежде всего производное от чего-то гордого, независимого, здорового.

Именно моральным и духовным здоровьем прекрасен сибиряк, независимость же его, тоже морального и духовного плана, выражается прежде всего в пожизненном и великом обязательстве рассчитывать только на свои собственные силы, уметь делать все самому.

Мы в ответе за потомство наше, ведь ему предстоит еще так много сделать, особенно в Сибири. И не надо думать, что охота и промысел безнадежно устарели и утратили свое значение перед оглушительной поступью цивилизации.

Когда старость, мудрая и углубленная, заставляет человека из крохотного селения на Холодной говорить: «Вся наша жизнь — природа», — становится грустно от понимания неестественных противоречий, созданных самими же людьми между природой и цивилизацией.

Я пишу эти строки, а далеко-далеко от них в черной, немой тайге бежит по распадку охотничья чумница — лыжня. Она стелется за свежим, парным следом соболя.

Шесть миллионов гектаров настороженно следят за двумя-тремя десятками человек, вышедших на извечный путь промысла. И снова гадают охотовед Альберт Шарыкин: как они там, его мужики?

В коопзверопромхозе нет ни раций, ни денег на вертолет, чтобы слетать к добытчикам и проверить дела. Альберт говорит мечтательно:

— Хоть бы дирижабли скорее строить начали!.. Из-за расстояний тьма тайги нестреляной остается. Молчат ружья на Маме, в дальних Чайских гольцах. Но главное, конечно, охотники... Пропадает интерес к охоте, к ружью...

Ну вот, вроде бы и все. Плохо или хорошо, но душу излил, а когда уже было приготовился ставить финальную точку, понял, что не слышу концовки, которая бы, как добрый охотничий выстрел, принесла удачу, да и сам бы лишний раз не покраснел под прямыми глазами друзей — байкальских охотников: мол, а зазя с нами говорил-разговаривал...

Честное слово, хоть убей! — не давались мне заключительные слова, да и, кстати сказать, заголовок тоже не придумывался. Так и вез я свой очерк в Москву, а с ним и страсти свои о крае дальнем и близком. А потом все разрешилось как нельзя просто: шагал по улице Кирова и случайно натолкнулся глазами на вывеску магазина — «Охота». Зашел, постоял у прилавков и оказался свидетелем коротенькой сцены.

Двое приобретали новенькие патронташи. Они вертели их в руках, даже примерили на себя. Потом в отдел привезли на тележке еще целую гору пустых патронташей. Я смотрел на них и неожиданно вспомнил то замшелое зимовье на Сосновке, шум бессонной речухи, голосающей на заламах, тусклый вскрик неведомой птицы и свой патронташ, оставшийся далеко-далеко от меня...

Целую гору новеньких патронташей привезли в отдел, и продавщица недовольно уталкивала их под прилавок. Я смотрел на поблескивающую, хрустящую амуницию и вдруг подумал: а не пуст ли патронташ моей большой промысловой тайги?..

Северный Байкал, октябрь — январь 1967/68 г.

В то время, когда этот номер уже находился в печати, Совет Министров СССР принял постановление «О материально-техническом обеспечении нужд пушного промысла и звероводства». Это постановление обязывает правительства союзных республик и ряд министерств и ведомств СССР наметить и провести в жизнь мероприятия по улучшению использования охотничьих угодий и созданию необходимой базы пушного промысла.

Решено также значительно повысить закупочные цены на пушнину, добываемую охотой в районах Севера, увеличить выпуск материалов и оборудования для нужд звероводов и промысловиков.

ПОСЛЕДНЯЯ СУДИМОСТЬ

Татьяна Копылова

В кабинете начальника колонии нас было трое: подполковник Крутов, майор милиции Тимофеев и я. Мы ждали четвертого.

Он вошел? в сопровождении конвойного — худощавый, одетый в серый тюремный бушлат, брюки заправлены в тяжелые сапоги. Голова брита, руки вытянуты по швам. Высокий лоб, серые глаза в паутинке морщинок, рот большой, к подбородку сбегает характерные складки.

— Садитесь, — пригласил его подполковник Крутов и кивнул конвоиру: — Можете идти.

Четвертый сел на свободный стул -лицом к подполковнику.

— Закуривайте, — протянул ему подполковник пачку сигарет.

— Спасибо. Не хочу.

— Давно вы в наших учреждениях, Юрий Иванович?

— В Коми АССР три года.

— Работаете на лесоповале?

— Да.

— Какими специальностями владеете?

— Трактор умею водить, еще электрик, плотник.

— Так, значит, — подполковник чуть запнулся, — Юрий Иванович, мы вас позвали, чтобы познакомить с майором милиции...

Заклученный — хоть это и не положено — перебил подполковника:

— Нас знакомить не надо! — И с лица его сбежали все краски. Не поворачиваясь в нашу сторону, с трудом выдавил из себя: — Я Григория Васильевича давно знаю. — И потянулся за сигаретами. — Так я закурю, можно?

— Курите, курите, — разрешил подполковник, а Григорий Васильевич, уже не сдерживаясь, напустился:

— Это как же так, Юрий Иванович? Почему же вы здесь? А? Юра, как же так?

Юрий Иванович поднес ко рту сигарету, рука его дрожала. Он не смог затянуться, опустил руку на колени, придавил ее другой. Повернулся к Григорию Васильевичу, в глазах стояли слезы.

— Да. Вот так. Здесь.

— Ты, Юра, все же Расскажи по порядку.

ОБРАТНЫЙ АДРЕС — КОЛОНИЯ

Письмо было последним в редакционной почте дня. На конверте был написан обратный адрес: «Коми АССР, почтовый ящик...» Колония. Оно начиналось сразу, без обращения и приветствия:

«Возможно, мое письмо будет нескладно. Как умею, так и напишу, и на этом прошу извинить.

Мне в 1941 году было одиннадцать лет. А я надел военную форму и автомат на шею. Партизанил.

В 14 лет я вступил в ряды Ленинского комсомола.

Войну закончил в Северном Китае. После войны поступил учиться в военно-морское училище на Балтике. Во время войны я был сильно ранен, следствие этого — тяжелая болезнь. По болезни был отчислен из училища. А ровно через месяц — тюрьма.

Наверное, вы скажете, что я взял нож и пошел грабить, воровать. Нет! Я не совершил абсолютно никакого преступления. Просто ошибка произошла в милиции.

Ничто мне не помогло: ни награды, ни комсомольский билет. В милиции думали, что все это не мое, а краденое.

Не подумайте, что про войну сочинил. В 1944 году ко мне случайно попал журнал, кажется, «Работница». В нем была помещена фотография: я и еще одна девушка. Под снимком подпись: «Солдаты лесной войны».

Я часто вспоминаю дни войны, там я потерял много хороших взрослых друзей.

Людам нельзя забывать о войне. Я тем более все время о ней помню. Потому что для меня мир, счастье, спокойствие не наступили.

Пареньков Ю.».

Вот такое было это письмо.

На первый взгляд автор сообщает много о себе: и партизанил с 11 лет, и был на японском фронте, и сел в тюрьму, и это упоминание о судебной ошибке.

Да, много накручено. Впрочем, может быть, вымысел?

Ищу ответ в «Работнице». Подшивка журнала за 1944 год... Фотографии, о которой писал Ю. Пареньков, нет. Журналы за 1943-й — ничего, 1942, 1945, 1946 годы... Поиски безрезультатны.

ЖДУ ОТВЕТА

Коротенький ответ дался мне нелегко.

«Не хотелось бы отвечать вам отказом, но я не нашла фотографии в «Работнице», хотя и пролистала весь комплект за 1942 — 1946 годы.

Вы написали очень сумбурное письмо, а толком о себе ничего не рассказали. Пишете о судебной ошибке. Но ведь судебная ошибка была допущена в 1947 году. В 1947-м! А сейчас 1966-й. Как же получилось, что вы опять в колонии? Ответьте, пожалуйста, обстоятельно и спокойно».

Новое письмо пришло через несколько дней:

«...Я по сей день жду, когда война кончится для меня. Я не оговорился: война для меня не кончилась. Но почему все это так? Разве только я в этом виноват? Виноват, но не настолько же, чтобы пробыть в заключении почти 19 лет».

Потом в письме опять упоминалось о военных годах. Да, он был сыном партизанского полка. Да, партизанил с 11 лет, потом воевал на Втором Прибалтийском и в Китае. Да, поехал в школу юнг. Но...

«Но меня свалила болезнь, и я долгое время лежал в госпитале с туберкулезом, а в конце 47 года был отчислен по состоянию здоровья из школы.

Я поехал в Ленинград, но... на станции Резекне патруль ссадил меня: заподозрили, что у меня чужие документы. Милиции показалось дико: такой маленький мальчишка мог воевать?! У меня отобрали все. Потом взяли подписку — убраться в 24 часа из города Резекне. А наш полк — 60-й гвардейский Режицко-Хинганский ордена Александра Невского минометный полк — освобождал этот город. За этот город я имел грамоту от Сталина. Участвовал в штурме и взятии Резекне.

Я об этом писал и раньше в Прокуратуру СССР. Получил ответ: признают, что совершили ошибку.

Когда я остался без документов, я испугался. Сел в первый попавшийся поезд. Так я попал в Вильнюс; жил, чем придется. За нарушение паспортного режима в декабре 1947 года я был арестован. Там суд — и год тюрьмы.

Отсидев год, я пробыл на свободе 17 дней, совершил кражу — корзинку яиц, — за что получил 5 лет...»

Вторая часть письма была более насыщена датами и событиями: вышел на свободу, украл, получил срок отбыл, вышел на свободу, украл... Автор письма говорит об этом как-то между прочим, скороговоркой.

Стыдится? Не договаривает? Уводит в сторону?

А он снова и снова в своей исповеди обращается к началу послевоенной жизни:

«Неужели вы думаете, мне охота воровать сумки, спать на вокзалах? Не хочу я этого! Вся моя вина в том, что после войны я остался один, без дома. Но разве я виноват в том, что к нам на Родину пришел Гитлер?»

Видно, в этом периоде и надо искать ключ к дальнейшему. Здесь кроется разгадка, которую он сам ищет, стараясь осмыслить, понять события, а главное — их поворот. Поэтому в письмах постоянным рефреном и звучит: 1947-й. Я не был виноват! Не был! Не был!

А сейчас?

«Теперь о фотографии. Я помню: во время войны обо мне печатали в «Пионерской правде». Я тогда очень радовался. Запомнил число: 14 апреля 1943 года.

А журнал я, возможно, и забыл».

Снова старые подшивки. Серый, выцветший шрифт «Пионерки» военных лет. 14 апреля 1943 года.

На второй полосе, в нижнем правом углу, две коротенькие заметки корреспондента С. Беспрозванного «Юные партизаны». Одна так и названа: «История Юры Паренькова».

И в ней рассказывалось о воспитаннике партизанского отряда Юре Паренькове, о том, что он был награжден медалью «За отвагу». Рассказал корреспондент и о дальнейшей судьбе мальчика: «Юру послали учиться. Он будет авиатехником».

Что же произошло? Почему эта фраза, написанная уверенно, как о деле уже совершенном, оказалась неправдой? Эх, расспросить бы С. Беспрозванного!

Но... ниточка, чуть найденная, сразу оборвалась.

— Как можно найти корреспондента Беспрозванного? Не помните ли такого? — спрашивала я.

— Да, наверное, никак. Это ведь псевдоним военного корреспондента, настоящей его фамилии уже никто не помнит. Работал он не у нас, лишь постоянно присылал военные материалы с фронтов, из партизанских отрядов.

Опять остались лишь газетная заметка и письмо, Никаких новых фамилий, имен! Никакого свидетеля, который мог бы объяснить, что же произошло.

Еще раз прочитала письмо. Стала считать судимости — и мне не хватило пальцев на руке: одна, две, три... девять. Вот тебе и «судебная ошибка». Судебная ошибка первый раз. А потом что? Ошибка? Но человек как будто не ведает за собой никаких проступков. «Меня несправедливо обидели! И все тут! Я не виноват».

Один раз — да! А остальные?

«И ВСЕ КРИЧАТ: ДЕРЖИ ВОРА!»

Сейчас мне стыдно за то письмо, которое я послала Юре. Я написала как будто правильные слова: «Военные подвиги не дают права на совершение любых проступков

после войны. Военный героизм не индульгенция, не может служить оправданием человеку в его дальнейшей судьбе».

Но как я тогда мало знала о нем!

Ответ я получила резкий (и, наверное, поделом):

«Вы мне все время пишете, что я не хочу признать свои ошибки. Их у меня куча, но я же не исповедь патриарху пишу. Вы пишете: участие человека в войне не дает ему права после войны допускать какие угодно проступки. Да, это так! Но я вам повторяю: я их и не совершал. А посадить за решетку ни за что, да еще мальчишку, который четыре года воевал... Я вор только потому, что у меня с 1947 года в документе так написано. И все кричат: «Держи вора!»

Чувствовалось, автор отвечает не одному журналисту, а всем обвинителям, всем, призывавшим его к исправлению. И опять, как доказательство несправедливости, — ссылка на книгу:

«Так почему некоторые писатели до сегодняшнего дня пишут книги, в которых упоминают мою фамилию? Мне это нисколько не приятно. Что я имею в виду? «Дорога через фронт» И. В. Виноградова, Лениздат, 1964 года».

В конце письма — сообщение о фотографии:

«Я нашел свою фотографию, но получить ее — увы — не могу. Она была помещена в мае 1962 года в газете «Известия».

Я писал. Но... Или отдел перегружен, или... не знаю что...»

МАЙОР МИЛИЦИИ

На этот раз подшивка недавняя: «Известия», 1962 год. Май. 8 мая 1962 года газета рассказала о героических делах юного партизана Юры Паренькова. Очерк написан со слов бывшего командира партизанского отряда, майора милиции Г. В. Тимофеева. Озаглавлен: «Орленок».

А может, он действительно жив? — такие слова заключали очерк.

Признаюсь, когда набирала 02, почти не верила в удачу. Неужели все-таки нашелся живой свидетель? Неужели вот так легко — стоит лишь поднять телефонную трубку — можно договориться о встрече с человеком, хорошо знавшим Юру Паренькова!

Через час в дверь осторожно постучали. Вошел человек в милицмейской форме.

Невысокий, плотный, седеющий, с яркими, живыми глазами.

В его позе, голосе, глазах чувствовалось напряжение, ожидание. И я сразу ответила на его немой вопрос:

— А вы знаете, Григорий Васильевич, Юра Пареньков. .

— Жив?

— Жив.

— Я так и знал, что о нем будет разговор. Даже с собой все запросы захватил. Я ведь уже много раз писал: своим друзьям по партизанской бригаде, в Министерство обороны, в Ленинград, где Юра родился. Значит, жив, жив! Что же он молчал? Может, что случилось с ним? Беда какая? Или заболел?

— Да, беда...

— ??

— Юра в колонии.

— Не может быть! Как же так? А? Какой был мальчишка! Какой герой! Он же нас в сорок втором от смерти спас.

РАССКАЗ КОМАНДИРА

Случилось это весной 1942 года. Наш отряд держал оборону на границе партизанского края по реке Шелонь. Около деревни Лемтихово — была передовая, на той стороне — в Каруеве — уже немцы. Однажды разведка доложила: к Каруеву немцы подтягивают войска.

.Скоро немцы перешли в наступление. Уже до середины реки добрались, тогда и мы огонь открыли. До этого команду я подал: «Не стрелять!» Патронов-то в обрез.

Стреляли бойцы метко — гитлеровцы откатились. На льду десять убитых оставили.

Собрались немцы с силами — опять в атаку. Чувствуют, что с патронами у нас туго, пошли более организованно. А Юрка около пулеметчика крутился. Пулеметчик-то новую ленту стал заправлять и эдак про себя и говорит: «Эх, патронов бы сюда! Я бы им жару дал!»

Юре и приказывать было не надо. Ползком — в лощину, что за деревней, и бегом к нашему штабу, в соседнее село. Там у хозяина штабной избы лошадь была. Он старику: «Запрягай!» — и в лес, к складам. Нагрузили четыре ящика патронов, мин, гранат.

Когда в лощину они вернулись, что у Лемтихова, немцы на нашем берегу были. Врукопашную вступили.

Юра ящик вытянул и ползком, ползком к пулеметчику.

Заговорил наш замолчавший было пулемет. А тут еще по окопам: «Юра патроны привез!» Так это нас вдохновило, что поднялись мы в атаку и погнали фашистов. В бою тогда уложили двести гитлеровцев, захватили склад боеприпасов и вооружения, важные документы. Мы Юру после этого боя к награде представили. Медаль «За отвагу» вручал ему командир бригады. Вот какой мальчишка был...

И тут же, перебивая себя:

— Это почему же «был»? А за что он сидит? Мы читали вместе с Григорием Васильевичем трудные письма Юрия Паренькова. Я видела, как тяжело было Григорию Васильевичу узнавать историю его маленького друга. Он прочитывал каждое письмо, потом еще раз просматривал его, к некоторым местам возвращаясь еще и еще раз.

— Кстати, а как оказался он в вашем отряде?

...1941 год. Июль. Партизанский отряд, недавно возвратившийся из немецкого тыла, готовился к последнему переходу линии фронта, к продолжительной жизни в фашистском тылу.

В эти-то дни и прибыли в отряд новенькие: два бойца из разбитой у Старой Руссы стрелковой части.

Григорий Тимофеев, командир отряда, проверил документы красноармейцев.

Уже смеркалось. Командир не сразу заметил, что новеньких не двое: рядом с ними стоял еще маленький мальчишка.

— Это что такое? — подошел он к вновь прибывшим. — Что за детский сад?

Мальчишка молчал, только испуганно смотрел на грозного командира.

— Разрешите доложить? — Красноармеец вытянулся. — Так что парень — сирота. Жил в Ленинграде, родители отправили его на каникулы к бабушке. А тут — война. Бабушка умерла. Он один. Подобрали его в лесу, бежал от немцев. Был уже в боях с нашей дивизией.

— А сейчас что собираетесь с ним делать?

— Товарищ командир! — подал голос парнишка. — Я — куда дядя Костя. Я тоже в партизаны хочу.

— «В партизаны хочу»! — передразнил его Григорий Васильевич. — Что это тебе — развлечение? — И напустился на бойцов: — Как же вы решились ребенка взять? В тыл врага идем. Пропадет он.

— Он без нас пропадет, — возразил боец. Григорий Васильевич махнул рукой.

— Ладно.

Улыбнулся, подошел вплотную к мальчонке, протянул ему руку.

— Давай знакомиться. Григорий Васильевич Тимофеев, командир партизанского отряда.

— Юрий Иванович Пареньков.

— Ну, Юрий Иванович, теперь ты тоже партизан, боец, защитник Родины. Поздравляю.

Он откомандировал мальчонку в разведроту к Силкину. Тот учил парнишку, как ориентироваться в лесу, как маскироваться, учил его стрелять из пистолета. Скоро Силкин стал брать его с собой в разведку. А потом Юра получил первое самостоятельное задание: пробраться в деревню Каруево, разузнать, сколько в деревне фашистов, определить их огневые точки.

Юра должен был вернуться к вечеру. Наступил вечер — и прошел, прошла ночь, забрезжило утро — никто в разведроте не спал. Юры не было. Не вернулся он и на следующий день.

Только на пятый дверь штаба распахнулась — и на пороге вот он, Юра, исхудавший, грязный, оборванный.

— А у немцев обед из трех блюд! — деловито сообщил он.

Все бывшие в избе бросились к нему, кто-то схватил на руки, кто-то побежал за теплой одеждой для Юры, за сухими валенками, девушка-радистка Вера и медсестра Рита даже заплакали. А он успокаивал их:

— Вера! Рита! Вы чего? Я ведь живой. Невредимый. Даже и непобитый...

Когда волнение улеглось, Юра рассказал, что немцы задержали его, но он так правдоподобно хныкал, размазывая слезы по лицу, так красноречиво рассказывал о своих бедах — сирота, разыскивает бабушку, — что его продержали для острастки пять дней — и все.

— Ну, а теперь карту давайте, — попросил Юра, — покажу, что узнал. — И рассказал об огневых позициях гитлеровцев, о том, что по ночам стягиваются в Каруево их отряды.

Это был первый сигнал тревоги, который подтвердился дальнейшими разведками. Юрино сообщение дало возможность партизанам подготовиться к бою у Лемтихова — Каруева.

После этой-то операции и утвердилось за Юрой имя — Орленок.

Он часто ходил в разведку, и ему всегда сопутствовала удача. И партизаны перед операцией спрашивали: «Орленок разузнал? Тогда порядок!»

...Отряд двигался к деревне Илемля. Разведка донесла: в деревне большое скопление фашистов. Русских всех из деревни выгнали.

Совещание командиров было коротким. Решили выстроиться походной колонной по трое, выставить вперед переодетых в немецкую форму партизан (обмундирования набралось на 18 человек), поставить в голове колонны бойца, владеющего немецким языком (был такой в отряде), и так войти в деревню. По мере продвижения колонны от хвоста должны отделяться по трое партизан и выстраиваться у каждого дома. Так что колонна постепенно, но незаметно для немецкого наблюдателя (штаб фашистов был в дальнем конце деревни) редела бы.

Отряд выступил. Мерзлая земля, еще не покрытая снегом, гулко разносила чеканный шаг. И невозможно было выделить в этом ритме шажки двенадцатилетнего мальчишки. Он шел крупным солдатским шагом. Он шел в ногу со всем отрядом.

Вот уже первые шеренги вышли из леса. Еще немного — и весь отряд на виду у немцев. В деревне не заметно признаков беспокойства. Правой — левой, правой — левой, правой — левой... Дойдем — не дойдем? Дойдем — не дойдем?

Весь строй втянулся в деревню. Хвост колонны поравнялся с первыми домами. Здесь спокойно прохаживался ничего не подозревающий часовой. Григорий Васильевич, не оборачиваясь, спиной ощутил рывок шагавшего сзади Силкина. Никакого крика, никакого подозрительного шума: все в порядке, часовой снят.

Когда колонна, теперь состоящая лишь из нескольких рядов, поравнялась с немецким штабом, в небо взвилась красная ракета.

В следующее мгновение по селу раскатились взрывы гранат, вспыхнули дома, подожженные горючей смесью, раздалась автоматные очереди. Весь бой длился 30 минут. Немецкий гарнизон — больше сотни — был уничтожен.

Партизаны недосчитались одного бойца — он был убит, — пятеро легко ранены.

«Поздравляю с блестяще проведенной операцией», — оценил позднее этот бой начальник партизанского отдела штаба Северо-Западного фронта Алексей Никитович Асмолов.

И в этом бою наравне со взрослыми бился юный партизан Юра Пареньков.

— ...Это были крупные акции нашего отряда, — закончил рассказ Григорий Васильевич. — Но и в повседневных делах Юра, наш Орленок, не отставал от партизан.

— Как же разошлись ваши пути?

— Летом 1943 года меня тяжело ранило в бою, я был эвакуирован в тыл. Когда вернулся в Партизанский край, мне рассказали, что Юра убит у деревни Дедовичи.

НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

...Итак, нас в кабинете начальника колонии трое. И еще четвертый. Теперь он повернулся к Григорию Васильевичу. И говорит для него. И тот видит только Юру. Окружающее не существует.

— Ты, Юра, все же Расскажи по порядку.

— С чего начинать?

— С чего хочешь. Может, с того дня, как мы с тобой расстались.

— В том бою, Григорий Васильевич, наш полк немцы почти весь уничтожили. Двинули тогда на партизан уйму техники. Говорили, будто целую дивизию на нас двинули. Вас на Большую землю отправили, в медсанбате еще говорили: «Не жилец!» Мы, оставшиеся в живых, отступили в самые леса. Потом влились во Вторую партизанскую бригаду. А тут и меня в одном из боев ранило. Эвакуировали в Ташкент. Ну, я скоро поправился, выписался из госпиталя — ив Москву... Помню, до здания добрал, где много военных входило-выходило. Сел на ступеньки. Какой-то артиллерист поравнялся со мной, спрашивает: «Ты что пригорюнился?» «На фронт хочу!» «Видали таких героев!» А я тут поднялся, он на грудь мою уставился, на медаль. «А-а, — говорит, — ты, значит, и вправду герой». Расспросил меня, в штаб пошел, обещал мое дело уладить. Уладил. Так я попал в полк «катюш». Прежде на Второй Прибалтийский. А потом и на японский фронт. В конце войны командирский «виллис» водил — без прав, конечно. Но кто на фронте шоферские права спрашивает?

В дверь заглянули, и подполковник Крутов вышел. А Григорий Васильевич стремительно поднялся, сделал шаг к Юре, обнял его.

— Юрка, шея-то у тебя тонкая какая. Эх, ты!.. Напротив меня сидел уже не первой молодости человек, а его обнимал седой мужчина. Но для седого, видно, оставался тот Юркой — мальчишкой, о котором надо было заботиться, беречь, опекать и... которого не уберегли.

Юра сидел будто скованный, не смея пошевелиться. Вошел подполковник, и Григорий Васильевич отпрянул, постеснявшись своего порыва. Только тогда Юра смахнул бежавшие по щекам слезы.

Вячеслав Андреевич присел на минутку, потом, сделав вид, что что-то вспомнил, вышел в коридор.

— Так о чем это я? — переспросил Юра.

— О конце войны.

— А... Восьмого мая днем я поехал на «виллисе» на речку. Километров за шесть-семь от переднего края. Въехал в речку, мелкая такая, остановил машину, вымыть решил. И вдруг

стрельба беспорядочная. Я стоял, думал: ' что же это такое? А потом сразу же заплакал: это Победа! Плакал потому, что пришел конец человеческому страданию. И еще потому, что, как и каждый солдат, устал я от войны. После разгрома Японии попросил направить меня в морское училище. Направили в Прибалтику. Только учиться не пришлось. На комиссии обнаружили у меня туберкулез. Вместо занятий — в госпиталь. Там подлечили — и до свидания. Старшина привел в каптерку: «Выбирай, парень, костюм!» Приехал-то я в аккуратной гимнастерке, пригнанных сапогах, а вышел — уж по одному виду скажешь: бродяга. Но я ничего. Медаль на грудь приколот, иду такой гордый!.. Решил: поеду в Ленинград. Может, все-таки кого из родных найду. А тут на станции Резекне проверка документов. Патруль — мордастый парень, до сих пор его помню — эдак нагло: «Ты откуда, пацан, медаль взял? Что это тебе, игрушка? Сними». Ну, я ему (горячий тогда был да и не привык, чтобы неуважительно ко мне обращались): «Чтой-то мне снимать? Я ее заслужил. Не вроде некоторых, которые по тылам...» А он взбесился: «Предъяви документы!» Я достал комсомольский билет, справку из училища, справку о представлении к ордену Отечественной войны и удостоверение к медали. Он стал листать. Комсомольский билет повертел, повертел: «Фотография неясная!» Справки в сторону отложил. «Это, — говорит, — филькина грамота». Удостоверение стал смотреть. «Твое?» «Мое!» «Чем докажешь? Фотографии нет!» Протянул было мне документы, а потом передумал, затопал по вагону. Я за ним: «Верни!» Он обернулся: «Скажи спасибо, что с поезда не снял. Не кричи, в колонию за хулиганство попадешь». И ушел.

Теперь-то я понимаю, — продолжал Юра, — ничего он не имел права сделать, а тогда мальчишкой был, впервые с такой несправедливостью столкнулся, растерялся... На следующей станции проверка: я уж безбилетник, без документов. Медицинская экспертиза. Год мне надбавили, получилось восемнадцать — и. как взрослого, в колонию общего режима. На год. Вышел. Куда податься? Кореш тоже освободился: «Пойдем на хату!» Жили, пили, неделя прошла, он мне: «Расплачиваться как думаешь?» Научил как. Я пошел на вокзал... Взял... Да что там взял, стащил чемодан. Конечно, попался. Суд. Пять лет... Колыма. Суровый край. А тут меня болезнь прихватила. «Нет, — думаю, — бежать надо!» Безнадежная это была затея. Кругом снег — любой след виден. Но еще теплилась надежда: во время войны и не такое удавалось. Куда там! Оба раза ловили, набавили срок. Но тут Указ — освободили по болезни. Думаю: «Все! Баста!» А с чего начать-то? Ни дома, ни родных. Ехали вместе с одним, он все повторял: «Эх, хоть день, да наш! Хватит, наработались! Погуляем! Ты, Юрка, не тужи. С нами не пропадешь. Есть тут кореша удачливые. Как, вступаешь в компанию?» Ох, худо мне тогда было: больной, одинокий, а тут еще вокруг: «Вор! Вор!» И я уж себя закоренелым преступником чувствовал. Ну и пошел. Церковь в Ровно брали. Срок получили серьезный...

...Плечи Григория Васильевича опустились, как от тяжелого груза. Но слушал он, не перебивая. А Юра говорил, говорил, стараясь, чтобы не осталось никакой неясности, недоговоренности, недосказанности.

— Бывает, идут дни за днями, нижутся на нить. Только однажды меня вдруг как ударило: «Куда же это качусь? Как остановиться? За кого зацепиться?» Стал я родных разыскивать. Смутно помнил, как перед войной наша семья ездила под Невель отдыхать к брату матери. От Невеля еще километров шесть на автобусе. Достал я карту и во все близлежащие от Невеля сельсоветы разослал письма. Фамилию матери и брата ее не знал, так я его описывал: такой он, мол, и такой-то, хромает на правую ногу. И однажды пришло от дяди письмо. Сообщил мне, что мать жива, переехала в Казахстан, адрес ее написал. Я долго от радости опомниться не мог: не один теперь! Все брошу, «завяжу». А тут еще одна радость: помилование мне вышло. А с матерью списался — и к ней.

Юрины слова прорезала боль, и он повернулся прямо к нам:

— Да... Вижу, мать ходит сердитая. И что ей я? Отрезанный ломоть. Да и ломоть-то тяжелый. «Поеду, — говорю, — мать, на целину завербуюсь». «Поезжай, Юра, я от тебя отвыкла». На целине работал трактористом. Жил на квартире. Парень там один в комнате

был. Однажды приходит, расстегивает пальто, сверток вынимает. Смотрю — новенькие брюки. Он их эдак с опаской отложил. Я и догадался. «Где взял?» — спрашиваю. «В магазине!» «Украл?» «Ну и украл!» Покликал хозяйку, стал ей за полцены предлагать. Я тут же в комнате сидел. Хозяйка взять не взяла, но смекнула, в чем дело, милицию привела...

— И что же, сели вдвоем? .

— Зачем вдвоем? Я все на себя взял. — Юра вздохнул. — Законы-то знаю. Мне все равно сидеть: раз слышал, как он брюки подторговывал, вроде соучастник. А он ни разу не судился. Зачем ему жизнь ломать? ...Последняя судимость. Прибыл я в Пензу. Намерения самые хорошие. О квартире договорился. О честной. На работу устраиваться решил сразу. Пришел на завод: «Где прописка?» В милицию. А там: «Зачем к нам приехал? У нас своих воров достаточно!» И отобрали у меня подписку — в двадцать четыре часа. А подписка — это я уже наполовину преступник. В двадцать четыре часа не пропишусь — все, тюрьма. А прописаться-то — ведь угол прежде найти надо. Заметался я. В горисполком кинулся. Надо правды добиться! Доказать! Только меня к председателю даже и на порог не пустили. Ну и я со зла... ему чтоб насолить, пальто с вешалки украл... Вот я и здесь... Девятая судимость. Скоро юбилей справлять буду. На свободе самое большее — пять месяцев был... Все.

— Нет, ты мне все-таки скажи, Юрка, почему мне-то не написал?

Юра смотрел, будто не понимая вопроса.

— Вас-то, считал, убило...

— А другим? Честных людей, что ли, не знал? Все воры да воры? За все время ни разу ни к кому не обратился! Вот теперь и...

И вдруг Юра резко повернулся к Григорию Васильевичу, решившись, заговорил:

— Не хотел я об этом... Писал я! Честным писал!

— Кому?

— Как первый раз в колонию попал, опомниться не мог. Тогда и написал своему командиру, с которым в японскую вместе воевал. Попросил: заступитесь, объясните, что и медаль моя и комсомольский билет мне принадлежат, а то мне не верят.

— Ну и что?

— А то. Адреса я точно не знал. Отправил на военкомат. Ответили сразу же: «Ваше письмо вручено тов. Черномазу». А от Николая Васильевича — ни строчки. Я еще раз пишу: «Простите, Николай Васильевич, за беспокойство. Но, видно, мое письмо затерялось». Не мог поверить, что тот отвечать не хочет. Долго ответа ждал. Через два месяца вручают мне конверт; жена Черномаза отвечает: «Николай Васильевич сильно занят, не имеет времени письма писать». Вот... А Риту Лобанову помните?

— А как же? Медсестра наша, медсестричка. Опекуншей тебе была.

Голос Юры звучал жестко:

— Во время войны, видать, люди лучше были. С Ритой у меня долго переписка была, с фронта ей писал, с японского. А потом... из колонии пришлось.

— Неужели не ответила?

— От-ве-ти-ла. — Юра говорил медленно, по складам, как будто подбирая тяжелые слова. — Только... ведь... можно... так... ответить, что... ясно... человеку эта переписка неприятна. Я больше ей не писал... А вы говорите: ни к кому не обращался!

Разговор тянулся тяжело, с паузами.

— Юр! Ты лучше скажи-ка, планы какие? Лида вот письмо написала мне да и в журнал тоже. О тебе спрашивает, хлопочет.

— Лида — хороший, верный человек.

— Как ты с ней познакомился?

— Сосед по бараку адрес ее дал. Она народным заседателем была, когда его судили. Ну, он и решил подшутить: пусть, мол, письмо из колонии получит. Я-то этого не знал. Стал писать. Она мне отвечает. Дальше — больше. Все о себе поведал. Она о себе рассказала. Работает библиотекарем. Заочно в институте учится. Живет одна. Пишет, что верит мне, ждет меня. И я твердо решил: к ней поеду.

— Вот и мы по письмам поняли: душевная женщина. Тебе-то, Юра, ради нее подтянуться надо. В школу бы пошел. А то жена с высшим образованием... ..

И тут мы увидели, как потеплело Юрино лицо. Проглянула та улыбка, которая запомнилась по его детской фотографии: добрая, застенчивая. I — Жена... Думаете, семья сладится?

— Да, Лида' об этом прямо пишет, спрашивает, беспокоится.

Мы еще долго разговаривали в кабинете начальника колонии. Вспоминали войну, строили планы на будущее.

. Пришло время прощаться — и, как равные, как старые друзья, шагнули друг к другу и крепко обнялись два человека: один — в форме майора милиции, другой — в серой одежде заключенного.

— До встречи! Хорошей встречи!

КОММЕНТАРИИ К ПИСЬМАМ

На прощание Юра назвал мне журнал, в котором говорится о несправедливости, допущенной по отношению к нему. Итак, «Социалистическая законность», 1960 год, третий номер, статья В. Тербилова «Соблюдение законности и связь с общественностью — основа улучшения следствия». Цитирую:

«В стадии следствия должно быть обеспечено самое тщательное выяснение всех обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого...

К сожалению, это требование выполняется неудовлетворительно...

Президиум Верховного Совета Украинской ССР недавно помиловал Паренькова... Обстоятельства, приведшие его в места заключения, заслуживают самого пристального внимания... Одиннадцатилетний мальчик участвовал в боях за Родину и в 1942 году был награжден медалью «За отвагу». Юра был ранен, но после госпиталя снова вернулся на фронт. В 1946 году его направили в морское училище, откуда он вскоре был отчислен по состоянию здоровья... В 1947 году Пареньков был задержан милицией на станции Резекне. Вместо того, чтобы направить его в детский Приемник, работники милиции изъяли у него документы о военной службе, медаль и отобрали подписку о выезде в двадцать четыре часа. Спустя некоторое время за нарушение паспортного режима Пареньков был осужден к одному году лишения свободы и почему-то направлен не в детскую колонию, а в общие места лишения свободы. Освободившись и не имея средств к существованию, Пареньков украл чемодан, за что был снова осужден. В 1955 году в связи с тяжелым заболеванием его освободили. Прибыв в г. Ровно, Юрий на вокзале встретился « с рецидивистом Еременко, который устроил его на квартиру, дал денег, а затем вовлек в шайку воров. За преступление, совершенное с Еременко, Пареньков был осужден к длительному лишению свободы. Анализ обстоятельств, приведших Паренькова в места заключения, приводит к выводу, что в этом прежде всего повинны те работники милиции, прокуратуры и суда, которые, проявив черствость и формализм, возбуждали, расследовали и рассматривали дело несовершеннолетнего Паренькова».

Но, пожалуй, в этой истории есть и еще виновные, кроме названных автором статьи.

Первое письмо, которое я написала по возвращении из Сыктывкара, было адресовано Николаю Васильевичу Черномазу. Помните, тому самому командиру, которого молил о помощи Лопавший в беду подросток. О помощи, для Н. В. Черномаза нетрудной и необременительной.

Сознаюсь, немного схитрила. В письме я просила Н. В. Черномаза рассказать о юном герое Юре Паренькове, воевавшем в конце войны вместе с ним. Материал, мол, необходим для очерка о делах псковских партизан.

Я написала по тому же адресу, по которому писал когда-то Юра (записан мною в присутствии подполковника МООП Коми АССР В. А. Крутова и майора милиции Г. В. Тимофеева). Ответ пришел сразу же:

«На Ваше письмо от 22 июня, которое получил 7 июля, могу сообщить Вам, что Пареньков Юрий служил в 60-м гвардейском минометном Режицко-Хинганском ордена Александра Невского полку рядовым в парковой батарее.

В составе полка участвовал в боях по разгрому квантунской армии Японии в Маньчжурии и Сев. Китае.

За время службы в полку ничем особым среди своих товарищей не выделялся. В мае 1946 г. я убыл из полка на учебу, и связь с полком у меня прервалась, т. к. вскоре полк был расформирован.

О дальнейшей судьбе Паренькова Юрия я ничего не знаю. Советую Вам обратиться в Архив Вооруженных сил Советской Армии...»

И ни слова о той просьбе Юры, в которой было жестоко отказано.

Знаю, сейчас Н. В. Черномаз будет уверять, что никакого письма не получал. Может быть, даже оскорбится: поверили заключенному, а не ему, честному, ничем не запятнанному человеку.

Но пусть читатели сами рассудят, сами увидят, что скрывается за бесстрастными строчками ответа. Меня поразил и тон и это сухое: «За время службы в полку ничем особым среди своих товарищей не выделялся».

Неужели четырнадцати-пятнадцатилетний мальчишка, к тому времени награжденный медалью «За отвагу», представленный к ордену, участвовавший в боях, ничем-таки и не выделялся среди взрослых?..

Написала я и Маргарите Ивановне Лобановой. Долго пришлось ждать отклика. И наконец:

«...Не получилась у Юры жизнь, на какую он имел право. Как-то вскоре после войны его осудили на срок, вполне достаточный для того, чтобы состариться.

Как, что, почему? История слишком длинная, давняя, для меня не совсем ясная. История не для воспоминаний.

А человек из Юры мог получиться замечательный, попади мальчик в надежные руки. Характера он был мягкого, открытого, был хороший маленький друг для всех нас. Пожалуй, все доброе в характере и обернулось бедой в трудный день.

Не знаю, где сейчас Юра. Последняя с ним встреча была лет 20 назад. После встречи года два переписывались. Потом он потерялся лет на 16. Потом нашелся: прислал письмо с печальной повестью о себе. Около трех лет назад получила последнее письмо».

И ответ Маргариты Ивановны — лишнее подтверждение, что Юра называл правильные адреса. Да, писал, да, из колонии, да, просил о помощи.

Письмо, которое я отправляла в Казахстан, матери Юры, вернулось ко мне нераспечатанным. «Адресат не разыскан» — гласила наклейка.

И вот мы с Григорием Васильевичем разбираем письма и поступки людей, которых Юра считал самыми близкими, верными, авторитетными: матери, бывшего командира, наставницы. И каждый из них в тяжелую для парня минуту бросил его.

Но есть в этой истории и еще один виновный: партизан, разведчик, герой... Этот главный виновный — сам Юра, спасовавший в тяжелую минуту. Захватил его внезапно налетевший мутный поток — и он, как говорится, поплыл по течению, не стараясь выбраться на твердый берег.

Помните: «Если я не за себя — то кто ж за меня?»!

А Юра Пареньков сам первый стал против себя, во зло себе, вопреки предыдущей своей жизни...

Да, он сам главный виновник невообразимого, алогичного, непонятного поворота в своей судьбе.

«ЗА» и «ПРОТИВ»

Главный виновник и в то же время главный пострадавший. Много в этом деле «за» и «против» Юры.

1947 год. Юный герой возвращается в Ленинград. Он совсем мальчишка. Он умел ориентироваться в лесу, но не смог определиться в сравнительно простой ситуации, когда повздорил с патрулем.

Тот мальчишка, который еще недавно бесстрашно ходил в атаки, был упорен в достижении цели, непреклонен в борьбе, вдруг сдается. Написал только одно письмо — Н. В. Черномазу.

Но, черт возьми, разве на Н. В. Черномазе свет клином сошелся?! Необходимо было написать и в училище, и в Министерство обороны, и в райком комсомола, и товарищам по партизанскому отряду... Надо было писать. Забить тревогу! Он не имел права не бороться за себя, за свое будущее. За честь свою и товарищей по борьбе.

Потому что если общество в ответе за каждого человека, то и каждый в ответе за себя перед обществом.

...В то единственное письмо, письмо Н. В. Черномазу, он вложил всю свою надежду, всю свою веру во взрослых товарищей, в друзей, которые всегда приходили на помощь, выручали из беды.

Для Юры молчание Н. В. Черномаза было не просто молчанием данного конкретного человека — безмолвствовали все взрослые друзья и наставники.

Труднее падать с высоты. А Юра Пареньков был высоко поднят в той своей прежней жизни. Он вправе был ожидать если не почестей и фанфар, то хотя бы внимания и понимания. Психологический удар был слишком силен.

Да, во время войны партизаны заботились о мальчишке, старались облегчить ему военные тяготы, опекали его. А вот воспитывать было некогда. Им, взрослым, вооруженным опытом прежней жизни, было даже невдомек, что трудности для парня могут начаться именно в мирной жизни, что его надо подготовить к простейшим, бытовым сложностям. Что в мирной жизни тоже будут испытания...

Дело Юры Паренькова... Конечно, важно было разобраться, почему произошло так, а не иначе. Прошлое нам нужно, чтобы правильно строить будущее.

В истории Юры Паренькова нам важно было найти тот миг, с которого началось падение. Найти, чтобы падение остановилось.

Найти сильные стороны его характера, чтобы на них опереться.

Напомнить Юре о его былой силе.

Предъявить к нему требования, чтобы он чувствовал ответственность за себя, за свою судьбу перед людьми.

Словом, поступить так, как поступает Григорий Васильевич: у заключенного Юрия Паренькова отвоевывая героя Юру Паренькова.

Вот одно из писем Григория Васильевича:

«Здравствуй, дорогой наш боевой Орленок! Низко кланяемся вам, Юрий Иванович, моя супруга Антонина Алексеевна и я, боевой привет от друзей-партизан: Кондратьева А. Д., Буйного Н. П., Мано, Буслаева В. И. и от других.

Как ты, дорогой наш Юрочка, чувствуешь себя после нашего отъезда? Вероятно, тоже не спал ночами, всю жизнь передумал заново, все вспомнил и, конечно, принял правильное решение: сделать все хорошее, чтобы тебя освободили досрочно.

Юра, все зависит от тебя самого. Ты должен быть образцом в выполнении режима, распорядка дня... Находясь там, где ты сейчас, можно видеть только два пути: вечно сидеть и могилу, или же путь новый, светлый: свобода, семья, завод, учеба. Надо, дорогой сынок, идти по, этому второму пути. Я знаю, милый, ты поступишь только так, другого пути ты и не можешь избрать. Только так должен поступить настоящий боец.

Все партизаны нашей бригады знают о твоей трагической судьбе и принимают все меры, чтобы помочь тебе. Прошу не подводить нас, пусть в заключении, где бы ты ни был, о тебе говорили только положительно. Главное для тебя сейчас — твое поведение».

Автора второго письма я назову лишь по имени. Лида просила не упоминать ее фамилии. Да-да, это та Лида, о которой с такой надеждой говорил Юра Пареньков.

Это письмо очень личное. Его Лида написала Юре. Он переслал его мне с такой припиской: «Это первая женщина в моей жизни, которая поверила мне такому, каков я есть. И, наверное, не напрасно».

И в этом письме тоже борьба с Юрой за Юру, за его будущее:

«Юрок, у меня ничего не изменилось. Часто, даже всегда, думаю о тебе. Не знаю, почему, но я сейчас больше жду от тебя телеграммы «Выезжаю».

Когда это будет? Если бы ты знал, каким я тебя представляю. А вдруг ты окажешься совсем другим?

Ну, что касается твоего последнего письма... Подчеркнула я в нем совсем мало. Писать стал грамотнее. А ты не верил! Видишь?

Знаешь, Юрка, я верю тебе, в твое выздоровление. Но больше всего я хочу, чтобы ты сам поверил в жизнь, в мечту, в доброту людей и чтобы ты стал одним из лучших. А это будет тогда, когда ты вычеркнешь из своей жизни прошлое. Ведь оно идет к концу и больше не повторится...»

Пожалуй, впервые в послевоенной жизни так произошло, что у Юры появились настоящие друзья, сильные люди и женщина, которая ждет.

Теперь письма Юры обращены не в прошлое, а в будущее.

«Помилуют меня, освобожусь ли я досрочно или полностью отсичу срок — словом, когда освобожусь, поработаю в Сибири. Вот и Лида пишет: к этому времени кончит институт и тоже приедет ко мне.

Так что не обижайтесь: сразу в гости не смогу приехать. Хочу, чтобы совсем выветрился дух колонии, только тогда уже можно к вам.

Не волнуйтесь: никакой беды не произойдет. Это я твердо решил. Верьте мне!»

Когда этот номер был подписан к печати, пришла весть: в Прокуратуре РСФСР было пересмотрено дело Паренькова. Состоялся суд; первого марта Юрий Иванович Пареньков вышел на свободу...

КУРЧАТОВ, каким я его знал

РАССКАЗЫВАЕТ В. С. ЕМЕЛЬЯНОВ

Член-корреспондент Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда Василий Семенович Емельянов — известный ученый, государственный и общественный деятель. На протяжении многих лет был одним из руководителей исследований в области атомной энергии. Корреспонденты «Юности» Теодор Гладков и Григорий Цитриняк побывали в гостях у В. С. Емельянова и записали его устные рассказы о нашем великом соотечественнике академике Игоре Васильевиче Курчатове.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Осенью 1945 года я присутствовал на заседании Научно-технического совета при Совнаркомом СССР, где обсуждался вопрос о разделении изотопов урана. В то время я имел самое смутное представление об изотопах, потому что, когда мы изучали курс физики в 20-х годах, об изотопах в учебниках не было сказано ни одного слова, а позже мне, металлургу,

сталкиваться с ними не приходилось. Здесь же мы должны были рассмотреть вопрос о разделении изотопов. Докладывал академик И. К. Кикоин.

На заседании я сидел рядом с В. А. Малышевым, заместителем Председателя Совнаркома. Он наклонился ко мне и спросил:

— Ты что-нибудь понял? Я ответил шепотом:

— Немного.

Малышев вздохнул и сказал:

— Хорошо, что хоть немного, — я совсем ничего не понял.

Слова Малышева меня обрадовали, потому что я ему сказал неправду: я тоже ничего не понял из того, что говорил Кикоин. Это была совершенно новая тогда для нас область науки. И Малышев и я были инженерами. Он механиком, я металлургом. Области наук, связанные с тем или иным производством, нам были близки. Но здесь шла речь об изотопах. Во всем мире в начале сороковых годов было всего одно промышленное производство этого рода: в Норвегии действовал небольшой завод по производству тяжелой воды. Все остальные работы по изотопам ограничивались чисто научными исследованиями в нескольких лабораториях. Только очень узкий круг ученых, занимавшихся в то время атомным ядром, интересовался изотопами.

Я знал Малышева как очень способного инженера, умеющего быстро разбираться в сложных научно-технических проблемах, и подумал: «Если уж и он еще не разобрался, тогда, значит, не все потеряно. Разберемся».

За последние два десятилетия перед нами стояло столько трудных задач: и научных, и инженерных, и политических, — разбирались же в них! Иногда, правда, ошибались, но исправляли ошибки, двигались дальше.

И все же здесь все было другим, особым. Мы понимали: здесь ошибаться нельзя — у нас не будет ни средств, ни времени для исправления ошибок. Надо действовать наверняка и быстро находить правильные решения. Нам нужно быстро, очень быстро не только разобраться в невероятно сложных новых научных и инженерных проблемах, но в огромном масштабе развернуть все работы: и научные и инженерные. Мы должны быстро понять все стоящие перед нами задачи и знать их так, как знает докладчик — академик Кикоин. Нам необходимо быстро войти в новую для нас область и немедленно начать организацию всего того, что требуется для промышленного производства этих самых, пока еще неизвестных нам изотопов.

Каждый из нас уже овладел искусством выполнять одновременно не одну, а несколько функций. С первых дней революции мы в одной руке держали винтовку, а другой писали проекты наших законов, держали инструмент, необходимый нам для строительства заводов, институтов и школ.

Теперь, видимо, придется снова быстро постигать сложнейшие области науки, создавать новую, еще не ведомую нам промышленность и одновременно держать в руках курс современной физики. Хотя этот курс был неполным: он тоже создавался в процессе работы.

Но мы были большими оптимистами: «Ничего, и с этим справимся».

Все это проносилось у меня в голове, когда я слушал доклад академика Кикоина.

В комнате, где происходило заседание, был человек с черной бородой своеобразной формы — лопаточкой, который привлек мое внимание. Среди собравшихся он был единственным с бородой. Я обратил еще внимание на взгляд его удивительно живых глаз. Эти глаза запомнились мне сразу на всю жизнь. В тот памятный день взгляд их, как солнечный блик, переходил с одного на другого и, казалось, освещал каждого из сидящих в комнате, охватывал и изучал его. Никогда в жизни я не встречал людей с такими глазами. Видимо, этот человек по нашим лицам понял: мы чрезвычайно слабо разбирались в том, что докладывал Кикоин.

— Исаак Константинович, — спросил он Кикоина, — а не можете ли вы поподробнее изложить тот процесс, который происходит в камере у стенок пористой перегородки?

Когда докладчик стал подробно рассказывать о физических явлениях и прибегать к аналогиям, облегчающим понимание тех сложных процессов, которые происходят в газовой камере, содержащей различные изотопы, бородач улыбнулся. Потом его взгляд перешел на нас с Малышевым, и мне стало ясно: вопросы его, заданные докладчику, вызывались вовсе не тем, что он не понимал чего-то из рассказа. Нет. Он просто хотел, чтобы мы поняли все, что докладывалось.

После заседания я узнал, что этот человек — научный руководитель урановой проблемы, как она тогда называлась, молодой академик Игорь Васильевич Курчатов.

За несколько дней до заседания я получил назначение и вошел в новый для меня мир — мир атома, — в среду людей, с которыми мне ранее не приходилось сталкиваться, и должен был заняться совершенно новыми для меня научными проблемами.

До этого я несколько лет проработал в Комитете стандартов, где мне приходилось заниматься и научными и техническими вопросами, связанными буквально со всеми отраслями промышленности. В Комитете стандартов мы разрабатывали технические законы страны, каковыми у нас являются стандарты. Нам приходилось разбирать тонкости технологических процессов всех производств. Мы занимались условиями службы машин, приборов, механизмов, материалов. Видимо, этими соображениями и было вызвано мое назначение в новую область.

Практическое использование атомной энергии требовало постановки новых задач перед многими предприятиями, специализированными институтами и лабораториями. В решение проблемы нужно было вовлечь специалистов самых различных областей науки и техники.

Иногда ответы на сложнейшие вопросы, возникавшие у нас, мы находили у специалистов таких отраслей знаний, что трудно было предполагать возможность найти у них необходимые решения. Нам помогали и металлурги, и механики, и химики, и биологи, и текстильщики, и специалисты по стеклу. Проблема была комплексной, и ее можно было решить только путем объединения максимального числа людей, наиболее сведущих в области науки и техники.

— Вы, вероятно, уже знаете о решении и о том, чем мне предстоит заниматься? — спросил я Курчатова.

— Да, знаю, — ответил Игорь Васильевич. Его глаза заискрились.

— Мне хотелось бы обсудить с вами перечень научно-исследовательских работ, кои следует в первую очередь поручить привлеченным организациям. Как вы думаете, могли бы мы встретиться завтра?

Курчатов раскрыл большую толстую книжку-тетрадь, которую держал в руке, и стал листать ее, мурлыкая:

— Завтра, завтра — не сегодня... Завтра, завтра — не сегодня... — Потом замолк и резко произнес: — Нет, завтра не могу: завтра у меня много встреч... Мы могли бы увидеться с вами, скажем, в семь тридцать, но в восемь часов ко мне придет... Давайте встретимся не завтра, а послезавтра — ведь у нас должен быть длинный разговор. Ну как, поняли, что Исаак Константинович говорил?.. В этом процессе, как у выхода из кино после окончания киносеанса: маленькие, юркие люди быстрее проскакивают, чем грузные и малоподвижные. Вот нам и надо создать такие условия, чтобы затруднить движение больших, крупных молекул и поспособствовать юрким.

Лицо Курчатова осветила мягкая улыбка, а в глазах забегали насмешливые огоньки...

Часто спрашивают: почему именно Курчатов, тогда совсем молодой, был назначен научным руководителем атомных исследований, почему, руководителем не стал какой-нибудь маститый академик, ученый с мировым именем? На это надо ответить, что проблема была Курчатову близка — ядро его интересовало, и соответствующие работы молодого ученого были известны еще до войны. Уже в 1937 году академик А. Ф. Иоффе в статье, опубликованной в «Известиях», отмечал «интереснейшие опыты по расщеплению ядра,

произведенные И. В. Курчатовым и его сотрудниками». Кроме того, в научном мире были хорошо известны его организаторские способности, его энергия и многие другие данные, необходимые для руководителя. Именно поэтому, когда видных советских ученых спросили, кто мог бы возглавить работы по урановой проблеме, все сошлись на одной кандидатуре: Курчатов. Теперь мы знаем, что они не ошиблись.

Конечно, на решение этой важной проблемы партия и правительство бросили все силы и создали все необходимые условия. Но надо прямо сказать, что если бы во главе проблемы стоял не Курчатов, то у нас такого успеха могло бы и не быть. Может быть, мы затратили бы много средств, но быстрого успеха не добились бы. На наше счастье, во главе исследований оказался Курчатов, который и проблему понимал великолепно и как нельзя лучше подходил для выполнения сложных обязанностей научного руководителя.

«ТАМ, ГДЕ ВЫДУМЫВАЮТ АТОМНУЮ БОМБУ...»

Через день после первой встречи с Курчатовым мы направились к нему в институт вместе с одним из работников, привлеченных в атомную промышленность, В. Ф. Калинин. Валерий Федорович уже был там однажды.

Институт Курчатова, если можно назвать институтом тогдашнюю небольшую лабораторию, находился в Покровском-Стрешневе, в то время слабо застроенной части пригорода, куда в начале 20-х годов москвичи выезжали на дачи. Я адреса не взял, рассчитывая на то, что Калинин знает дорогу. Да здесь-то точный адрес трудно было и назвать: говоря языком военных, не было ориентиров. Улицы еще не проложены, кругом сосны да заборы, за которыми шло какое-то строительство. Шофер остановил машину, мы вышли и стали осматриваться.

— Где же институт? — спросил я Калинина.

— Где-то поблизости, только я не могу точно припомнить. Мы были здесь один раз, ехали вечером в машине и разговаривали, я и не заметил, куда нас привезли. Помню только, что подъехали к высокому деревянному забору и прошли через небольшую калитку...

К нашей машине подбежали ребята. Ребята все знают, — может быть, их спросить? Но как спросишь — мы даже не знаем, как институт называется: он носит кодовое наименование...

— Ну как же это так, — стал я ворчать на Калинина, — поехали и даже адреса не узнали как следует!

— Где-то здесь, — вновь повторил Калинин.

— Ребята, здесь где-то находится исследовательский институт. Не знаете, как к нему проехать? — обратился я к группе десяти-двенадцатилетних мальчишек, окруживших машину.

— Какой институт? — спросил один из них.

— Научно-исследовательский институт... ну, как вам еще объяснить?.. Он находится где-то здесь недалеко, за деревянным забором...

Ребята отошли от машины, сгрудились, и я услышал, как один из них шепотом сказал:

— Это, наверное, тот, где атомную бомбу выдумывают...

— Вам надо проехать дальше, вдоль забора, пока не увидите калитку, — ответили ребята. — Вот там этот институт и находится.

Адрес оказался точным...

Мы поднялись на второй этаж единственного корпуса, где размещалась лаборатория Курчатова. Он нас уже ждал. Мы поздоровались и тут же приступили к делу.

— Надо будет строить большие атомные котлы. Возникает необходимость организовать проведение многих работ. — Курчатов начал ходить по комнате. Лицо его было серьезным, а взгляд ушел куда-то вдаль. Казалось, перед глазами его вставали те места,

где должны будут выполняться эти исследования. Как будто он мысленно взвешивал возможности их проведения.

— Сегодня мы попытаемся наметить то, что следует проделать в первую очередь. Уран, графит, тяжелая вода — без них нельзя начинать строительство атомных котлов. Уран требуется очень чистый — нужно поставить работы по очистке урана. Вы ведь металлург? — обратился ко мне Курчатов. — Вам и карты в руки. — Он повернулся к окну, и его взгляд опять ушел куда-то далеко-далеко. — Кого можно привлечь к этим работам? Вы металлургов знаете. Здесь много дел — без людей ничего не сделать... Некоторые примеси надо полностью удалить из урана. Следует подумать о том, как устроить облаву на вредные для нас атомы. Придется гоняться за каждым таким атомом. Давайте запишем, что конкретно и прежде всего следует сделать...

Мы начали записывать. Перечень становился все длиннее и длиннее, а вопросы, которые ставил Курчатов, казалось, не имели конца.

Графит... У нас в стране имелось производство графита, но здесь требовался графит особой чистоты, из которого надо было полностью удалить ряд примесей. И прежде всего бор. Вот тогда и появилось это выражение — «чужие атомы». И мы говорили о том, какое количество «чужих» атомов допустимо на один миллион атомов «своих». Мы говорили: «Может быть, и можно допустить 5 — 6 «чужих» атомов на миллион «своих». А у меня сразу же возникали такие мысли, грустные по тем временам: как это среди миллиона «своих» хотя бы только найти 5 — 6 «чужих»? Да ведь требуется не только найти, но поймать и удалить. Какими методами мы их оттуда извлечем?..

Как-то перед этим в Москве искали преступника, который совершил несколько преступлений. Все было брошено на его поиски. Я подумал: в Москве взрослого человека, так сказать, крупный объект, не могут разыскать, а здесь — 5 — 6 невидимых атомов, которые надо найти среди миллиона других и как-то изгнать. Как это сделать?

Я сидел, смотрел на Курчатова, и мне казалось, что я становлюсь участником какой-то фантастической истории. Курчатов, наверное, догадался об этом, потому что повторил:

— Да-да, 5 — 6 атомов. Их надо уметь найти, как-то «зацепить», вытащить и выбросить. Они нам не нужны, они испортят все дело.

Потом он начал говорить, как важно предохранить графит от попадания влаги.

— Вот эти бруски графита ведь надо чем-то покрыть. Но как их покрывать? Давайте думать, кто бы мог этим заняться.

Словом, возникало огромное количество вопросов, которыми мне раньше не приходилось заниматься.

Некоторые из них казались такими сложными, что сразу даже и не виделись пути их решения, не ясно было, с какого же конца к ним подходить. Было много гордиевых узлов, а одной решительности Александра Македонского, разрубившего сложный узел, было мало.

Надо было не рубить узлы, а распутывать и развязывать.

Стояла задача — создать промышленность, какой еще не было. Предстояло распахать целину в науке и технике, организовать многочисленные промышленные производства, опираясь на только что завершенные, а иногда даже и на незаконченные научные исследования и на научные теории, только что возникающие.

И для науки и для промышленности эта область была новой, и, как при цепной реакции, каждый вопрос вызывал серию новых вопросов.

ПИПЕТКА ДЛЯ КОМАРИНОГО НОСА

Когда атомные исследования получили значительное развитие и в работу вовлекли десятки институтов и тысячи людей в Москве и в других городах, — на циклотроне Радиевого института в Ленинграде было получено небольшое количество плутония. Коллектив ученых института работал над технологией выделения этого плутония, и мы готовились к тому, чтобы начать исследование его свойств. Игорь Васильевич пригласил

меня к себе и сказал, что скоро сможет дать небольшое количество плутония; это будет шарик диаметром в полмиллиметра — металлурги такой шарик из металла называют «корольком». Курчатов сказал, что надо будет поставить работу по изучению свойств плутония.

Как известно, в природе плутония нет — при образовании планеты он был, но весь распался. Никто из нас не знал о плутонии почти ничего. Было неизвестно, как он выглядит, при какой температуре плавится, хрупок он или пластичен, ни физических, ни химических свойств мы не знали. О свойствах плутония мы судили, только пользуясь таблицей Менделеева: зная, в какой группе плутоний находится, могли предполагать, какими он должен обладать свойствами.

Курчатов не преминул добавить: на первых порах мы не сможем дать вам, металлургам, даже десятка граммов. Придется обходиться только теми крупицами, что получим на циклотроне. Вот когда котлы начнут действовать, тогда дадим килограммы. Готовьтесь к постановке исследований новыми методами.

— Надо привлечь кого-то, кто имеет опыт работы с малыми количествами веществ. Мне кажется, лучше всего пригласить тех, кто работал с платиной, — у них есть такой опыт. Я бы рекомендовал вызвать Черняева и посоветоваться. Может, поговорите с ним?

Академик Илья Ильич Черняев, крупнейший наш специалист в области платиновой группы металлов, ныне покойный, был тогда директором Института общей и неорганической химии Академии наук СССР. Я позвонил ему, и он пришел.

Я сказал Черняеву, что следует подготовиться к постановке исследовательских работ по плутонию. Прежде всего нам необходимо знать все его физические свойства. Я перечислил, что нам нужно знать: температуру плавления плутония, временное сопротивление, поперечное сжатие, ударную вязкость и все другие характеристики, обычно определяемые для всех металлов и сплавов.

По мере того, как я говорил, лицо Черняева мрачнело. Он мне ничего не ответил и попросил перенести разговор на завтра.

— Хорошо, Илья Ильич, давайте завтра. Когда вас устроит?

— Давайте в десять часов.

На следующий день в десять часов утра Черняев пришел ко мне и вынул из портфеля коробочку. В ней на черном бархате были закреплены четыре шарика меди разного диаметра: в 1 миллиметр, в 0,8, в 0,6 и в 0,5 миллиметра в поперечнике. Черняев сердито посмотрел на меня и с раздражением сказал:

— Прежде, чем давать задание, надо хоть немного соображать. Вот шарик в один миллиметр, а вот — в полмиллиметра. И вы хотите, чтобы я на этом количестве металла и температуру плавления определил, и механические свойства, и микроструктуру исследовал, и все аллотропические формы... Я думал раньше, что самая маленькая вещь на свете — комариный нос. А вы хотите получить от меня пипетку, чтобы мистоль комару в нос пускать?!

Мы не заметили, что рядом стоит Курчатов. Игорь Васильевич, смеясь, хлопнул Черняева по плечу:

— Правильно, Илья Ильич, вы прекрасно поняли задачу! Вот именно — нам такая пипетка и нужна. А раз вы задачу понимаете, я уверен, что вы ее выполните.

У Черняева раздражение мгновенно прошло, он засмеялся и сказал:

— Раз надо, так надо. Я тоже засмеялся. Курчатов спросил:

— А вы чего смеетесь? - — Я анекдот вспомнил.

— Какой?

— Вы знаете, один человек попал на ипподром и заметил, что у него шнурок у ботинка развязался, он нагнулся, чтобы его завязать, и вдруг кто-то ему на спину накинул седло.

— Ну и что? — спросил Курчатов.

— Побегал. Что же делать, надо так надо, первое место не занял, но на второе вышел.

Все рассмеялись, а Черняев повторил:

— Раз надо, так надо. Может, и первое место займем.

С этого дня началась организация работ по изучению свойств плутония.

КРИТИЧЕСКАЯ МАССА

Я уже как-то рассказывал об этом случае, который произошел, когда мы приступили к решающей стадии работы. Тогда нам надо было организовать производство изделий из металлического урана-235, легкого изотопа, идущего на производство ядерного оружия. Мы должны были получить с диффузионного завода уран в форме газа, шестифтористого соединения урана, и газ превратить в металл. Тогда мы еще не знали точной величины критической массы для различных соединений урана, при которой начинается цепная реакция. Когда незадолго перед тем мы говорили с А. Завенягиным, он сказал:

— Кому-то из нас надо ехать на завод — мы металлурги. Или тебе, или мне.

Я ответил:

— Поеду я, так как я отвечаю за научно-исследовательские работы, мне сам бог велел ехать.

Перед отъездом я спросил у Курчатова, какова величина критической массы для различных соединений и в различных растворах. Он мне назвал величину для основного соединения, с которым мы должны были работать, и я выехал на завод. На заводе эту операцию переработки мне надо было проводить вместе с одним инженером, Николаем Васильевичем. Мы должны были выпустить газообразное соединение урана в раствор и получить в осадке твердое вещество. В осадке мог начаться процесс ядерного деления. Не обязательно сразу взрывного характера, но распад ядер мог происходить с большим выделением нейтронов, и мощный нейтронный поток нас бы облучил. Николай Васильевич спросил меня:

— Какова критическая масса для этого соединения?

Я назвал. Тогда он сказал:

— Знаете что, давайте эту работу проведем вон в том домике — там никого нет.

Я сказал Николаю Васильевичу:

— Что, взрыва боитесь? Он ответил:

— Нет, не боюсь, я вспомнил один случай... Во время войны я жил в небольшом домике. Однажды утром я встал и начал бриться. Только намылился и побрил одну щеку, как объявили воздушную тревогу. Я все оставил в кухне на столике, где брился, и пошел в убежище, а когда вернулся — домика не было, но кухонный столик с моим бритвенным прибором сохранился. Я подумал: «Если я человек, то добрею. А если животное — не смогу». И я добрился и даже не порезался... А теперь давайте займемся ураном.

В домике, получив баллон с шестифтористым ураном, мы начали выпускать из баллона газ в раствор через систему весов. Во время работы меня неотступно преследовала мысль: а что же будет, когда мы перейдем от опытов к промышленному производству? Потребуется создать много параллельных линий, большое количество мелкой аппаратуры... А нельзя ли все-таки взять большую порцию? Если бы можно было пустить в производство большее количество шестифтористого урана, — сразу все резко сократится... Я спросил:

— Николай Васильевич, а может быть, мы увеличим количество вдвое?

Он сказал:

— Давайте.

В следующей партии мы увеличили вдвое количество перерабатываемого вещества — смотрим, нейтронные счетчики не работают: значит, ядерной реакции еще не происходит.

Потом нам принесли второй баллон. Я сказал:

— Может быть, пустим в переработку все? Это как раз в четыре раза больше критической массы, названной нам. Как вы думаете, Николай Васильевич, может быть, все выпустим?

Мы выпустили из баллона весь газ. Счетчики не работали. Тогда я сказал:

— Ну, хватит.

Мы переработали полученное, через день я вернулся в Москву и встретил Игоря Васильевича, а у него глаза прямо горели от нетерпения.

— Ну, как? — спрашивает. Я говорю:

— Игорь Васильевич, какая все-таки критическая масса для наших условий?

Он повторил величину. — А может, добавьте?

— Ну, можно увеличить вдвое... Вы что, пробовали?

— А может, можно еще добавить?

— Вы что, пробовали? — повторил Курчатов.

— Пробовали. Брали в четыре раза больше названного вами количества.

Тогда он как-то по-особенному тепло посмотрел на меня и сказал:

— Рассчитанная критическая масса в десять раз больше, но вдруг мы где-то ошибаемся? Мне вас было жалко — а вдруг попробуете и сразу же увеличите количество против расчета. Что, разве я не знаю, как у вас к расчетам относятся? Ведь вот попробовали же вы!

Курчатов бережно относился к людям, с которыми работал. Несмотря на то, что расчеты были произведены точно, Игорь Васильевич на всякий случай назвал меньшую величину критической массы, — мало ли что может произойти, потому что люди действительно ведь любят пробовать. А если попробуют, а в расчете критической массы допущена ошибка? Или просто возьмут больше расчетного количества? Тогда катастрофа. Надо помнить, что в то время создавался совершенно новый процесс. У нас иногда даже теоретических предположений не было. Теория шла рядом с экспериментом. Нужно было и теоретические основы создавать и эксперименты проводить.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Годы, которые прошли после первой встречи с Курчатовым, были временем чрезвычайно интенсивной работы. Нужно было создать в стране многочисленные центры для проведения самых различных исследований. Достаточно сказать, что, когда мы столкнулись с необходимостью организовать производство нужных материалов — урана, графита и ряда других, — потребовалось огромное количество разнообразных химических реагентов высокой степени чистоты. Например, во всех лабораториях, где проводились работы с ураном или графитом, как огня боялись бора. Бор нужно было исключить отовсюду. В то же время наша химическая промышленность многих химикатов и химических реактивов той степени чистоты, которая требовалась, не производила. Поэтому нужно было организовать производство нескольких сот новых химических веществ. А чтобы организовать каждое такое производство, надо было еще разработать технологический процесс и провести исследовательские работы в условиях, когда многих методов вообще еще не существовало. И во главе всей этой организационной и научно-исследовательской работы стоял Курчатов.

Надо иметь в виду, что Игорь Васильевич всегда брал на себя решение самых сложных задач — и научного и, конечно, организационного характера. Его можно было видеть везде: и в лабораториях, и на заседаниях в министерствах, ведомствах, комитетах, и в институтах. Каждая минута у него была чем-то занята, причем занята самой разнообразной деятельностью. Тот, кто думает, что Курчатов занимался только чисто физическими проблемами, глубоко ошибается. Он занимался и физическими, и химическими, и инженерными исследованиями. Он слушал, давал советы, помогал доставать необходимое оборудование, материалы, привлекал людей и объяснял им, что требуется сделать, для чего это необходимо и почему так важно.

Но вот, наконец, дело подошло к пуску первых атомных котлов. (Тогда они еще назывались котлами, только позже, после первой Женевской конференции 1955 года, их

стали называть реакторами.) И Курчатов поехал на место сооружения первых котлов и проводил там все время. Мне довелось видеть его и в этой роли — в роли научного руководителя на рабочей площадке, где строились атомные котлы. И там к нему шли все: и ученые, и инженеры, и строители. Курчатов вводил в действие первые котлы, пускал их, прожив несколько месяцев на площадке. Только слово «площадка» никого не должно вводить в заблуждение — на самом деле это были грандиозные сооружения, на таких площадках потом возникли города с многотысячным населением.

И вот наступил знаменательный 1949 год, дни первых испытаний атомной бомбы, на которые Курчатов поехал.

В тот год мы все были в особенно нервном напряжении. Ведь никто из нас не знал, взорвется бомба или нет. Испытание должно было подвести своеобразный итог всей деятельности огромного коллектива, делали мы то, что нужно, или шли по ложному пути, ибо создавалось то, чего еще не было. Мы должны были получить плутоний и из него создать бомбу. Мы его получили. Но плутоний ли это?

Помню, в то время мы работали до 3 — 4 часов ночи, и я как-то шел с одного из таких бдений вместе с А. Завенягиным, одним из руководящих работников организующейся в то время атомной промышленности. Стали мы вспоминать нашу учебу в Горной академии. Но, видно, думал он совсем не о далеких днях учебы, так как неожиданно сказал:

— А вдруг мы получили не плутоний в этом «корольке»? Вдруг что-то другое?

Действительно: пять лет труда, миллиардные вложения, многие тысячи людей, занятых атомными работами, взбудоражены все ученые, поставлена на дыбы вся страна... И вдруг не взорвется...

Мы понимали, что только взрыв бомбы даст окончательный ответ на все вопросы.

Нельзя забывать и о международной обстановке: шел 1949 год, был разгар холодной войны. Если взять американские газеты того времени, то можно найти в них не один десяток статей с угрозами в адрес Советского Союза, с призывами ряда американских сенаторов сбросить на СССР атомную бомбу, пока Советский Союз ее еще не имеет.

Взорвется или нет — этот вопрос, естественно, каждого из нас волновал, но больше всех, видно, Курчатова, хотя внешне это ни в чем не проявлялось.

За год до первого испытания атомной бомбы Игорь Васильевич подал заявление о приеме в члены КПСС и специальным решением ЦК был принят сразу в члены партии без прохождения кандидатского стажа. Заявление Курчатова о приеме в партию напомнило мне те заявления, которые подавали бойцы Советской Армии перед боем.

Но вот, наконец, бомба взорвалась, на полигоне появилось искусственное солнце и поднялось грибовидное облако. Разрушены и искорежены специально построенные для определения силы взрыва промышленные сооружения, жилые дома, мосты, военная техника, танки, самолеты, артиллерийские орудия, вагоны и паровозы... Страна получила мощное оружие — надежную гарантию защиты завоеваний Октября. И в этот момент у Курчатова, находившегося на командном пункте, на какое-то мгновение нервы сдали. Игорь Васильевич бросился на шею к одному из стоявших рядом товарищей и зарыдал... Но быстро взял себя в руки и стал прежним Курчатовым — волевым, энергичным, деятельным.

Быстрота, с какой Советский Союз создал атомное оружие, поразила мир. Все газеты Запада трубили до этого, что русским на создание бомбы потребуется не меньше пяти, десяти, даже двадцати лет. Но никакой сенсации в нашем успехе, конечно, не было. Просто-напросто американцы выдавали желаемое за действительное. Кроме того, они делали вид, будто не знают, какой вклад внесла русская наука в раскрытие тайны строения атома.

Можно напомнить о взглядах М. В. Ломоносова на строение вещества. Можно напомнить, что значило Для развития физики и химии гениальное открытие Д. И. Менделеева.

Менее известно широкому читателю, что, например, академик Иван Романович Тарханов уже через год после открытия Рентгена начал изучать воздействие х-лучей на живые организмы и заложил основы радиобиологии.

Широкие исследования по изучению самих радиоактивных веществ в России начал еще до революции В. И. Вернадский, а в 1922 году по его инициативе в Петрограде создается Радиевый институт, где работали такие выдающиеся ученые, как Л. С. Коловрат-Червинский, Л. В. Мысовский, В. Г. Хлопин.

Еще раньше, 24 сентября 1918 года, В. И. Ленин подписал декрет Совнаркома о создании Государственного института рентгенологии, преобразованного потом в Физико-технический институт. ФТИ стал центром атомных исследований в стране. В его лабораториях в разное время работали многие выдающиеся ученые с мировыми именами, как А. Ф. Иоффе, Н. Н. Семенов, А. П. Александров, А. И. Алиханов, Л. А. Арцимович, Б. П. Константинов. Питомцем института был также Игорь Васильевич Курчатов, который еще в 1932 году начал здесь разработку циклотронной установки. Еще через пять лет первый в Европе циклотрон вошел в действие.

Можно назвать ряд очень значительных достижений наших атомников в те годы: открытие П. А. Черенковым нового типа излучения, издаваемого быстрыми частицами при их прохождении через вещество (так называемый эффект Черенкова) и объяснение этого явления И. Е. Таммом и И. М. Франком, работы И. Е. Тамма и других советских физиков по теории ядерных сил, гипотеза Д. Д. Иваненко о составе атомного ядра и т. д.

В 1940 году К. А. Петржак и Г. Н. Флёрв открыли самопроизвольное деление ядер урана, при котором испускаются нейтроны, а Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович определили условия для того, чтобы ядерный процесс шел непрерывно, то есть имел цепной характер.

Эти исследования сыграли огромную роль в решении задачи практического использования атомной энергии.

Война с гитлеровской Германией затормозила, но не остановила в СССР работы по атомной и ядерной физике. Советские ученые предвидели огромные возможности атомной энергии, в том числе и для военных целей, но стремились в первую очередь поставить атом на мирную службу.

Лишь трагедия Хиросимы и Нагасаки, американская угроза термоядерной войны заставили советских ученых обратить свои знания и опыт на создание атомного и ядерного оружия. Задача была чрезвычайно сложная и в научном, и в техническом, и в экономическом отношениях. Но все условия для ее решения в нашей стране объективно уже существовали. Их создал героическим трудом советский народ, руководимый Коммунистической партией.

И в кратчайший срок наше государство получило несокрушимый атомный, а затем и ядерный щит...

Взрыв бомбы был, естественно, основным экзаменом и основным итогом. Мы узнали, что задача решена, и дело теперь только за отлаживанием технологических процессов. Дальше было уже то, что свойственно любой отрасли производства. Но для Курчатова такая деятельность была не по нутру — он искал новые пути.

Стали появляться проекты новых атомных реакторов, появились новые физические идеи. И естественно, что после успешного решения проблемы ядерного деления в порядок дня встала проблема термоядерного синтеза, в том числе сначала неуправляемого, хотя Курчатов уже в то время вынашивал мысль и об управляемом термоядерном синтезе.

После удачных испытаний атомной бомбы стали быстро проводиться работы по водородной бомбе. И здесь так же ярко проявился талант Курчатова. Он стал активно искать наиболее разумные пути быстрого решения этой чрезвычайно сложной проблемы.

Известно, что на 6 тысяч молекул обычной воды содержится одна молекула тяжелой воды. Мы в свое время долго думали, как ее «вытащить». Необходимо было разработать новые для нашей страны технологические процессы производства. В конце концов мы эту задачу решили. Но вот в порядок дня встало создание водородной бомбы, для которой нужна не тяжелая вода, а тяжелый водород. Одно дело — тяжелая вода, другое — тяжелый водород. Ведь это газ. Как же газ включить в бомбу? И долго мы ломали голову над тем, в какой форме водород может быть подан в бомбу. В связи с этим потом возник вопрос о

создании ряда сложных производств, таких же сложных, как производство легкого изотопа урана — урана-235 и плутония.

Как известно, все проблемы были успешно решены. И если мы позже, чем американцы, взорвали бомбу деления, то зато раньше их создали бомбу синтеза.

Я вспоминаю одного голландского журналиста, который в свое время задал мне вопрос, интересовавший тогда буквально всех. До сего времени перед моими глазами стоит этот журналист — высокий, худой, нервный... Вопрос был такой:

— Профессор, скажите, чем вы как ученый объясняете, что Советский Союз, не будучи самой индустриально развитой страной, первым построил атомную станцию, первым построил судно с атомным двигателем и первым запустил искусственный спутник Земли?

Я тогда спросил журналиста, в свою очередь:

— А если я вам это объясню, вы опубликуете?

— Да.

— А где у меня гарантии? Он ответил:

— Я редактор газеты.

— Хорошо. Но ответ у меня будет длинный.

И мне пришлось ему рассказывать о том, что хорошо известно нам, советским людям, и что недостаточно отчетливо понимают за границей: о преимуществах социалистического строя, о возможности концентрировать силы на основных вопросах, об отсутствии в СССР тех трудностей, которые имеются в капиталистических странах, где один концерн заинтересован в одном, другой — в другом, третий — в третьем... И так далее.

Тогда журналист, внимательно слушая и записывая, сказал:

— Что же вы хотите сказать — у вас прогресс, а в капиталистических странах нет никаких успехов и никакого прогресса?

— Нет, я не могу этого сказать. Но ведь вы мне совсем другой вопрос задали: почему мы первые, а не они создали и атомную станцию, и ледокол с атомным двигателем, и спутник. Это совсем другой вопрос... Даже больше вам скажу: я уверен, что, если бы сейчас в Америке был социалистический строй, они имели бы еще большие успехи и нам бы их, по-видимому, невозможно было догнать.

Тогда он спросил:

— А почему вы делаете такое заключение? Как это проверить?

— Пусть попробуют — и тогда убедятся сами. Свое слово голландец сдержал — интервью было опубликовано.

Успехи в атомных исследованиях оказывали и оказывают существенное влияние на многие другие области науки и промышленности, поднимают их на новую ступень.

Достаточно сказать, что появление радиоактивных изотопов дало возможность в ряде отраслей промышленности по-новому поставить контроль и управление производственными процессами.

Курчатов это знал и всячески пропагандировал широкое использование радиоактивных изотопов. Как-то у себя в институте Игорь Васильевич организовал совещание и пригласил министров, их заместителей, работников Госплана и других руководящих работников. Его не занимало, как выражаются юристы, конституционно ли это собрание. Он просто считал, что это нужно для страны, и потому проблемой надо заниматься. Когда все собрались, кто-то в шутку заметил, что Курчатов созвал заседание Совета Министров — столько министров и их заместителей там оказалось. Большинство из приглашенных на совещание пришли, да к нему и не могли не прийти — он умел так поставить вопрос, что отказаться было невозможно.

На совещании Курчатов выступил с докладом о том, какое значение имеют радиоактивные изотопы для народного хозяйства страны. Там присутствовал заместитель министра здравоохранения, и, обращаясь к нему, Игорь Васильевич сказал, что с помощью

радиоактивности мы можем диагностировать заболевания и лечить многие из них. И потому надо этим заниматься, надо дать в клиники и больницы радиоактивные изотопы. Мы, сказал Курчатов, дадим медикам то, что им нужно.

Он обращался к металлургам, к химикам, к пищевикам, к текстильщикам, к представителям многих других отраслей промышленности. Никакого отношения к военным аспектам применения атомной энергии обсуждавшиеся на совещании вопросы не имели.

Широкое применение изотопов сделало буквально переворот во многих областях: в автоматике, в управлении, в контроле, в исследованиях. Мы сейчас используем огромное количество радиоактивных изотопов в самых различных областях.

Трагедия Хиросимы и Нагасаки, угроза термоядерной войны, нависшая над человечеством, вынудили нашу страну создать ядерное оружие.

Но вместе с тем мы ясно видели, что основное направление в реализации фундаментального открытия ядерной физики текущего столетия — деления атомных ядер — заключается в энергетическом использовании для сооружения электростанций, приведения в движение судов и для других аналогичных целей.

Это Курчатов отчетливо видел, и он предпринимал энергичные меры к тому, чтобы широко поставить необходимые научные и инженерные работы. Именно Курчатов предложил и продвигал строительство первой атомной электростанции в Обнинске. Не успело еще закончиться строительство этой станции, как Игорь Васильевич начал вызывать людей, проводить совещания и настойчиво, со свойственной ему неумемной энергией поднимать новые вопросы создания атомных реакторов самого разнообразного типа для более мощных электростанций.

Его энергией и усилиями возникли научно-инженерные проекты Воронежской и Белоярской станций. Поэтому вполне заслуженно и оправданно Белоярская атомная электростанция и носит его имя.

То, что посеяно Курчатовым, ныне дает обильные всходы и отмечается разработкой проектов новых, еще более мощных атомных электростанций.

Работы в области мирного использования атомной энергии, как и все другие научные и технические исследования, осуществляются в Советском Союзе планомерно, в соответствии с общим планом развития народного хозяйства страны. Они планируются на основе не только текущих, но и будущих потребностей нашего общества.

Наша программа строительства промышленных атомных электростанций и исследовательских работ по атомной энергетике вызвана не тем, что Советский Союз испытывает недостаток в органическом топливе. Запасы органического топлива и гидроресурсы в СССР обеспечат нужды страны на длительное время и в больших масштабах.

Дело в том, что атомная энергия имеет ряд преимуществ перед другими видами энергии. Энергия ядерных процессов является наиболее концентрированной формой энергии. При сжигании одного килограмма даже наиболее калорийного химического топлива можно получить только 12 тысяч килокалорий. При делении же ядер одного килограмма урана выделяется 16 миллиардов килокалорий. Ядерное топливо является легко транспортируемым видом топлива; там, где сейчас требуются сотни тонн угля, можно будет обойтись килограммами урана.

Среди ученых нет споров о том, можно или нельзя рассматривать ядерное деление как практический источник энергии. Этот вопрос решен положительно. Горячо обсуждаются и ведутся острые дискуссии по другим вопросам — как преобразовать атомную энергию наиболее дешевым путем, как снизить стоимость изготовления оборудования и строительства атомных станций, как повысить долю энергии, вырабатываемой атомными электростанциями, в общем энергетическом балансе.

Курчатов, будучи большим реалистом, понимал основные трудности проблемы и энергично их устранил, прокладывая пути к энергетике будущего.

Проблема термоядерного синтеза, о чем мечтал Курчатов, еще не решена. Она пока не вышла из стен лабораторий. Но я глубоко убежден, что и эта проблема также будет решена. И надо помнить, что начало этим работам тоже положил Курчатов.

Курчатов был сторонником широкого научного сотрудничества. Любопытно, что, когда мы вели переговоры о сотрудничестве с другими странами и я собирался в 1959 году ехать в Америку для переговоров о сотрудничестве с учеными США, Игорь Васильевич выдвинул проблему, которая вошла в меморандум, подписанный потом нами и атомной комиссией США. Он предложил совместно строить крупный ускоритель.

Курчатов был большим реалистом. Он говорил: конечно, атомные работы пока в основном связаны с военными делами. Трудно найти такие области, где бы нам не мешала эта военная сторона работ. Но как раз ускорители, физика высоких энергий, свободны от этого. Мы можем здесь широко сотрудничать. И давайте отсюда начнем сотрудничать. Тут над нами не будут висеть те трудности, которые мешают работать вместе в других областях.

Эти идеи вошли в подписанный тогда меморандум. Многие ученые — и в Америке и в Европе — знают, что инициатором и патриотом этого дела, глашатаем его был Курчатов. Одним из ярких примеров международного сотрудничества ученых-физиков' является Дубненский институт, в организации которого Курчатов принимал самое горячее участие.

Говоря о Курчатове, нельзя не сказать и о том, что характерной особенностью его была забота о подготовке молодых кадров. Курчатов очень многое сделал для подготовки кадров ядерных физиков. Началось это лет двадцать назад.

Дело в том, что, когда мы начали заниматься атомной проблемой, ученых, которых можно было привлечь к этим работам, было не так много. Ядерная физика сама по себе была очень молодой наукой, и лиц, которые занимались атомным ядром и радиоактивностью, было мало. Что же касается инженерного состава, который мог практически реализовать замыслы Курчатова по созданию промышленных установок, — таких людей вообще не было. Поэтому вопрос подготовки кадров приобрел большую остроту.

В то время уже началась подготовка кадров для атомных работ в нескольких институтах в стране, в том числе в Московском университете. В МГУ тогда физиков по проблемам ядра фактически не готовили. Больше того, среди части ученых бытовало даже мнение, что теория относительности является идеалистической. Этот вопрос был одним из тех, на которых «скрестили мечи» физики МГУ и академических институтов. Все это волновало Курчатова. Он решил активно вмешаться, чтобы оздоровить положение в Московском университете.

Курчатов попросил Малышева, тогда заместителя Председателя Совета Министров СССР и члена Научно-технического совета, который занимался атомной проблемой, собрать физиков. Малышев собрал совещание, и Курчатов подробно информировал их о положении дел в МГУ. Заседания шли несколько дней.

Мы обдумывали, кого из ученых следовало бы привлечь для преподавания, кого следовало бы рекомендовать деканом на физический факультет МГУ. Нынешний декан физфака Фурсов был ближайшим соратником Курчатова. Игорь Васильевич просто уговорил его взять на себя тяжесть руководства факультетом.

Курчатов занимался не только вопросами подготовки специалистов в МГУ, но вместе с Завенягиным, Ванниковым и другими посвятил много времени и труда, чтобы организовать подготовку кадров и в масштабе всей страны. По его советам в ряде институтов такая подготовка кадров была организована для создающейся атомной промышленности.

Сюда входили геологи по разведке урановых руд и горняки по созданию урановых рудников, специалисты для работы на атомных котлах и специалисты по разделению изотопов урана, по радиохимии, по тяжелой воде, по обогатителям урановых руд и так далее.

Помню, мы как-то сидели вместе с Курчатовым у Завенягина. Он графил лист бумаги и записывал в клеточки новые специальности и требуемое количество специалистов.

— Сколько нам потребуется таких специалистов? — спрашивал Завенягин. — Столько-то человек достаточно?

Очень остро стоял тогда вопрос о тех, кто должен читать учебные курсы студентам. Все было ново, и многие из руководителей атомных исследований, как почти единственные специалисты в своих областях, должны были читать лекции.

Сам Курчатов лекции не читал: у него на это просто не хватило бы времени. Но он работал с высшим командным составом, и те, кто читал лекции, знали Курчатова и поэтому понимали, что именно нужно читать студентам. Тут была прямая связь.

Перестройка эта принесла свои плоды, и в 50-х годах в наших центрах появилось много молодежи, успевшей получить нужные специальности. Многие молодые специалисты стали известными учеными.

Игорь Васильевич был прав, когда заявил на XX съезде КПСС, что объем атомных работ очень велик, но и силы наши теперь велики. «На смену небольшому отряду ученых, которые начинали работу, выросла воспитанная партией армия ученых, инженеров, конструкторов, сильная, молодая, способная решать труднейшие задачи».

ВЫЗОВ ПРИНЯТ

В 1959 году с группой советских ученых мне довелось побывать в США и, в частности, посетить Окриджскую атомную лабораторию в штате Теннесси. Эта лаборатория является одной из крупнейших национальных лабораторий США, где уже тогда работало пять тысяч человек. На пресс-конференции, которая была организована после посещения Окриджа, любознательные журналисты задавали разного рода вопросы, в том числе мне задан был вопрос о том, как это нам удалось так быстро построить установку «Огра» для термоядерного синтеза.

— В этом году в Советском Союзе находился председатель атомной комиссии США. Когда он вернулся, то сказал, что видел термоядерную установку «Огра», которая построена за восемь месяцев, тогда как для строительства аналогичной установки в США потребуется два с половиной года. Скажите, пожалуйста, — спросили журналисты, — почему нам потребуется два с половиной года на то, на что у вас ушло всего восемь месяцев?

Я ответил, что американских условий не знаю, и поэтому они сами должны разобраться, почему им надо два с половиной года. Но на вопрос, как нам удалось построить «Огру» за восемь месяцев, ответить могу. И я рассказал историю, которая произошла на одном из уральских заводов во время Великой Отечественной войны.

Нам нужно было выпускать танки «Т-34». В то время башни и часть корпусных деталей имели сложную геометрическую форму. Они штамповались из броневого стали под прессом. Когда я приехал на завод, фундамент под новый пресс мощностью в 5 тысяч тонн был готов, но к монтажу самого прессы еще не приступали.

Я металлург, занимался броней и знал, что обычно для монтажа прессы такой мощности нужно примерно 4 — 6 месяцев. А была осень 1941 года, немцы стояли под Можайском. У меня, тогда уполномоченного Государственного Комитета Обороны, язык бы не повернулся включить в план наших работ четырехмесячный срок на монтаж. Я созвал бригаду монтажников и сказал:

— Объяснять ситуацию вам нечего — немцы под Можайском. Танки нам нужны сейчас. Я должен планировать выпуск корпусов для сборки танков. Скажите, когда вы сможете смонтировать пресс? Когда мы сможем начать на нем штамповку деталей?

Бригадир тогда ответил:

— Оставьте нас одних минут на двадцать, мы посоветуемся.

Когда я через двадцать минут вернулся, он сказал:

— Мы просим распорядиться, чтобы нам поставили лежаки вот тут, рядом. Спать не придется, мы будем отдыхать, когда уже будет невмоготу. И скажите, чтобы обед из

столовой приносили прямо сюда: мы не можем тратить время на хождение в столовую. Если это сделаете, тогда мы пресс смонтируем... за 17 дней, — закончил бригадир.

Когда я подходил к бригаде во время монтажных работ, иногда только был слышен лязг гаечных ключей — работали молча, лишь порой срывались крепкие «технические» словечки.

Пресс смонтировали за 14 дней...

Когда я рассказал об этом в Окридже, мне ответили: 0

— То было военное время, тогда был особый подъем. Но что помогло вам теперь, в мирное время?

И тогда я сказал:

— А теперь нам помог научный обозреватель газеты «Нью-Йорк тайме» Финни, который, кстати, присутствует на пресс-конференции.

А дело было вот в чем.

В марте 1958 года Финни побывал в Женеве, где в то время шла подготовка ко второй Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии, и написал, что на конференции Соединенные Штаты возьмут реванш у Советского Союза за спутники. Финни полагал, что США покажут размах работ по термоядерному синтезу и продемонстрируют много новых термоядерных установок. Надо напомнить, что прошло уже два года со времени знаменитого выступления Курчатова в Харуэлле (к этому я еще вернусь), после которого исследования по термоядерному синтезу получили во многих странах особенно большой размах.

На Женевских конференциях был установлен такой порядок: доклады, которые, читались на заседаниях, иллюстрировались экспонатами национальных отделов выставки. На конференции говорили о термоядерном синтезе — и демонстрировали на выставке модели установок по термоядерному синтезу. Говорилось об атомных электростанциях — и показывали модели атомных электростанций. Говорилось об использовании атомной энергии в судостроении — и показывали макеты, чертежи или фотографии тех судов, которые построены или намечались к строительству.

В то время у нас уже сооружалась самая крупная в мире термоядерная установка «Огра» (она и сейчас действует в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова, и ее демонстрировали неоднократно не только советским ученым, но и иностранным гостям), но подготовка экспозиции нашего павильона на выставке в Женеве проводилась с большим опозданием от установленного графика.

Когда Игорь Васильевич узнал о статье Финни, он поехал на завод, где сооружалась «Огра», и сказал рабочим, занятым изготовлением оборудования для установки:

— Нам сделан вызов: американцы хотят взять реванш за спутники. Мы вышли в космос, кое-кто в Америке раздражен этим и хочет показать, что если их обогнали в космических исследованиях, то они обошли нас в другой области — по управляемому термоядерному синтезу. Как, примем вызов?

И люди ответили:

— В доску расшибемся, но сделаем!

И построили установку за восемь месяцев.

Этот случай с «Огрой» говорит о Курчатове как о тонком психологе, хорошо понимавшем душу русского человека и использовавшем свои знания для борьбы за решение важнейших задач, которые стояли перед страной. Игорь Васильевич обладал необыкновенным даром «зажигать» людей. Но истины ради следует сказать, что в данном случае он не только «зажег» коллектив, но и помог решить многие задачи практического характера.

А в конце пресс-конференции я не мог отказать себе в удовольствии процитировать одно из любимых четверостиший Тютчева:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:
У ней особенная статья —
В Россию можно только верить.

Но думаю, что не все присутствовавшие на пресс-конференции в Теннесси поняли, в чем здесь дело.

(Окончание следует.)

СРЕДИ КНИГ

*

В серии «Ровесник» издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу К. Непомнящего «Коммунисты» — книгу о Генри Уинстоне, Хесусе Фариа, Хулиане Гримау и их боевых товарищах. По журнальным и газетным статьям читателям памятли имена этих героев-коммунистов. Но вот многих рядовых участников битвы за мир, за коммунизм они узнают, по-видимому, впервые. Порою, читая книгу «Коммунисты», даже жалеешь, что рабочие, адвокаты, общественные деятели, прогрессивные журналисты, которые с риском для жизни помогали героям-подпольщикам, защищали их на суде, протестовали против пыток, издевательств, убийств, не стали главными героями книги К. Непомнящего.

Автор книги «Коммунисты» пишет о своих героях не понаслышке: долгие годы был он корреспондентом «Правды», «Комсомолки», АПН, многое он основывает на личных наблюдениях, дополняя их свидетельствами зарубежной прессы. Это придает лучшим страницам книги характер живого свидетельства, столь ценимого читателем, делает рассказ запоминающимся, убедительным.

В. Ноткин

*

Когда-то в Литературном музее я увидел афишу о вечере Маяковского, в программе которого был удивительный пункт. Он звучал так: «Поэт должен быть чуть-чуть голодным». И вот теперь, читая и перечитывая рассказы Вас. Гроссмана («Добро вам!». Изд-во «Советский писатель»), я ловлю себя на том, что эта фраза постоянно со мной. Не знаю, о чем тогда говорил Маяковский. Думаю, не о пользе хронического недоедания, наверное, о другом — о вреде пресыщения. И даже не хлебом насущным, а большим — жизнью. Одно с другим бывает часто связано, но не всегда. Граф Л. Н. Толстой, живший, в общем-то, безбедно, был начисто лишен подобного чувства, даже испытывал приступы ненависти к собственному благополучию, видя неблагополучие вонруг. Иногда это выливалось в странные, почти фарсовые поступки, над которыми легко посмеяться (хождение босым за плугом), если бы не трагический исход вдали от теплого барского дома, на заброшенной железнодорожной станции. Можно искать разные объяснения, но главное — совесть, которой был наделен русский писатель. И если совесть художника — традиция, завещанная классиками, то Вас. Гроссман оказался одним из самых чутких к ней. Не только оттого, что его собственная судьба была трудна.

У Вас. Гроссмана нет клятвенных признаний в том, что он обожает жизнь в трубных звуках весеннего гимна. Но в любом, даже грустном рассказе всегда есть стремление отстоять ее. Он утверждает жизнь, находя доброе в смятенной душе человеческой. Он утверждает ее и своей ненавистью к тем, кого душой не наделили, но кому успели сшить или мундир оберштурмбанфюрера, или «шелковую рубашку палача».

Можно было бы говорить об эпизоде на берлинской скотобойне из рассказа «Тиргартен», который потрясает обыденными подробностями и необыденными аналогиями.

Можно было бы упомянуть одно из лучших произведений советской прозы последних лет — рассказ «Несколько печальных дней», в котором жестокосердие героев оборачивается против них самих. Можно было бы еще сказать об умении писателя придать самым простым, обыденным подробностям обобщающий характер. О многом можно было бы сказать. Но лучше этого не делать. Чтобы понять гроссмановские рассказы, нетрудно их раззять на составные, но почувствовать их можно только в целом.

Лев РОШАЛЬ

*

Мы открываем книгу А. Тумбасова и идем за автором через ручьи и горы, едем по тряской лесной дороге. На моторке, на катере, на веслах по Каме, мимо плотов и буксиров, мимо бумажного комбината с высоченными трубами, отражение которых долго тянется за нами по стыллой, оловянной воде. Едем в поле к геодезистам, к геологам, переправляемся на пароме через Вишеру. Расступается перед нами тайга...

Куда же мы? На канал. Здесь так говорят, но канала еще нет. только разрабатывается гидротехнический комплекс от Верхнекамской ГЭС к Вычегде и Печоре. На места будущих строек идут изыскатели, геодезисты. Идет художник.

Эти пути-дороги мечтались Анатолию Тумбасову давно, еще на фронте. Вместе с другом Иваном Чистовым они задумывали пойти с этюдниками по земле, чтобы запечатлеть ее красоту, красоту неба, рек, строек, заводов. И людей. 18-летний художник Ваня Чистов остался навеки на поле сражения. У Анатолия Тумбасова мечта сбывается. Он уже побывал на Печоре, на приполярном Урале, привез кипу рисунков с Боткинской ГЭС и написал книгу о ней. И вот Прикамье.

«Эхо камня Говорливого» называется его вторая книга, вышедшая в Пермском издательстве. Это записи обо всем виденном, маленькие рассказы, очерки и рисунки. Книга не связана сюжетом, хотя обнимает Прикамье со всех сторон. Край как бы распахнул ворота, и мы входим в его сокровенные хранилища.

Книжка хорошо. со вкусом издана в Перми В ней много рисунков Несомненно, она привлечет внимание читателей любящих природу, которую изобразил А. Тумба сов и словом и карандашом.

Е. СУВОРИНА

*

Может быть, самым интересным в литовской литературе последних лет является стремление показать современного человека в минуты духовной обнаженности. Чаще всего это бывает в дни внутренних переломов и прозрений, вызванных серьезными жизненными кризисами.

Именно в такие минуты мы встречаемся с героем «Каунасского романа» (изд-во «Советский писатель») литовского писателя А. Беляуснаса, знакомого русскому читателю по романам «Цветут розы алые» и «Мы еще встретимся, Вилма!». Сигитас Селис, парень из рабочей семьи, отец которого гюгиб в Силезии, вскоре после войны выдвигается на комсомольскую работу. Начало романа застает его в момент резкого психологического сдвига, вызванного смертью шестилетней дочери, единственно близкого Селису существа. Под влиянием этой тяжелой утраты он вспоминает и как бы заново переживает и переоценивает всю свою прошлую жизнь, представляющую собой систему бесконечных жизненных компромиссов. Неопытный в жизненных вопросах юноша, став волею обстоятельств зав. отделом кадров горкома, не оправдывает своего назначения, перестает видеть за бумажками живых людей. Постепенно он отучается думать, становится формалистом, утрачивает свою индивидуальность, перестает существовать как личность.

Заслуга А. Беляуснаса в том, что он своим романом решает проблему личной ответственности человека за все происходящее в мире. «Соберется» ли Селис в личность, подберет ли осколки своей индивидуальности, растерянные на крутых дорогах эпохи, — ответ на этот вопрос остается за пределами романа. Важно, что пережит глубокий душевный кризис, что тот яркий свет сознания, который должен освещать человеку дорогу жизни, внезапной вспышкой осветил его душу. В беспощадном осуждении самого себя — залог возможного духовного возрождения героя.

Сложное психологическое содержание романа продиктовало и соответствующую форму, которая стала уже распространенной в литовской литературе последних лет. Это внутренний монолог, это образы-символы, пронизывающие весь роман, как узор — ткань.

Е. ВЕТРОВА

*

В своей новой книге стихов «Март великодушный» (изд-во «Советский писатель») Булат Окуджава выделяет лучшие свои песни в самостоятельный раздел, тем самым окончательно утверждая их как полноправную часть своей поэтической работы. Возникшие как реакция на часто безличную индустрию массовой песни, они органично вошли в наш быт, став началом целого течения литературной песни, в чем-то выразившего эмоциональный настрой нашей молодежи. Каков же он, этот поэтический характер, и чем он так впору пришелся времени?

Еще несколько лет назад Окуджава почти в одиночестве, с какой-то даже обреченностью повторял в песнях и стихах слова и понятия, казалось бы, безнадежно скомпрометированные и превратившиеся в романсовые штампы, повторял, не боясь показаться чувствительным и сентиментальным. «Женщина», «душа», «шарманка», «любовь — кровь», «надежда»... И все сливалось в несколько даже старомодное повествование о любви и горечи безответного чувства, жизни и войне, предательстве и верности, «прощеньи и прощании», ненависти и доброте. Но в стихах Окуджавы первоэлементы человеческих ценностей как бы очищаются от прежних наслоений и предстают во всей своей доподлинности. Это достигается своеобразным сопряжением ушедшего и настоящего. Поэт как бы утверждает преемственность главного в жизни, в человеческих отношениях.

Не громкие «оркестры Земли», но старенькая шарманка, «смешной, отставной, одноногий солдат» человечности, ведет главную партию в поэзии Окуджавы. Ей противопоставлены громкие слова, а патетика нередко прячется за иронию, Но тот большой резонанс, который она получила, действительно знаменателен.

Не потому ли, что всем критическим эпохам присущи рецидивы сентиментализма, вырастающие из стремления к прочности?

Г. ГРИЦАЙ

*

В стихотворении Николая Глазкова «Памяти Миши Кульчицкого» есть две таких строки: «Стихами сминая немецкую проволоку, колючую, как готический шрифт» («Пятая книга», изд-во «Советский писатель»). Само по себе поэтическое сравнение и неожиданно, и точно, и сразу же запоминается. В стихотворении Николая Глазкова оно тем более бросается в глаза оттого, что на мой взгляд, не характерно для его творчества.

Нет, я совсем не хочу сказать, будто образ этот у кого-либо заимствован по ощущению, по способу мышления или видения и пр. Он оригинален, многозначен эмоционально, содержателен и по праву принадлежит его автору. Лично для меня это значит, что Николай Глазков может писать ' и так. Может. Но обычно пишет иначе.

Замечаю утром ранним

На дорожных лужах лед...
Потому похолоданье.
Что черемуха цветет!
Ну, а если вырвем
с корнем
Всю черемуху, тогда
Мы приход тепла
Ускорим
И прогоним холода?

По своей простоте и непосредственности работы Глазкова близки к народному творчеству. Его стихи различны по художественному уровню, порой даже слишком различны, но лучшие из них. при всей своей простоте глубоки, а поэтому афористичны и универсальны, как сама народная мудрость. Образы поэта привлекают обескураживающей непосредственностью, кажущейся наивностью. Но попробуйте опровергнуть это неожиданное, почти детское умозаключение: «Грачи прилетели к нам до Саврасова, осень до Левитана была золотой». Так пишет Николай Глазков, вступаясь за нынешних пейзажистов, за правомерность их творчества в наши дни. Причем обратите внимание на оброненное поэтом словечко «к нам». К нам — это не больше не меньше, как «до Саврасова». Вот вам ощущение времени, истории, принадлежности к России — черта, органически присущая творчеству Глазкова. В другом месте, восхищаясь псковским Кремлем, он заканчивает стихотворение: «Стены псковские прекрасны в оборонном отношенье». В середине двадцатого века-то. когда, не говоря уже о новейшем вооружении, достаточно скорострельной пушечки, чтобы вдребезги разнести эти каменные стены! Но ТРУД и искусство умельцев прошлого для поэта — собственное его достояние, реальный и живой мир.

Николай Глазков любознателен, жаден до впечатлений, до всякого про явления жизни.

Но откликаясь на то. с чем сталкивается, Николай Глазков не уходит во впечатления с головой. Он и в увлечении сохраняет ясный, строгий ум. Простота его весьма серьезна, афористична, обнаженно естественна и не лишена философской нагрузки. Поэтому-то читатель Глазкова интеллигентен. Дело даже не просто в интеллигентности. Дело в том. что духовная обедненность — неважное подспорье для понимания творчества Николая Глазкова. У него вряд ли найдутся подражатели, ибо можно подражать чему угодно, только не самобытности самой природы.

Валентин ПРОТАЛИН

ПОЧТА «ЮНОСТИ»

ДОРОГИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Я жизни каждого человека бывают незабываемые дни, часы и даже минуты. Таковы и те минуты, которые мы проводим на Красной площади, у Мавзолея Ленина. Люди идут к Ильичу непрерывным потоком. Идут, чтобы снова и снова прийти. Среди этих людей был не раз и я. Когда бы я ни приехал в столицу нашей Родины, моим первым желанием всегда бывает быстрее прийти на Красную площадь поклониться Ильичу. И еще мне всегда хочется погладить рукой гранит Мавзолея. Я вижу его... и передо мной, как наяву, встают те, мертвые и живые, кто, не чувствуя усталости и не считаясь со временем, тесал эти гранитные плиты...

Я работал в те годы каменотесом в селе Лизники на Житомирщине. Это большое село утопало в вишневом и яблоневои цвету. За садами и белыми украинскими хатами лежали покрытые зеленым мхом валуны, похожие на шапки огромных грибов. Розовый гранит с

черными мелкими точками находился не только на поверхности, Но и глубоко в земле. Карьер, в котором мы тогда работали, был невелик. Огромные пласты гранита каменотесы расшатывали взрывами, а потом вручную обрабатывали каждую плиту. Приспособлений для облегчения этого тяжелого физического труда было очень мало, инструмент несложен, но нужен был навык, чтобы трудный камень поддавался человеку.

Никогда не забуду короткого собрания, на котором нам было поручено выполнить важное правительственное задание: . изготовить из лизниковского гранита плиты для возведения Мавзолея В. И. Ленина. Мы были горды тем, что именно нашему коллективу выпала честь выполнить этот почетный заказ.

Проходили в упорном труде дни, недели, месяцы. Каждый из нас внимательно наблюдал за ходом работы на карьере. Отстающих не было. Все мы перевыполняли наши задания.

Я еще не был тогда комсомольцем. В то время их вообще было мало. Но многие из нас в душе были ими: я вспоминаю, с каким упорством мы работали, не считаясь ни со временем, ни с усталостью, с каким задором пели «Наш паровоз, вперед лети...», «Орленок». Я вспоминаю, с каким вниманием мы слушали рассказы нашего старшего мастера Александра Михайловича Михайловского — для нас он был просто дядя Саша — о том, что он видел Ленина, был на его выступлении, слышал его голос. Вызывая в памяти этот хоровод прежних дней, я вспоминаю, свою юность как комсомольскую. Да ведь через год или два я и стал комсомольцем.

Наконец однажды над карьером взвился красный флаг, возвестивший, что правительственное задание выполнено досрочно. Трудно описать этот день. Помню, как мы поздравляли друг друга.

Вот почему для меня так особенно дороги воспоминания о далеких днях моей молодости — воспоминания о друзьях и товарищах, чьи руки касались этих гранитных плит, еще когда они были в земле. Вот почему я особенно волнуюсь, когда стою в ленинского Мавзолея...

А. Л. ЛИЛОВ,
контролер ОТК Черновицкого завода металлоизделий

ПИСЬМО К ДРУГУ

Здравствуй! Я не жалею, что уехала на экскурсию. Эта неделя дала мне больше, чем десять лет в школе. Впервые я почувствовала себя «слабой женщиной», и мне это понравилось. Никогда раньше я не представляла себе, что это очень приятно, когда тебе подадут руку, чтобы помочь спуститься из вагона или помочь подняться, когда тебе приносят воду и помогают открыть окно, — знаешь, в вагоне их очень трудно открывать. Ведь это мелочи, но мелочи приятные. Я не могу сказать, что в нашем классе ужасные мальчишки, но когда я вернулась, я попала в другой мир. Я отвыкла от толкотни в столовой, когда мальчишки, чтобы взять стакан чаю, работают локтями изо всех сил. Я отвыкла от того, что со мной не здороваются, отвыкла от того, что у меня вырывают книгу.

Почему же раньше мне не казалось это диким? Я удивленно поделилась этим с одноклассницей. Она пожала плечами и с невеселой усмешкой сказала, что у нас это принято. В чем дело? Ведь с нами были мальчишки из школ нашего города. Неужели у себя в школе они такие же? Как неприятно думать, что придется привыкать снова к тому, что тебя не пропускают вперед и не уступают стула. И, знаешь, ведь во всех классах такое же. Начиная с первого.

Я видела наших мальчишек и другими, но лишь с девочками, которые им нравятся. Но нравится одна, а остальных толкают и грубят им.

И самое ужасное: мы привыкаем к этому. Уже сейчас, в семнадцать лет, я ясно вижу недостатки нашего воспитания.

Хочу сказать и о другом. Что мы знаем о классической музыке? Почему большинство моих одноклассников считает ее скучной? Где облагораживающее влияние спорта? Почему многие хихикают, проходя мимо обнаженных статуй в художественном музее? Кто виноват в этом? Пусть культура входит в нас, "как воздух, с детского сада, пусть в школе нас учат не только физике и математике.

Я заканчиваю школу, но только теперь буду знать, что бывают мальчики, младшие и старшие, которые уступают тебе место в автобусе и подают руку, помогая спуститься с высокой подножки.

Да здравствуют вежливые мужчины! Я хотела бы, чтобы это письмо увидели мои сверстники. Они неплохие ребята. Они поймут, я думаю.

Алла И.
г. Хабаровск.

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

«МОСКВА, ЛЕНИНУ...»

«Москва, Ленину». Тысячи писем и телеграмм с этим адресом бережно хранятся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции.

«Только что образовавшийся в г. Буге Коммунистический союз молодежи шлет Вам свой привет и заявляет свою готовность как один человек встать на защиту завоеваний Октябрьской революции, диктатуры пролетариата и идей коммунизма», — писал Владимиру Ильичу в марте 1919 года секретарь укома комсомола Завьялов.

«Шлем горячий привет Владимиру Ильичу, неутомимому борцу за коммунизм... Брошенная искра Коммунизма теперь разгорается в могучее пламя мировой революции.

От членов организации коммунистической молодежи г. Балашова, едущих с сердобской ротой бедноты на борьбу с Колчаком», — писали 11 мая 1919 года комсомольцы А. Ларин и И. Бородай.

Письмо, поступившее из Вятки от товарища Деньгина, было несколько иного содержания. Деньгин был огорчен, не получив путевки на фронт. Ему ответила Е. Д. Стасова:

«Дорогой товарищ! Письмо Ваше, обращенное к товарищу Ленину, поступило в секретариат ЦК.

Вполне оценивая Вашу молодую горячую готовность немедленно выступить с оружием в руках на защиту завоеваний пролетарской революции, ЦК не считает, однако, целесообразным отсюда, из Центра, опротестовывать постановление местной организации об отправке того или иного товарища на фронт.

Там, на месте, виднее, и если местные товарищи находят нужным выдержать Вас за молодостью на некоторое время в тылу, Вы, товарищ, не должны на это обижаться.

Путь коммуниста — путь долгой, упорной борьбы, и Вам представится еще много случаев доказать свою преданность революции, а потому предлагается вам, товарищ, подчинившись постановлению местной организации, воспользоваться своим пребыванием в тылу для своей теоретической подготовки, для выработки из себя вполне зрелого, сознательного коммуниста-борца.

Секретарь ЦК
Елена Стасова».

А эта телеграмма послана Владимиру Ильичу 6 февраля 1920 года:

«Вождю международного пролетариата, светочу мировой революции шлет горячий сыновний привет красная молодежь Пошехоно-Володарской уездной организации РКСМ, собравшись на своей первой уездной конференции. Конференция заявляет своему великому

вождю и учителю, что и они горят тем же огнем, который вдунут им в трудовые пролетарские массы рабочих; и кровью юных сердец молодежь Дает клятву, что оправдает те надежды, которые возлагает на нее Великая Октябрьская революция.

Президиум конференции. Корегин, Клементьев, Смекалов, Ветров, Дубровский, Соловьев, Лоскут».

Письма и телеграммы молодежи В. И. Ленину... Они доносят до наших дней дыхание незабываемых событий, энтузиазм молодых сердец, добрые дела и подвиги первых комсомольцев.

Николай ЗЕЛОВ

ИЗ НИЧЕГО — ЧЕГО

Так, в трех словах, выразил Герман Митрофанов — архитектор Бюро международного туризма «Спутник» — свою идею оформления и убранства молодежных спортивно-оздоровительных лагерей. Такие лагеря — в Крыму, Закарпатье, Закавказье, средней полосе России — появились в нашей стране совсем недавно, всего несколько лет назад. Но популярность их и у нас и за рубежом трудно преувеличить. Да и что говорить, все они — и «Ласточка», и «Сочинский», и «Великий Ростов», и «Жемчужина», и «Верховина» — превосходны.

Конечно, лагеря стоят немалых денег: проекты, стройматериалы, оборудование не падают сверху, как манна небесная. Но, оказывается, чтобы придать уже построенному лагерю (разумеется, не только из системы «Спутника», но и любому пионерскому) его собственное неповторимое лицо, оригинально украсить территорию, создать интерьер, нужно... почти ничего не нужно!

— Герман, что вы имеете в виду под этим «ничего»?

— Разумеется, не воздух и не торричеллиеву пустоту. Просто-напросто на каждой стройке валяется множество отходов, которые не представляют никакой ценности, а только всем мешают. Потом их вывезут как строительный мусор на свалку или сожгут. А между тем, если обладать некоторой выдумкой и вкусом, из этого хлама можно делать полезные вещи.

— Как на этих фотографиях?..

— Да, они отсняты в лагере «Волга», под Казанью. Очень хороший новый лагерь, он создан молодыми архитекторами из московского института «Спортпроект». Как видите, здания красивые, удобны, современны. Асбоцементные домики-хижины, единственный в своем роде купол-столовая из алюминия и стекла диаметром в 46 метров. И все такое прочее... Но речь сейчас не о том, что сделали квалифицированные строители по проекту, но о том, что мы с помощью казанских комсомольцев сделали сами. Лагерь в сосновом лесу. Спланировали его так, что не пришлось срубить ни одного дерева. Но берег Волги в этом месте потребовалось расчистить от множества огромных коряг. По-своему некоторые из них были очень красивы, как-то жалко стало их сжигать. Мы отобрали самые живописные коряги, обрубили лишние сучья, очистили от размокшей коры, обожгли — и получились оригинальные декоративные вазы, в которых можно сажать цветы. Эти гигантские вазы, кстати сказать, не боятся ни времени, ни морозов, ни дождей, ни случайных механических повреждений в отличие от гипсовых уродов, столь любимых некоторыми завхозами. Вообще коряги, корни деревьев, выкорчеванные старые пни представляют почти неограниченные возможности для подобной «малой архитектуры». Из них понаделали и беседки-грибки и мебель.

— Вы упоминали об остатках строительных материалов.

— Это вообще клад бесценный. Из обрезков труб разного диаметра, врытых в землю на неодинаковом уровне и сообщающихся между собой, можно сделать своеобразные переливающиеся бассейны. Прекрасную, необычной формы шашлычную (она потом пользовалась большим успехом) сделали из отбракованных строителями асбоцементных

плит. Домики у самого берега пришлось ставить на сваях. Между ними мы подвесили на старых якорных цепях доски; получились качающиеся скамейки. А на пляже из бревен выложили на песке нечто вроде плота «Кон-Тики», посредине установили мачту с парусом и старым, отслужившим свое штурвальным колесом.

— Так кто же занимался всем этим?

— Вначале всего несколько человек: модельщик по декоративной лепке Виктор Смирнов, садовый архитектор Людмила Панина, я сам. Потом по совету заведующего отделом лагерей «Спутника» Виктора Качанова (ему очень понравились наши первые «изделия») связались с Казанским обкомом комсомола. Оттуда прислали на помощь ребят с заводов и вузов, у которых было свободное время. Раздобыли где-то старый волжский катер, поставили его на прикол возле лагеря и оборудовали в нем плавучий ресторан.

— Скажите, вы руководствовались какими-то архитектурными принципами?

— Конечно! Но не столько архитектурными, сколько педагогическими. Ведь мы к чему привыкли? Если работать, то в любых условиях и не питать. А если отдыхать, то подавай все готовенькое — от пыльных фикусов в столовой до гипсовых физкультурниц с трехметровыми веслами. А тут оказывается, что настоящую красоту можно добывать собственными руками.

Т. КИРИЛЛОВ

Сергей Михалков

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

С каждым днем все больше и больше писем приносят почтальоны в редакцию журнала «Юность», в Московский цирк и на Вятскую улицу, в дом № 8, на квартиру режиссера Центральной студии циркового искусства Александра Аронова, опубликовавшего в прошлом году в «Юности» свою документальную повесть «Пассажир без билета».

Повесть эта о человеке подвига, стойкости и мужества, артисте цирка Льве Осинском и его друзьях Волжанских, Сандро Дадеше. Все герои эти и ныне здравствуют и выступают на манеже, умножая славу советского цирка у нас и за рубежом. Книга Аронова имеет успех у читателя. Потому что книги о тех, кого мы называем настоящими людьми, не могут не найти живого отклика в сердцах советских людей. Добрými словами отметила повесть и наша печать: «Правда», «Огонек», «Литературная Россия».

Большинство читателей в своих письмах интересуется не только дальнейшей судьбой героев, но и личностью самого автора. Вот о нем мне и хочется рассказать.

«Что вас привело в театр? Что вас привело в цирк?» На этот вопрос чаще всего молодые люди отвечают: «Я так люблю искусство, что без него не могу жить». Но, смотришь, прошли годы, и многие, отдав дань увлечению театром и цирком, спокойно сидят в зрительном зале, избрав другую профессию, живут полно и счастливо. И это правильно: если у человека нет настоящей любви к сцене или манежу, нужно уйти.

Как у многих из нас, любовь к театру и цирку зародилась у Саши Аронова еще в детстве. Отец его был ударником производства. Тогда в Московском цирке была ложа для ударников, и он вместе с отцом ходил чуть ли не на все представления. Однажды он набрался храбрости, пошел за кулисы и «заболел» цирком на всю жизнь.

Незабываемые ощущения первых цирковых представлений, первых спектаклей составляют мир мальчика. Он мечтает о героических подвигах, мечтает быть и Дуровым (дрессирует собаку и грача), и Лазаренко (стоит и ходит на руках), и Игорем Ильинским («представляет» в домашнем театре).

В школьном драмкружке играет уже не каждый ученик. Но у Саши с годами все сильнее звучит артистическая струна. Он играет во всех школьных спектаклях. «Я переиграл в «Женитьбе» Гоголя всех, кроме Агафьи Тихоновны и Дуняши, — вспоминает он, — даже сваху играл...»

Но вот пришло испытание. Как раз после окончания десятилетки, когда выпускник Аронов сидел во дворе своего дома, готовясь к экзаменам в ГИТИС, неопытный шофер грузовика по неосмотрительности дал задний ход, и юноша был буквально расплюсчен о стену.

Долгий год он пролежал в параличе. Но ровно через год, на костылях, забинтованный, будто человек-невидимка, он явился на экзамен, выдержал его на режиссерский факультет и... не был принят.

Правильно ли поступили экзаменаторы? Правильно: Режиссер должен обладать чутким слухом, а У юноши одно ухо выбыло из строя. Режиссер должен обладать зорким взглядом — один глаз не видел. Режиссер должен показать актеру движение — перед ними был парализованный инвалид. Лицо его не двигалось, походило на застывшую маску. Правильно! Но нет правил без исключения, и Саша Аронов доказал это.

В декабре 1940 года должен был состояться вечер, посвященный Дню Конституции. Аронов написал сценарий и с азартом автора и непризнанного режиссера поставил его с энтузиастами — студентами первого курса актерского факультета. Когда декан актерского факультета увидел работу Аронова, то сам предложил ему учиться на режиссерском факультете.

Так Александр Аронов победил в первом испытании и добился осуществления своей мечты.

Началась учеба. И тут дало себя знать то, чего так опасались экзаменаторы. Не гладко и далеко не успешно учился на первом курсе студент Аронов.

Но неудачи не расстроили Сашу, а лишь ожесточили, заставили его еще больше работать. Он усиленно занимался, часами просиживал у зеркала, массируя свое парализованное лицо.

Началась война. На десятый ее день Саша Аронов, несмотря на протесты врачей, ушел добровольцем в комсомольский батальон Красной Пресни, но через несколько месяцев вернулся по приказу о возвращении студентов. Институт уже был в Саратове. Выехать туда не удалось. Судьба забросила Аронова в Омск. Состав театра драмы был переполнен. Саша поступает режиссером и актером в кукольный театр. Как передать зрительному залу средствами театра кукол мысли и чувства советского человека, желающего и в тылу воевать с врагом? Аронов пишет пьесу «В последний час — (окна ТАСС)», сам ее ставит, и кукольный театр неожиданно становится агитатором, зовущим зрителя на подвиг победы.

Аронов подружился с известным режиссером цирка Борисом Шахетом. Шахет учит его цирковой режиссуре, привлекает к постановке массовых городских представлений в фонд обороны.

В 1943 году Аронов получил наконец возможность вернуться в ГИТИС. И тут произошло то, чего никто не ждал: из посредственного студента он стал отличником. На полях его письменной работы народный артист республики В. Сахновский, бывший в ту пору художественным руководителем МХАТа, пишет: «Великолепно! Уверяю вас, вы будете тонким, вдумчивым, нужным режиссером!» Он аплодирует ему на экзаменах.

«Я считаю Аронова очень способным человеком», — говорит его следующий преподаватель — народный артист СССР Ю. Завадский.

Аронов жадно учится, и не только на режиссерском факультете у Ю. Завадского, но работает у него в Театре имени Моссовета ассистентом режиссера, и не только ассистентом, но и актером, играя значительные эпизоды и небольшие роли. Но и этого мало! Он поступает на второй, актерский факультет к народному артисту СССР В. Станицыну и делается его ассистентом по классу мастерства актера. Он бессменный режиссер «капустников» — пародийных самодеятельных вечеров ГИТИСа и Театра имени Моссовета. Пришли азарт, силы и творческая жадность.

ГИТИС успешно закончен. Дипломник Аронов выходит в жизнь. Местом своей работы он избрал Калининский областной театр.

— Мы сразу почувствовали в Аронове хорошие качества, редкие в начинающем режиссере, — говорит главный режиссер театра народный артист РСФСР Г. Георгиевский. — У него была ясность замысла, умение довести его до актера, способность к решению пространственных задач и какая-то казавшаяся врожденной < профессиональность. А главное — горячий творческий темперамент и настоящая любовь к искусству, к труду.

И не только к театральному, но и к цирковому. Аронов параллельно с работой в театре является художественным руководителем Калининского цирка. Его работы вызвали большой интерес. Красочными были парады-прологи, эпилоги и тематические представления, в которых по-новому раскрывались дарования артистов цирка. Так, например, ныне заслуженный артист РСФСР Владимир Довейко впервые в Калининне начал читать стихи и отлично играть в цирковых спектаклях. И в этом, как он сам говорит, заслуга его первого режиссера — Аронова, до встречи с которым он был просто акробатом-прыгуном.

Через несколько лет по приглашению Главного управления цирков Аронов переезжает в Москву и становится режиссером Московского ордена Ленина цирка и Центральной студии циркового искусства. Он осуществляет ряд интересных постановок: иллюзионный аттракцион Ван Ю-ли, номер с масками (братья Чайковские), иллюзионный номер Галсанэ, ставит программы Карандашу, Антонио и Шлискевичу, другим замечательным клоунам; совместно с режиссером А. Арнольдом ведет большую постановочную работу, создает клоунскую группу «Семеро веселых».

Любителям эстрады сейчас хорошо известны певица Майя Кристалинская, вокальный квартет «Четыре Ю», артист и режиссер Илья Рутберг, артист кино Савелий Крамаров, певица И. Подошнян... Но не все любители эстрады знают, что начинали свой творческий путь эти артисты в непрофессиональном эстрадном ансамбле ЦДРИ, в спектаклях «Первый шаг» и «Молодые москвичи» в постановке режиссера Аронова в 1955 году.

Аронова приглашают в Московский драматический театр имени К. С. Станиславского. Он ставит спектакли в театре и цирке. Но совмещать работу в двух местах становится все труднее. Надо сделать выбор.

Аронов переходит в театр, ставит там такие значительные произведения (которые до сих пор не сходят со сцены театра), как «Сейлемские ведьмы», «Первый день свободы» и др.

Он не только ставит, но и играет: генерала фон Шратта («Дни Турбиных»), Крюгера («Домик у моря»), Тюремщика («Крошка Доррит»), полицейского и Иисуса Христа («Винченцо де-Преторе»). В этих работах Александр Аронов показал себя одаренным актером характерного плана.

Он не только режиссер, но и режиссер-педагог, хороший воспитатель. Совместно с артистом Львом Елагиным он организывает при театре вечернюю молодежную студию. Энтузиасты руководят ею в течение семи лет на добровольных началах, до последнего дня своей работы в театре. Из этой студии вышло много актеров, прочно завоевавших свое место среди ведущей молодежи сегодняшнего театра и кино. Это Вика Федорова, Елизавета Никищихина, Анатолий Стеблов, Инна Чурикова, Александр Ушаков, Людмила Гаврилова и многие другие.

Порывал ли А. Б. Аронов за десять лет работы в театре с цирком? Формально — да, в действительности — нет!

Он выезжал в длительную командировку в Польскую Народную Республику для оказания творческой помощи артистам цирка, осуществил там несколько интересных постановок.

Время от времени он и в Москве осуществлял различные цирковые постановки. Последняя из них — цирковой спектакль «Трубка мира» в цирке на ВДНХ с участием Карандаша.

Недавно Аронов снова вернулся в цирк на постоянную работу режиссером-постановщиком. По отзывам прессы, поставленные им новые номера (преимущественно музыкально-эксцентрические) пользуются у зрителей большим успехом.

Что характеризует Аронова-литератора? Он отлично знает цирк и пишет о нем точно, достоверно. Никакой приблизительности! Автор старается привить любовь к нему своим молодым читателям, знакомя их с замечательными цирковыми людьми, обычаями, особенностями.

В литературу для детей и юношества пришел со своей темой, несущей душевность и доброту, не только бывалый человек, но и настоящий писатель, книги которого, думается, каждый, даже взрослый, прочтет с удовольствием. В «Медвежьем цирке» (написанном совместно с народным артистом РСФСР Валентином Филатовым) с настоящим драматизмом описывается черновая работа дрессировщика. В книге собраны любопытные рассказы о повадках львов, медведей, слонов и других четвероногих артистов. В повести «Цирк приехал!» рассказывается о мальчишке, который решил стать артистом и сумел этого достичь, пережив много грустных и веселых приключений. Озорной и добродушный писатель ко всему еще и серьезен: он не только веселит и развлекает ребят, но и учит их разбираться в жизни.

Теперь о «Пассажире без билета». Я не собирался писать рецензию, тем более предлагать ее в журнал, где повесть была напечатана. Читатели сами по достоинству оценили ее. Отличительная особенность этой книги в том, что она документальна и очень правдива.

Почему я написал о Саше Аронове, о его жизни и творчестве, о его книгах? Потому, что знаю его больше двадцати лет и верю в него как в талантливого человека.

СПОРТ

Юрий Зерчанинов,

специальный корреспондент «Юности» в Гренобле

АХ, ЭТИ ИГРЫ...

Кажется, человечество изрядно поволновалось в эти тринадцать олимпийских дней: добросовестные телезрители пили ведрами валидол, — но у журналиста в Гренобле были свои волнения.

Безукоризненно галантные и радушные организаторы игр все обставили как нельзя привлекательнее: громко билось сердце Алена Кальма в миг зажжения олимпийского пламени, разноцветные дельфины подмигивали с полотниц по всему городу, хоккейные судьи и не помышляли, чтоб сесть или даже опереться на бортик, поскольку это невежливо, а однажды прошли по улицам веселые трубачи в цилиндрах, приглашая спортсменов и журналистов на ночной университетский бал.

Ты раздираем соблазнами. Надо смотреть хоккей, но и бобслей интересен, а трасса бобслея находится более чем в шестидесяти километрах, несколько ближе Шамрусса, где состязаются горнолыжники. Но сегодня в Шамруссе такой туман, что сами спортсмены не видят «вороты»!.. К тому же любезный мэр Дюбеду приглашает тебя на коктейль, а в Олимпик мюзик-холле поет Элла!..

А в нашей репортерской обители (я жил со своими друзьями-известинцами Львом Володиным и Борисом Федосовым) опять всю ночь обсуждается, что утром передавать — наши конькобежцы опять проиграли, к лыжники тоже...

Ты почти не спал, но в девять уже идешь завтракать, чтобы успеть в парк Мистраль на мужской «спринт». Входишь, сонный, в ресторан пресс-центра, минуешь бар, теперь надо спуститься по лестнице, взять поднос... Но останавливаешься у шоколадного замка и почтительно рассматриваешь шоколадные амбразуры в шоколадных башнях. А рядом высится сахарный Нотр-Дам, и сахарные химеры удивительно химеричны.

Жертвуешь завтраком ради искусства кулинарии...

В парке Мистраль мужчины заканчивают «пятисотку». Уже растопленный солнцем, вязкий, глухой лед не оставляет последним парам почти никаких надежд. Туристы из ФРГ затыгивают жестяными голосами какой-то патриотический марш во славу сильнейшего спринтера Эрхарда Келлера. Веселым голландцам этот марш, очевидно, не нравится, и они дудят в свои дудки, затем облачаются в звериные маски и вот уже пляшут перед трибуной, гулко припопывая оранжевыми деревянными башмаками.

А на льду, у самой беговой дорожки, стоит наш Евгений Гришин. У него пока третье время — почти уже «бронза». В январском номере «Юности», отвечая на вопрос: «Какие надежды вы связываете с Греноблем?» — Гришин сказал:

«...для участника пяти Олимпиад — посчитайте, сколько лет приходится на большой спорт у этого человека? — и «бронза» была бы в заключение большой наградой. Но, учтите, это я говорю не о себе.»)

Но сейчас, мне кажется, он уже смирился с «бронзой»! Быть может, утешает себя, что прошел дистанцию лучше других наших спринтеров. А быть может, еще не успел смириться, продолжает анализировать свой последний в жизни олимпийский забег...

— Ай-ай-ай! — кричат веселые голландцы и пляшут в свое удовольствие.

И в это время на ступеньках трибуны прессы являет себя Людмила Титова — наша первая и в то утро еще единственная олимпийская чемпионка. Она бежит вверх по ступенькам, и крылья славы полощутся за ее спиной.

Ах, зачем, репортеры, вы пристаёте к ней со своими вопросами? Разве она вас сейчас слышит?..

Сейчас возможно лишь поклоняться ей, сошедшей прямо с Олимпа, именуемого в наш прозаический век высшей ступенью пьедестала почета.

Ах, репортеры, перестаньте наконец суетиться! Но куда там!..

— Я хотел бы спросить вас, Люда...

— Все ваши вопросы так одинаковы.

— Но только не мой вопрос.

— Нет, я побежала.

— А я за вами. 1

— Так вы же за мной не угонитесь, — торжествует она.

Никто сегодня за ней не угонится: крылья славы полощутся за ее спиной.

— Мадемуазель! — Ей преграждают дорогу три парня, у каждого ее карточки.

— Автограф? — Она охотно расписывается, но вот рассматривает внимательно одну из карточек: она явно себе здесь нравится — и говорит парню по-русски: «О, дай мне эту карточку!»

В конечном счете она выпрашивает у парней все свои карточки, и даже те, которые уже подписала. Французы возбужденно переговариваются, а она смеется:

— Говорите, говорите, все равно ничего не понимаю.

И, чтобы утешить своих поклонников, дарит им значки.

— Дё, — просит один из них.

— Два? Ишь какой хитрый!

А парни смотрят на нее восхищенно: какая девчонка!

Ей досталась большая дорожка на «пятисотке», и были четыре фальстарта, но она лишь зубами блеснула на крутом вираже... И на «тысяче» ей досталась большая дорожка, к тому же Гейссен уже знала ее график, когда вышла на старт, а не то...

Людмила бежит туда, где стоит Гришин. Она-то знает, что его «бронза» стоит ее «золота».

— А-а-а! — повисает над стадионом крик.

Не скользит, а отчаянно режет коньками лед последний участник забегов — американец Ричард Макдермотт. Вопреки погоде, вопреки неверию тренеров (наши тренеры тоже не очень-то верили в Гришина) чемпион прошлой Олимпиады идет с предельной

скоростью в своей несколько странной, но низкой выигрышной посадке. Он резко выкатывается на финишную прямую, но нет уже сил «грызть зубами» лед, и Макдермотт чуть-чуть распрямляется. И все же он повторяет второе время, время норвежца Томассена, и вытесняет Гришина из призовой тройки.

А великий Гришин, нежданно лишившийся «бронзы», говорит:

— Вот ведь черт какой, американец этот! И на прошлой Олимпиаде доставил мне неприятности. И быть ему еще раз чемпионом, если бы в первых парах бежал, когда солнышко еще не пригрело!..

Служба информации Олимпийских игр сообщала аккредитованным журналистам:

— что соревнования по санному спорту могут быть отложены: трасса в Виллар де Лан тает. Чтобы охладить трассу, распыскивается азот;

— что Жильберт Беко, в голубом костюме и галстук с горошком, имел большой успех в Олимпик мюзик-холле;

— что балерина Людмила Черина, прибывшая в Шамрусс незадолго до старта скоростного спуска мужчин, не смогла остаться на трибуне из-за холода, невзирая на густую шубу из выдры и одеяло на коленях;

— что английские атлеты не следуют лозунгу, провозглашенному английским премьер-министром: «Покупайте английское». Они покупают в большом количестве пластинки Мирей Матье.

Он катил по улицам Гренобля на своем доисторическом велосипеде — к рулю был привязан детский башмак в цветах.

Альпийский колокольчик висел у него на шее, да огромная английская булавка — та заменяла галстук.

А временами он подносил булавку к губам и выкрикивал микрофонным голосом свое странноватое имя:

— Муна! Муна! Муна-а-а!

Устроителям Олимпиады Аги Муна представился как «папа хиппй». Официальный киносьемщик Олимпиады Клод Лелуш (режиссер известного нам фильма «Мужчина и женщина») и его «космонавты» — одетые в красные космические комбинезоны кинооператоры — встречали поезд, которым Аги Муна прибыл в Гренобль вместе с группой парижских хиппй. Эти тихие бунтари, сменившие скандальных битников, шли по перрону с цветами, вплетенными в длинные волосы. Но хиппй вскоре разъехались: суэта олимпийского Гренобля мешала им поклоняться цветам и любви, отрешенно курить наркотическую марихуану, — а Муна остался в столице Олимпиады, чтобы орать, хохотать на улицах, чтобы «публично сыграть на часовом механизме» (цитирую Службу информации) в честь Жан-Клода Килли.

Я познакомился с Аги Муной, приехав с двумя друзьями к нему в отель. Более скромного и непрезентабельного заведения, чем этот отель «Миди», расположенный на маленькой привокзальной улице, пожалуй, в Гренобле не сыщешь. Входишь — за стойкой сама хозяйка делает кофе и разливает вино неприхотливым клиентам. Своим диковинным видом Муна здесь никого не шокирует.

Вот и сейчас несколько подвыпивших грузчиков почтительно прислушиваются к тому, что говорит Муна. А он излагает нам свое кредо:

— Я гражданин мира. Я общественный индивидуалист. Я исправляю мозги смехом. Многие люди, которые стремятся заработать побольше денег и любят смотреть телевизор, не понимают меня. И даже надо мной смеются. Но я смеюсь над ними. Меня понимают студенты да, пожалуй, хиппй. Я сам говорил, выступая в Пале-Рояле: «Цветы или пушки!..» Почему я в Гренобль приехал? А я был и на римской Олимпиаде. Мне нравится, когда человек бескорыстно отдает себя спорту. Килли, например, такой милый парень! Вчера в Шамруссе я подарил ему свой самый маленький колокольчик. Я назвал его именем свой будильник — он звенит теперь в честь Килли!

К восторгу присутствующих он «играет» на своем древнем часовом механизме — столь же древнем, как его велосипед, — в честь Жан-Клода Килли.

Теперь я все понимаю. Пусть сколь угодно он называет себя и «гражданином мира», и «общественным индивидуалистом», и даже «папой хиппй», но я-то знаю, что в эти личины рядится сегодняшний скоморох — он и имя придумал себе скоморошье — Аги Муна!

Аги Муна! — слышишь, как тревожно мычат коровы на альпийских лугах!.. Аги Муна! — беги, владелец десятой пары подтяжек, но в какой щели ты укроешься от шутовского звона его колокольчика!.. Аги Муна! — эй, честолубец, смотри, подпалишь свою шерстку на олимпийском огне!..

Как могло такое всемирное действо, как Олимпийские игры, обойтись без скомороха? И вот Аги Муна напоминает своим соотечественникам, что не надо обожествлять даже трижды олимпийского чемпиона, тем более что он такой милый парень!..

Мы прощаемся с Муной. Он готовит уже свою шарманку, уже пришел его друг Люсьен, подобрал на аккордеоне «Калинку», и Муна спел для нас целый куплет по-русски, а теперь они пойдут по кафе, чтобы песнями заработать себе на ужин. Таков вечный удел скомороха, но Муна не ропщет. Его лишь смущает: зачем хозяин отеля в присутствии русских друзей требует, чтобы Люсьен наконец расплатился за номер?

— Люсьен же ему обещал, что завтра расплатится. Как он смеет не верить Люсьену! — возмущается Муна.

Впрочем, эта проза жизни достойна лишь осмеяния. Он подносит к губам свою огромную галстук-булавку и кричит микрофонным голосом:

— Муна! Муна! Муна-а-а!

Служба информации Олимпийских игр сообщала аккредитованным журналистам:

— что предусмотрено наконец провести два первых тура гонок одноместных санок женщин и мужчин. Для максимального затвердения льда некоторые участки желоба будут подвергнуты обработке жидким азотом;

— что ожидается прибытие в Гренобль принца Генриха Датского (бывшего Монпеза);

— что югославский гонщик на бобслее Вики Равлик получил травму бедра, а американская лыжница Карен Бюдж вывихнула плечо;

— что по случаю Олимпийских игр парикмахер Александр установил в городе большой стенд духов и что, кроме многих важных персон, Александр делал на днях прическу госпоже де Голль.

Мы шли по гулким, пустым коридорам цокольного этажа Ледяного дворца, мимо запахнутых комнат спортсменов, у ворот туннеля попрощались с уборщицей и вышли наконец на притихший темный бульвар Клемансо. Был час ночи, шел мелкий дождь.

— И что-то такси не видно, — сказал я.

— Ничего. Мы привыкли в такое время возвращаться домой с тренировок, — отвечал Олег.

А она повела зябко плечами:

— Дождь идет. И болит нога — целый день болит.

— А как же вечером? — спросил мой коллега.

— Вышла на лед и забыла о том, что болит.

Наконец мы поймали такси, и шофер так и не понял, по-моему, что он посадил в машину олимпийских чемпионов Белоусову и Протопопова и двух последних участников затянувшейся до полуночи пресс-конференции.

Каждый видел, как триумфально выступала в тот вечер наша «золотая пара». («Когда мы первый шаг сделали, — говорила потом Людмила, — я посмотрела на Олега и поняла, что будем хорошо кататься».) Но и каждый знает, что судейство в фигурном катании, как нигде, субъективно. Еще задолго до соревнований судьи внимательно читают интервью будущих претендентов, до судей доходят слухи... Если бы Олег и Людмила заявили, к

примеру, что Олимпийские игры будут их «лебединой песней», судьи явно были бы расположены проводить великих спортсменов с «золотом». Но такую игру Олег и Людмила никогда не вели, да к тому же они и не собирались прощаться в Гренобле со спортом. Зато некоторые другие пары, а также их тренеры не теряли зря времени... И самый большой парадокс, что незадолго до игр у судей складывалось мнение: на этот раз русские делают основную ставку на пару Жук — Горелик. И когда на жеребьевке обязательной программы Олег вытянул неудачный первый номер (кстати, первый раз в жизни!), вокруг все заохали и заохали: у-у, первый номер...

Но Олег нашелся:

— А я себе номер на пьедестале выбрал.

— Да?

— Да!

Но лишь произвольная программа, которую они подчинили идее: любовь, смерть, жизнь, — и в которой они стремились передать духовную красоту пары — мужчина и женщина, — окончательно убедила судей, что нет им сейчас равных.

Я слушал в Гренобле Эллу Фитцджеральд. Она была то ультрасовременной девочкой, и безумели в зале поклонники ультрасовременного джаза, то вдруг мы видели, как совсем уже немолодая Элла вспоминает ритмы своей юности, ритмы тридцатых годов. Рыжеволосая Элла была вечной, как вечна классика. Так вечна и наша классическая пара на льду.

Приехав в Олимпийскую деревню, они признались друг другу, что заснуть не смогут. Зачем же тогда расходиться по своим корпусам? А тут и дождь кончился. Олег увидел два велосипеда, стоящие у стены, спросил у Люды: болит ли все еще у нее нога? Она сказала, что нет, уже не болит. Они сели на велосипеды и всю ночь, до шести утра, ездили по Олимпийской деревне.

Служба информации Олимпийских игр сообщала аккредитованным журналистам:

— что жюри состязаний по санкам по-прежнему собирается в 5 часов утра и по-прежнему отменяет состязания, назначенные на 8 часов утра;

— что в Театре Олимпийской деревни Отран состоится концерт музыки Национальной сыскной полиции под управлением коменданта Хуре, а в Олимпик чюзик-холле будут петь Далида и Шарль Азнавур;

— что в Альп-Дюэз проводится стрельба по голубям;

— что в связи с приближением финальной церемонии прибыли косметички Елены Рубинштейн, чтобы подкрасить французскую женскую команду.

В последний день хоккейного турнира взоры наших болельщиков были обращены к шведам. Сыгран шведы с чехословаками хотя бы вничью...

По Греноблю ползли слухи, будто Стрёмберг поклялся, что «Тре крунур» на сей раз не уступит. Потом дошли сведения из Олимпийской деревни, что впервые за дни турнира шведские игроки делали утром зарядку. А был на зарядке, к примеру, Сведберг? Был, и вообще все игроки здоровы, а простужен лишь врач команды. А может, ради такого случая шведы даже курить бросили? Нет, как и прежде, разгуливают по деревне с трубками.

Ну что поделаешь с этими шведами! И вратарь их играет без маски — это ведь так рискованно...

Утром мы заглянули с Борисом Федосовым в «Стад де Гласе», где отчаянно оспаривали предпоследнее место хоккеисты ГДР и ФРГ, и неожиданно встретили там Аркадия Ивановича Чернышева.

— Что вы курите? — спросил меня Чернышев.

— «Солнце».

— Курите «Кент». — Он протянул свою пачку.

Так мы и вошли в Ледяной дворец и расположились на полупустой трибуне, сравнивая достоинства сигарет с фильтром «Кент» с сигаретами без фильтра «Солнце». Первым заговорил о хоккее сам Чернышев. Наш старший тренер спросил у Бориса: как он думает, почему мы все же проиграли чехам? Федосов темпераментно изложил свои вполне резонные соображения, и Чернышев теперь уже спрашивал самого себя:

— Кажется, хороший игрок Зимин. Да, хороший. Но одну шайбу забросил, а две помог пропустить, —

дважды оставил команду в численном меньшинстве. Тебя бьют, а ты не дерись — терпи. И забрасывай шайбы.

А теперь Чернышев, казалось, наблюдает внимательно за игрой немецких команд. И столь же внимательно смотрят на лед чехословацкие тренеры и защитник Сухи, которые тоже сидят на трибуне, но чуть выше нас.

— А вы не пытались сменить Коноваленко? — спрашивает Федосов.

— После третьей пропущенной шайбы я сказал Зингеру: «Одевайся», — а он побледнел и со скамейки подняться не может. Тарасов подходит ко мне: «Пусть сидит». И мы оставили Коноваленко.

Да, трудно было придумать более парадоксальную ситуацию, чем та, в которой оказался наш тренер. Если бы шведы проиграли, ему предстояло выводить игроков на матч с канадцами, чтобы в лучшем случае добыть чехословакам золото... Чехословацкие тренеры, сидевшие чуть выше нас, всем своим видом давали понять, что они желают нам в матче с канадцами только победы. В своей же победе над шведами они, казалось, не сомневаются.

Эта ситуация, сложившаяся к последнему дню хоккейного турнира, взбудоражила весь Гренобль. Мне рассказали, что некий оригинал, известный в Гренобле тем, что каждый вечер он поедает в своем кафе на площади Виктора Гюго дюжину эскарго (так именуют французы блюдо из садовых улиток, которые плавают в собственных ракушках в масле, и ты достаешь их оттуда особой вилочкой), заплатил за билеты на два последних матча по пятьсот франков. А надо признаться, что до того вечера жители Гренобля не очень-то интересовались большим хоккеем и предпочитали огромному «Стад де Глассу» уютный крытый каток, где играли команды группы «Б», где играла команда Франции и где трибуны уже кричали «Алле!», едва нападающий с трехцветным галльским петухом на груди овладевал шайбой и гнал ее то коньком, то клюшкой к воротам соперника. И не только зрители, но и тренер французов нисколько не унывал, хотя его команда проигрывала матч за матчем.

Но миллионы наших зрителей, которые уже готовились не спать в ту ночь у своих телевизоров, восприняли бы проигрыш нашими хоккеистами олимпийского «золота» как бедствие. Могли проиграть двоеборцы, на худой конец, — конькобежцы, но только не хоккеисты! И совсем уже немолодой человек, рядом с которым мы сидели на трибуне, отлично знал, что назавтра он может быть принесен в жертву этим хоккейным страстям.

Он поправил тщательно шляпу (никаких спортивных шапочек, он одет всегда строго), неторопливо поднялся, галантно раскланялся с чехословаками и сказал нам:

— Ну, до вечера.

Говорят, что во время матча Чехословакия — Швеция Чернышев не спускался в холл к телевизору, а лежал в своей комнате на постели. Говорят, что лишь Борис Майоров да еще несколько игроков не отходили от телевизора, а Тарасов то стоял у экрана, то выбегал в коридор. Говорят, что по окончании этого матча первым смирил свой восторг Коноваленко и с мольбой, с заклинаниями обратился к тренерам, чтобы его поставили на игру с Канадой.

Помню женскую эстафету в Отране, где я видел, как идет по лыжне непревзойденная Тойни Густафссон (наши тренеры переговаривались по рации: «Риту достает шведка, достает шведка!», «Шведка обошла Риту!», «Бегом, Рита! Чаше работай! Э-э, нечем толкать»...), и где наши девушки уступили норвежкам и шведкам, но финкам все же не

уступили («А где финка?» «Сзади Гали. Она уже «теплая». Она Галю уже не достанет») и в отличие от мужчин добыли в эстафете хотя бы «бронзу».

Помню утро последнего олимпийского дня: кричали прыгуны, срываясь с трамплина, и выбрасывали руки назад, чтобы затем «собраться» и элегантно парить над склоном, над разноцветной, стонущей в азарте огромной толпой, а далеко внизу, в долине, прыгунам виделся город, где горело олимпийское пламя и где сильнейшему из них уже готовились воздать последние олимпийские почести. Этих почестей удостоился своенравный и дерзкий парень, которого наши тренеры только этой зимой решились привезти на трамплины Европы, — я говорю о Владимире Белоусове.

Помню, как перевернулась двойка бобслея на трассе и как било спортсменов о лед, а затем один из них сам выползал из желоба, никому не позволяя помочь себе, а второго унесли на носилках, а потом долго латали трассу снежными кирпичами и заливали их кипятком, — а на старте уже поправляли шлемы два очередных гонщика.

Помню... Но я уже исчерпал заранее отведенные мне в апрельском номере полосы, да и все равно обо всем не расскажешь, чем жил Гренобль в эти тринадцать безумных, прекрасных дней.

Иногда, пытаясь отвлечься от суеты бесчисленных соревнований и чуть собраться с мыслями, мы заводили «пежо» (перед Олимпийскими играми Лев Володин поставил на свой «пежо» спортивные шины, и на самых крутых виражах они лишь слегка повизгивали) и гоняли по окрестным горным дорогам, а однажды отправились в Шамбери, где по узким средневековым улицам прогуливаются степенные савойцы в огромных черных беретах. Но почему-то, чтобы собраться с мыслями, нам нужна была скорость, но не созерцание.

— Ну, лошадь! — кричал Лева, на олимпийской скорости обгоняя очередную машину — на скорости более ста километров в час.

Ах, эти игры...

Пылесос

М. Азов, Вл. Тихвинский

НОВЫЕ ПРИТЧИ

Предисловие

Сегодня человек на «ты» с-богом. Вместо икон — веселые картины Эффеля, вместо идолов — куклы «Божественной комедии»... Вот и наши новые притчи несколько легкомысленны по отношению к богу. Но мы вовсе не хотим обижать творца (если он был) или намекать на то, что он был (если его не было). В общем-то, наши притчи совсем и не про бога. Ведь он сам заявлял, что сотворил нас по своему подобию. Вот с этого момента путаница и началась. Критикуешь бога, а все шишки валяются на ему подобных. Обратный путь, как правило, плодов не приносит. Поэтому мы выбрали прямой.

ПОПРАВКА

Как-то донесли господу богу архангелы: — Посмотрите, что там внизу, на Земле, делается! Вы создали по своему образу и подобию всего двух людей, Адама и Еву, а они создают себе подобных в таком количестве, что теперь куда ни кинешь камень — попадешь в бога!

— Ну, поскольку с этим уже ничего не сделаешь, — отвечал господь бог, — нужно будет в новом издании библии где-нибудь отметить, что «господь бог наряду с другими благами создал и серийное производство».

АВТОРИТЕТ

— Я никому не позволю подрывать свой авторитет! — кричал бог.
— А дьявол подорвал, — напомнила Ева, — превратился в змия и..
— И ни в какого змия он не превращался! Это все сказки. Просто я поймал этого хулигана под забором и оборвал ему руки-ноги!..

ВСЕ ОТ БОГА

Богу донесли:

— Дарвин утверждает, что человек произошел от обезьяны.
— Все от бога, — ответил бог. — Когда Адам и Ева согрешили, я превратил их в обезьян и сказал: «Не хотите жить по-божески, развивайтесь по Дарвину!..»

РОЖДЕНИЕ ОСТОРОЖНОСТИ

Когда бог сотворил женщину, Адам спросил:

— Зачем она мне, отец?
— Чтоб ты не скучал.
— Лучше бы сотворил другого парня, — сказал Адам, — мы бы сыграли в бадминтон.

Прошло время, бог вспомнил:

— Кажется, ты просил создать другого мужчину?..
— Что ты, отец! — испугался Адам. — Теперь это уже рискованно.

БОЖИЙ ЛЮБИМЧИК

— У меня никогда не было любимчиков, — сказал господь своим ученикам. — Даже осла я буквально за уши тянул в люди. Посмотрите на его уши — он упирался. Жираф тоже упирался, как осел. И в результате остался с длинной шеей. И только орангутанга я сделал человеком. Он, правда, не хватал с неба звезд, но по крайней мере не упирался. Напротив, каждый раз при моем появлении он становился на задние лапы.

ЛОГИКА

— Где логика? — спросил человек всевышнего. — Как бы я себя ни вел, беды и горести сыплются на меня, как из рога изобилия.

— Логика в руке божьей. Ни один волос не упадет с головы без воли господя, — сказал бог, потирая свою лысину.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

Отец небесный спросил Христа:

— Во время «Тайной вечери» ты уже знал, что Иуда предаст тебя, отчего же не прогнал предателя?

— Тогда бы у меня осталось одиннадцать апостолов.

— Ну и что?

— Должна же «Тайная вечеря» чем-то отличаться от футбольной команды!

КАКОВ ВОПРОС — ТАКОВ ОТВЕТ!

Ира М-ва, г. Севастополь. Милая Галка!

Несмотря на то, что мне уже пятнадцать лет, моя бабушка категорически запрещает подражать моде. Она, например, ни в какую не разрешает подкоротить мои платья. Как мне поступать?

ОТВЕТ: Милая Ира! Тебе остается только одно — расти. Платья сразу станут короче.

*

Владимир Ф-ин, г. Ленинград. Уважаемая Галка Галкина!

Вот уже десять лет я читаю ваш журнал. Вдруг я обнаружил, что многие мысли, о которых написано в романах и повестях, приходили мне в голову до того, как я читал их в журнале. Чем же я отличаюсь от настоящего писателя?

(ОТВЕТ: Уважаемый Владимир! Разница небольшая — вам приходят мысли перед тем, как вы читаете, а писателям — перед тем, как они пишут.

*

Марат Р-ов, г. Пенза. Дорогая Галинка!

Ты мне очень нравишься. Не подумай ничего плохого, у меня самые серьезные намерения. Характер твой знаю по печати, он мне подходит, но вот хотелось бы иметь твою фотографию. Ведь внешность в наше время пока что играет большую роль. Высылаю тебе свой портрет.

ОТВЕТ: Уважаемый Марат! Портрет получила. Он мне подходит. Высылайте характер.

*

Юлия С-ва, г. Ростов-на-Дону. Дорогая Галка!

Я уже второй год нравлюсь одному парню, но мне он просто противен. Не знаю, почему, но все, кому я нравлюсь, мне противны.

Что делать с моим скверным характером? ОТВЕТ: Дорогая Юлия! Постарайся полюбить того, кому неприятна ты.

*

Люся Ока, г. Киев. Милая Галочка!

Через десять месяцев у меня родится маленький ребенок, а я еще не готова стать матерью. Как мне быть? ОТВЕТ: Милая Люся!

Советую крепко подумать, ведь у тебя в запасе целый месяц.

На стендах "ЮНОСТИ"

Иван Купцов

ПРАВО НА САМОБЫТНОСТЬ

Каждый человек самой природой наделен правом на самобытность. Он ценен своей доброй неповторимостью. Но тяжело и ответственно бремя этого права. Необходимы постоянная работа мысли, здоровье эмоций, возвышенность чувств.

Особенно, вероятно, трудно быть неповторимым в искусстве и при этом обогащать эстетическим волнением «чужие души». Не случайно, что очень многие художники, не найдя в себе внутренних сил, либо становятся участниками «гонки за лидером», впадая в

подражание, либо подменяют художественное открытие не относящейся к искусству «необычайностью».

Истинно побеждает, наверное, тот, кто умеет языком красок, линий, звуков выразить такое понимание жизни, без которого нам всем было бы странно и одиноко, как без стихов Пушкина и Блока, музыки Мясковского и Шостаковича...

Размышляя о сущности творчества, Пабло Пикассо писал: «Важно не то, что делает скульптор, а то, что он собой представляет. Сезанн никогда бы не вызвал у меня интереса, если бы он жил и думал, как Жак Эмиль Бланш, хотя бы написанное им яблоко было в десять раз лучше. Беспокойство Сезанна — вот что неодолимо притягивает нас, вот чему он учит нас! И муки Ван-Гога — в них истинная драма человека! Все прочее — шарлатанство» («Творчество», 1966, № 10, стр. 20).

Наше изобразительное искусство гордится многими славными именами. В него приходят и новые вдумчивые, духовно богатые и щедрые мастера. Их мысли обращены к радостям и заботам современника, к великому народному наследию прошлого, к памяти героев революционных битв, ко всему лучшему в человеке.

Среди них мы видим молодых художников разных национальностей, к которым полностью относимы слова Есенина, обращенные когда-то к поэтам Грузии: «Своим мотивом и наречьем, мы всяк по-своему поем, поддавшись чувствам человеческим...»

Одухотворенностью, сконцентрированностью образов отмечено искусство Муртуса Магомедова из Махачкалы и тбилисца Джемала Хуцишвили. Знакомясь с их работами, встречаешься и с народным юмором и с подлинно народной мудростью, чистой и удивительной, как золотой самородок. В графике Магомедова и живописи Хуцишвили можно найти отклик на заветы древних чеканщиков и керамистов, которые, не утрачивая родного языка форм, вольно выражали на нем свои чувства, каждый раз свежие, ненарочитые, первородные.

И Магомедов и Хуцишвили прекрасно чувствуют и владеют выразительными средствами графики и живописи. Их работы цельны, в них нет и следа вымученности. Они исполнены как бы на одном дыхании. В каждой вещи художников есть та восхищающая и ускользающая от педантичного анализа красота, которая свойственна, к примеру, форме и силуэту античной амфоры. Она на первый взгляд очень проста, чрезмерно сжата и лаконична. Но этого-то первого взгляда и не хватает, чтобы исчерпать ее. И не только первого... Процесс этот едва ли не бесконечен. Рисунки Магомедова и картины Хуцишвили располагают к такому длительному разглядыванию, хотя иному зрителю и покажутся опрощенными, схематичными.

В графике Магомедова сочные силуэты, чеканные линии организованы очень динамичной и сложной пространственной композицией. Его работы обладают живым и многообразным внутренним ритмом, который благодаря своей слаженности, гармонии производит впечатление нерасчлененного целого, монолита. Эти средства позволяют художнику искренне и убедительно воплотить лишённые ущербности характеры горцев.

Именно раскрывая многогранность и утверждая цельность своих образов, Муртус Магомедов естественно, по воле ненадуманых, не взятых априорно законов приходит к героической теме, создавая такие выразительные листы, как «Уходили партизаны», «Не вернулся», «За Советский Дагестан».

В труде и борьбе для Магомедова живет и утверждает себя народная мечта о светлой, полной доброты и искусства жизни. Высокое духовное наслаждение видим мы в образах художника, передающих красоту творчества, близости к другу, к природе. Таковы рисунки и линогравюры «Ашуг», «Ритмы танцев», «Пастораль», «Попутная мелодия».

В творчестве Джемала Хуцишвили перед нами раскрывается эмоционально насыщенный, многоликий и вместе с тем величаво-эпический мир. Он принадлежит виноградарям, кузнецам, пастухам, поэтам и влюбленным. Краски художника разнообразны и интенсивны по звучанию.

Герои живописца — труженики и гуманисты. Им близка и подвластна земля, они слушают ход небесных светил и дорожат земным благородством. В очертаниях и пропорциях их фигур, в красках и композиции выступают кряжистость и угловатая грация, выражаются доверие и любовь, духовная близость, волнение и бесшабашная удаль. Не посягая на чье-либо чужое, не обольщаясь собственной оригинальностью, герои Джемала Хуцишвили искренне и мудро живут в отведенной им области красок и линий. Они, конечно же, не фотографии, не гипсовые слепки с натуры, а поэтическое размышление о человеке, об этических и эстетических ценностях жизни. Такие работы живописца, показанные на стендах «Юности», как «Надежда деда», «Сельская любовь», «Кахетинцы», «Песня о витязе и тигре», «Мравалжамиер», «Марани», «Сельская картина», прекрасно могла бы дополнить «Осень в Кахетии», находившаяся в залах московского Манежа на Всесоюзной художественной выставке.

Радость, испытываемая при взгляде на работы двух художников, дополняется и той мыслью, что такое творчество помогает широкому зрителю понять и принять многообразие, истинную содержательность искусства, а других мастеров побуждает к собственному открытию жизни.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Людмила УВАРОВА. Мытная улица. *

Повесть *

Анатолий ПРИСТАВКИН. Птушенька. ft

Маленькая повесть.....

Аркадий АРКАНОВ. Прыжок в высоту *?. с разбега. Рассказ..... *"

Ал. ЛЕСС. Невыдуманные новеллы . . 48

поэзия

Леонид ВЫШЕСЛАВСКИЙ. Его весеннее -у тепло..... L

Марк ЛИСЯНСКИЙ. «Правый берег в огне...». «Я выступал в концертных залах...».

Алые маки. Наши матери. а Грусть *

Сергей ДРОФЕНКО. «Стучат за лесом поезда...». «Умирает атеист...». «Живописец тщедушный с бородкой...». Празд- Ат. ники.....

Анатолий ЖИГУЛИН. Коршево. «Вот и л] жизнь*пошла на убыль...».....

Григол АБАШИДЗЕ. Зов. «Мгновенный мир — мы, по нему скользя...». Осень.

Перевел с грузинского Ев г. Винокуров.....

Отар ЧИЛАДЗЕ. В горах. «Время настанет: днем или ночью...». Перевели с грузинского О. Чухонцев и Ст. К у и я е в.....**

Иосиф НОНЕШВИЛИ. Не ищите могилы Руставели. Снова мне в душу весна ворвалась. Перевел с грузин- г) ского Б. Окуджава.....

Резо АМАШУКЕЛИ. Апрель. «Я знаю: прогресс победит...». Село Шрома. «Не выдержали и сбежали...». «Я судьбою опять удостоен...». Старый рыбак. Перевели с грузинского О. Чу- г5 х о и ц е в и Ст. К у и я е в.....

Леонид ЗАВАЛЬНЮК. «Забыть про все, стихи писать...». «Пустой паром пронесит по реке...». «Маркшейдер, словно цапля, длинноног...». Ночь. Под- in ранок.....ои

фПОГОВОРИМ

О ПРОЧИТАННОМ

Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ. О гражданст- ее венности поэзии.....

ф К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Ю. ПИМЕНОВ. Искусство Шмаринова . .

ПУБЛИЦИСТИКА

С. ГИАЦИНТОВА. Что значит быть воспи- ii танным.....«1

Елена БРУСКОВА. 706-я и ее директор. . 65

Юрий СКОП. Страсти о пустом патрон- <д таше . ».....°~

Татьяна КОПЫЛОВА. Последняя суди- уг мость....."

В. С. ЕМЕЛЬЯНОВ. Курчатов, каким я его оэ знал.....ол

СРЕДИ КНИГ

Маленькие рецензии и аннотации .

ф ПОЧТА «ЮНОСТИ» 96

ф ЗАМЕТКИ И

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

-X- Николай ЗЕЛОВ. «Москва, Ленину...» X- Т. КИРИЛЛОВ. Из ничего — чего -К- QJ Сергей МИХАЛКОВ. Цель жизни . . t#

СПОРТ

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ. Ах, эти игры.....

ПЫЛЕСОС

М. АЗОВ. Вл. ТИХВИНСКИЙ. Новые J по притчи.....iuo

Каков вопрос — таков ответ! (из п о ч- 4 А Q ты Галки Галкиной) , . . . ,v

НА СТЕНДАХ «ЮНОСТИ»

Иван КУПЦОВ. Право на самобытность .

На 1-й — 4-й страницах обложки — рисунок В. СУРИКОВА.

Художественный редактор Ю. Цишевский. Технический редактор Л. Зябкина.
Адрес редакции: Москва, Г-60, ул. Воровского, 52. Тел. Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00380. Подп. к печ. 15/Ш 1968 г. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 610. Заказ № 85.

Формат бумаги 84x108/16. Бум. л. 3.63. Печ. л. 11.89. _

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина, Москва, А-47, ул. «Правды», 24.